ГОРЫ ВЫСОКИЕ...

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу включены две повести — «Горы высокие...» никарагуанского автора Омара Кабесаса и «День из ее жизни» сальвадорского писателя Манлио Аргеты. Обе повести посвящены освободительной борьбе народов Центральной Америки против сил империализма и реакции. Живым и красочным языком авторы рисуют впечатляющие образы борцов за правое дело свободы. Книга предназначается для широкого круга читателей.

- Горы высокие...
  -
  - Омар Кабесас
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
  - Манлио Аргета
    -
    - ПОЛОВИНА ШЕСТОГО УТРА
    - БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ШЕСТЬ
    - ШЕСТЬ ЧАСОВ
    - ДЕСЯТЬ МИНУТ СЕДЬМОГО
    - МАРИЯ РОМЕЛИЯ
    - ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО
    - СЕМЬ УТРА

    - МАРИЯ ПИЯ
    - АДОЛЬФИНА
    - ПОЛОВИНА ДЕСЯТОГО
    - ВЛАСТИ
    - ДЕСЯТЬ ЧАСОВ УТРА
    - МАРИЯ РОМЕЛИЯ
    - ПОЛОВИНА ОДИННАДЦАТОГО
    - АДОЛЬФИНА
    - ПОЛОВИНА ДВЕНАДЦАТОГО
    - ОНИ
    - БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ДВЕНАДЦАТЬ
    - БЕЗ ДЕСЯТИ ДВЕНАДЦАТЬ
    - АДОЛЬФИНА РАССКАЗЫВАЕТ ПРО СОБОР
    - ПОЛДЕНЬ
    - ДЕСЯТЬ МИНУТ ПЕРВОГО
    - ЧАС ДНЯ
    - ПОЛОВИНА ВТОРОГО
    - ДВА ЧАСА ПОПОЛУДНИ
    - ПОЛОВИНА ТРЕТЬЕГО
    - ТРИ ЧАСА ДНЯ
    - ЧЕТЫРЕ ЧАСА
    - ПЯТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21

- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29

Горы высокие...

ГОРЫ ВЫСОКИЕ...

ПОВЕСТИ

Перевод с испанского
В. МАКСИМОВА, А. МИНИНА

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987

Омар Кабесас
ГОРЫ ВЫСОКИЕ...
Повесть

Национальному руководству Сандинистского фронта национального освобождения посвящается

1

Помню, что в ряды бойцов Сандинистского фронта национального освобождения я вступил после каникул, когда закончил учебу и получил степень бакалавра. Было это в марте или апреле 1968 года, вскоре после кровавой расправы, учиненной гвардейцами.

Когда я еще был мальчишкой, у нас в квартале находилась таверна, хозяйкой которой была толстая сеньора. В таверне часто происходили пьяные драки. Потом приходили гвардейцы и избивали дерущихся. Здесь я впервые увидел гвардейцев. Они били людей, били жестоко, прикладами прямо в лицо. На лицах избиваемых выступала кровь… Окровавленные лица дерущихся внушали мне страх. Тогда я очень боялся крови. Правда ведь, когда ты еще мальчишка, кровь кажется тебе ужасной? Я всегда побаивался пьяных и драк и все же любил смотреть на дерущихся, если рядом не было гвардейцев. Смешное все-таки это зрелище — драка пьяных…

Потом я столкнулся с гвардейцами в студенческие годы, когда учился в университете, правда в непосредственной стычке с ними я в то время не участвовал — я просто умер бы от страха, если бы такое произошло. Потом гвардейцы увели моего отца… Но к Фронту я присоединился не потому. Для этого у меня было много других причин, но главная состояла в том, что семья моего отца принадлежала к оппозиционной партии, а сам он был членом партии консерваторов. Помню, как однажды в наш квартал пришел Агеро, чтобы выступить на митинге. Агеро был лысым стариком с большим кадыком. Он взобрался на стол, чтобы людям его лучше было видно и слышно. Мой отец стоял на столе вместе с Агеро и держал электрический шнур с лампочкой — на улице уже стемнело. И вдруг выключили свет. Тогда отец мой громко закричал: «Свечи! Несите свечи! Пусть горит свет!» Все соседи по кварталу тоже закричали: «Пусть горит свет!» И я вдруг почувствовал себя сыном очень важного человека, потому что люди повторяли то, что сказал он, и свет снова зажегся.

Вскоре после этого у меня установились тесные отношения с Хуаном Хосе Каседой. Мы познакомились еще в школе, но сблизились только в университете.

Хуан Хосе был человеком высоченного роста, тощий, грубоватый и очень походил на иностранца, точнее — на немца. Отец его, врач, так и не смог разбогатеть.

Я частенько бывал в клинике этого сеньора. Находилась она

на авеню Дебайле в Леоне и имела очень неопрятный вид — там не было ни кресел, ни роскошных кроватей, как у доктора Альсидеса Дельгадельо, на входной двери клиники которого красовалась табличка: «Доктор Альсидес Дельгадельо, врач-хирург, получивший образование в Сорбонне в Париже».

Так вот, родителями Хуана Хосе были тот самый доктор, который не смог разбогатеть, и одна бедная сеньора, и они очень часто ссорились. Хуан, высокий, бледнолицый, с кудрявыми волосами, с тонкими чертами лица, чем-то напоминал классическую греческую статую… Одевался он несколько старомодно. От него всегда исходил какой-то специфический запах, и думаю, это из-за брильянтина, которым он пользовался. На нем всегда были холщовые штаны и рубашка, которую он по нашему совету заправлял в брюки, когда мы отправлялись на вечеринку. Ну так вот, надевал он брюки, единственные в своем роде, из дакрона, и выглядел очень стройным. Рубашка и брюки были настолько прозрачными, что нам казалось, будто он просто ходил нагишом.

Я восхищался Хуаном Хосе Каседой по разным причинам: прежде всего, он был прекрасным каратистом и дзюдоистом. Кроме того, меня восхищали его физические данные, его способность давать отпор. Однажды Хуан, уходя на операцию по захвату самолета, пришел ко мне домой попрощаться и попросить на время фотоаппарат. Он не сказал мне, когда уезжает, но я сразу же предположил, что он — член Фронта и отправляется куда-то по его заданию, потому что тогда он сказал мне: «Свободная родина или смерть». Вот так он мне прямо и сказал… Я подумал, что фотоаппарат, видимо, нужен был ему для какого-то необычного дела, столь же странного, как и его собственный вид. С фотоаппаратом на шее он выглядел как заправский турист. Позже я узнал, зачем ему понадобился фотоаппарат — об этом мне рассказал Федерико, который вместе с Хуаном Хосе летел в самолете… Одним словом, именно благодаря Хуану Хосе я стал членом Фронта.

Еще учась в университете, я начал внимательно прислушиваться к тому, что говорят ораторы на митингах, участвовал в демонстрациях, собраниях, не будучи еще членом никакой студенческой организации. С одной стороны, все это мне нравилось просто потому, что наши выступления были направлены против диктатуры, против Сомосы, против гвардейцев, а с другой — во мне постепенно пробуждалось классовое самосознание. Я понимал, что принадлежу к пролетарской семье, и, когда в университете велись разговоры о несправедливости, о бедности, я вспоминал о своем квартале, в

котором жила беднота. В моем квартале стояло шесть домов: одни деревянные, а другие глиняные, побеленные известью. Улица была немощеной, и летом поднималась такая пыль, что, когда мы ели, пыль попадала к нам в тарелки. Мы пытались прикрыть тарелку рукой, но пыль все равно проникала. Мама часто говорила: «Ешьте, ешьте скорей, а то опять посыплется «сладкая пудра».

Конечно, социальное происхождение накладывает на человека отпечаток. А Революционный студенческий фронт (РСФ) придерживался именно классовой линии. От всего этого я был просто в восхищении. Самое удивительное то, что Хуан Хосе записал меня в члены Фронта, а затем Эдгар Мунгия (Эль-Гато) сделал то же самое, не подозревая, что с легкой руки Хуана Хосе я уже состою в рядах бойцов Фронта.

Однажды Хуан Хосе пришел ко мне и спросил: «Послушай, Тощий, ты готов стать еще ближе к народу и организации?» Боже мой, подумал я тогда, я ведь знаю, зачем ты пришел, я же знаю, зачем я нужен. Я был уверен, рано или поздно это должно случиться, потому что я уже много слышал об этом от христианских социалистов, от преподавателей, от тех, чьи дети уезжали в Леон учиться. Родители предупреждали детей, чтобы те не вмешивались в политику, потому что это может кончиться для них тюрьмой и даже смертью. Политика — это дело взрослых, а не сопливых детей, и от нее не жди добра. Они советовали не связываться с членами РСФ и КУУН (Университетская конфедерация), потому что те симпатизируют русским и Фиделю Кастро, а еще потому, что коммунисты не верят в бога… Они говорили своим детям, что не стоит связываться ни с КУУН, ни с РСФ, потому что ими якобы управляют люди из Фронта, коммунисты, приехавшие из России и с Кубы. Говорили, что парни, которые связывались с КУУН и с РСФ, потом становились членами Фронта и их отправляли в горы. Мысли об этом не выходили у меня из головы. Сначала я думал: как же Хуан Хосе, такой хороший парень, мог заниматься подобными делами? А потом сказал себе: черт возьми, если уж в этом замешан сам Хуан, то, значит, те, кто стоит за ним, не такие уж плохие люди… Однако хорошие они были или плохие, я все-таки страшно боялся лишиться жизни. В душе моей теплилась надежда, что вопрос, который Хуан мне задал, не имеет непосредственного отношения к мыслям и чувству страха, постоянно мучившим меня. И тогда я в ответ спросил: «А ты о чем говоришь? Сам-то ты с КУУН или с РСФ?» «Конечно, с Фронтом», — ответил он.

Я представил себе, что если скажу «да», то меня пошлют подкладывать бомбы… а совсем недавно Рене Каррион подложил

бомбу в доме мамы Панчо Папи, и его убили в тюрьме… Разумеется, перед Хуаном Хосе я старался казаться серьезным и спокойным, чтобы не выглядеть трусом в его глазах. Думал я и о другом. А ведь тогда у меня еще не было твердой убежденности, что марксизм — это хорошо. Скорее из чувства доверия к Хосе, чем по убеждению, я ответил положительно на его предложение. Мне так хотелось казаться мужчиной в его глазах, и я хотел бы бороться против диктатуры, но пока что не был уверен и более того — испытывал до некоторой степени страх, а может, и сомнения в способности выполнить данное обещание. Политическая зрелость приходит постепенно. Конечно, есть товарищи, у которых этот процесс происходит совсем иначе, но вот в моем случае все было именно так.

Хуан Хосе похлопал меня по спине и улыбнулся. «Ну что ж, — сказал он, — я свяжу тебя кое с кем. На углу улицы, что напротив церкви Сарагосы, увидишь невысокого паренька, которого ты, может быть, и знаешь: коротенькие вьющиеся волосы зачесаны назад. На нем будут очки, как у сварщика, с позолоченной дужкой… Он спросит тебя: «Ты Омар Кабесас?» Ты ответишь ему: «Да, да, да, он самый, из Сан-Рамона».

И я отправился на встречу… Вдруг мимо меня прошел какой-то парень и спросил: «Как дела, Омар?» Спросил так, будто мы были старыми знакомыми. Я же, как мне показалось, видел его первый раз, но потом выяснилось, что мы знакомы по колледжу Сан-Рамон. После окончания колледжа он был в семинарии в Манагуа, затем уехал в Гондурас, а вернувшись, присоединился к партизанам в горах. Звали его Леонель Ругама. Он был моим первым руководителем из Фронта.

2

Дни в Леоне во время святой недели стоят жаркие, ужасно жаркие. Раскаленные дороги, раскаленный песок, раскаленные сиденья в автомашинах, раскаленные скамейки в парках. И даже из колонок льется горячая вода. Все раскалено здесь во время святой недели. Весь город Леон во время святой недели — это раскаленная жаровня. Город настолько раскаляется от жары, что на улицах редко увидишь машину. В центре города ни души, потому что все уезжают к морю — я имею в виду прежде всего буржуев, которые живут в центре города, где улицы мощеные. Стоит дикая жарища. По обочинам тротуаров носятся собаки, как раз именно там, где ходят люди, потому что туда немного падает тень, но и в тени тоже жарко.

В такую жару закрывалось все, даже магазины. Открытой оставалась лишь таверна Прио, что находится в конце парка в здании, построенном еще в колониальную эпоху. Дом был двухэтажным, а балконы выходили в парк. В этом заведении стояло десять столов со старинными стульями, и, помню, там был аппарат, издававший странный звук, настолько сильный, что он разносился по всему пустому парку.

Заведение Прио было очень популярным — там часто заводили классическую музыку, там можно было спокойно скоротать время, посасывая вкуснейший фруктовый напиток и прекраснейшие конфеты лечебуррас.

В свои шестьдесят Прио был человеком очень подвижным. Был он небольшого роста, с белым цветом кожи, и мы часто называли его клерикалом, потому что он включал на всю мощь свой проигрыватель и ставил пластинку с мелодиями из кинофильма «Иисус Христос — суперзвезда». Монашенки из колледжа Асунсьон, что находился неподалеку от парка, пошли посмотреть этот фильм и вылетели из кинотеатра на самой середине картины, заявив, что в ней нет никакого уважения к богу. Они страшно рассердились на Прио.

Его часто называли Капи Прио, и он ужасно гордился этим, а еще тем, что сам Рубен Дарио некогда пил у него пиво и однажды, когда ему нечем было заплатить, написал стихотворение, и теперь каждый раз, когда какая-нибудь важная персона заглядывала к Прио выпить кружку пива, он доставал эти стихи и с гордостью демонстрировал их посетителям. Прио в Леоне был настолько популярной личностью, что о нем можно было рассказывать очень много и долго.

Другим местом в Леоне, куда можно было бы пойти во время

празднования святой недели, были бильярдные Лесамы, находившиеся совсем рядом с заведением Прио, неподалеку от здания университета, от которого сейчас остались лишь стены с лозунгами, призывавшими бороться против диктатуры.

В бильярдные Лесамы стекались все жители близлежащих кварталов — рабочие, крестьяне, приехавшие со своими семьями отпраздновать святую неделю; останавливались они обычно у своих родственников и участвовали в религиозной процессии, посвященной Сан-Бенито. Богачи же закрывали двери своих домов и уезжали к морю, чтобы не смешиваться с толпами бедняков, шедшими в процессии.

Некоторые бедняки направлялись после процессии к центру города, где можно было укрыться в тени деревьев, и таким образом попадали в бильярдную, спасаясь от страшной песчаной бури, которую сильный ветер поднимал на окраинах. Хотя некоторые и пытались найти себе развлечение в других частях города, они, как бы подчиняясь закону гравитации, обязательно попадали в бильярдные Лесамы.

В бильярдных Лесамы стояли шесть или семь столов, один из которых служил для игры в карамболь и находился у самого входа. Этот стол предназначался для самых лучших игроков. Площадь помещения составляла примерно пятнадцать квадратных метров, из которых три метра занимала стойка хозяина Лесамы, толстого сеньора, который, насколько помнится, никогда не улыбался. За стойкой в шкафу стояли бутылки с пивом и шипучими напитками.

На время святой недели заведение Лесамы давало приют примерно ста пятидесяти желающим, приходившим сюда с раскаленной солнцем улицы, и воздух в помещении сразу же становился спертым и невыносимым. Люди входили с улицы через двери, какие можно увидеть в барах в ковбойских фильмах. Жара стояла ужасающая: было такое ощущение, будто входишь в баню. Но выбора нет: либо остаешься в пыльном и раскаленном от солнца квартале, сознавая свое ничтожество и бедность и задыхаясь от отвращения, либо платишь, играешь в бильярд, пьешь холодное пиво, а самое приятное — никакой тебе пыли.

Как только входишь в это заведение, сразу же слышишь мелодичный стук бильярдных шаров. За первым столом, как всегда, играет Эль-Курро, лучший игрок в карамболь от одного, двух, трех или четырех бортов. Играет он сосредоточенно, не обращая внимания на шум. По его рукам, лицу, спине тоненькими струйками стекает пот. После каждого удара он отпивает глоток пива, бросая вызов какому-нибудь спорщику или же расправляясь с новичком.

Лесама, стоя за стойкой, снисходительно, но без тени улыбки на лице всегда искоса наблюдал за игрой Эль-Курро. У других столов стоял невообразимый шум, и звуки ударяемых шаров тонули в восторженных криках играющих.

На потолке висел вентилятор с четырьмя лопастями, однако, как бы сильно лопасти ни вращались, не ощущалось никакого дуновения ветерка. В заведении Лесамы было жарче, чем на улице, стоял невообразимый шум, в нос ударял резкий запах пота.

Мы с Леонелем Ругамой очень любили беседовать, но не в таверне Прио, где было слишком многолюдно, и не в бильярдной Лесамы. Нам не хотелось бродить по улицам и разговаривать на солнцепеке и ничего не оставалось, как пойти в парк и усесться прямо на траву в тени деревьев.

Леонеля всегда отличала целеустремленность, и с годами это его качество стало основной чертой характера. Леонель учил меня быть мужчиной, но не в смысле обладания мужскими достоинствами, а в том смысле, что мужчина — это человек, на которого возложена историческая ответственность и который должен без колебания, без остатка отдать жизнь во имя счастья других людей. Кумиром Леонеля в то время был Эрнесто Че Гевара, погибший всего несколько месяцев назад. Так вот Леонель мое политическое воспитание строил на том, что я должен понимать, какая ответственность возложена на человека, если он поставил перед собой цель вырвать другого человека из бедности, эксплуатации и помочь ему стать настоящим революционером. Конечно, он рассказывал мне и о марксизме, о котором я уже немного знал из брошюр, прочитанных мною еще в университете. Леонель был марксистом-ленинцем и ярым противником клерикалов. Помню, как он, нахмурив брови, сказал однажды студентам, участвовавшим в дискуссии: «Нужно быть как Че… быть как Че… быть как Че». Его движения, жесты и сами слова, в которые он вложил весь душевный запал, надолго запомнились мне. «Быть как Че… быть как Че… быть как Че…» — неустанно повторял я про себя. Разумеется, сначала я не представлял себе, какое воздействие окажет на меня эта фраза позднее. Вскоре после этого я стал внимательно изучать труды Че Гевары. Мною вдруг овладела прекрасная мысль, и мне нисколько не стыдно говорить об этом: я знакомлюсь с жизнью Сандино и становлюсь его последователем через Че Гевару, потому что понимаю — чтобы жить в Никарагуа и быть похожим на Че Гевару, нужно непременно быть сандинистом. А в Никарагуа — единственный путь к победе революции.

3

Итак, я начал заниматься революционной деятельностью и всецело был поглощен ею. Я походил на ребенка, которого впервые отвели в школу и именно в этот день пришел конец всем его детским шалостям, ибо на него легла определенная ответственность. Когда ты включаешься в деятельность Фронта, с тобой происходит нечто подобное, но уже на другом уровне, и здесь речь пойдет не просто о счастье, потому что если в тебе пробуждается сознательность, и если, как говорил Че Гевара, организация, в которую ты вступаешь, революционная, и если революция подлинная, то ты либо придешь к победе, либо погибнешь. Как только ты включаешься в деятельность революционной организации, объем работы и ответственность постоянно возрастают, и ты словно попадаешь в водоворот. Подыскиваешь дома для подпольщиков, помещения для собраний, для складов, организуешь «почтовые ящики», подыскиваешь автомашины, механические мастерские. Одним словом, я стал делать все, что мне поручали и что, как казалось мне, я обязательно должен был сделать. В тот момент еще не существовало четкой структуры организации подполья, но работа, которую проделывал каждый человек, была крайне важной — создавалась основа для последующей работы. В Леоне Фронт представляли лишь Леонель Ругама, Хуан Хосе, Эдгар Мунгия и Камило Ортега. При этом важно помнить, что времена действительно были тяжелые, особенно после кровавой бойни в Панкасане. Думаю, что для любого человека в то время принять решение вступить во Фронт считалось исключительным шагом. На решение вступить или не вступить во Фронт в то время большое влияние оказывала противоречивость информации, которой мы располагали. С одной стороны, противники Фронта говорили, что Фронт — это просто небольшая кучка людей, а с другой — мы сами были свидетелями того, что на улицах часто разбрасывались листовки, появлялись они и на стенах домов, а по радио передавались сообщения о нападениях на гвардейцев. Конечно, все это наводило на мысль об активной и широкой деятельности Фронта. Так или иначе, все с напряженным вниманием следили за любыми сообщениями о Фронте.

Я шел к обедне в кафедральный собор лишь затем, чтобы послушать, как люди на паперти обсуждали последние новости, едва заканчивалось богослужение. Это были те же самые комментарии и реплики, которые обычно слышишь на стадионе перед матчем или у дверей здания университета, в механических

мастерских, в парикмахерских, когда, стоя за соседним креслом, парикмахер обсуждает с очередным клиентом события дня. Слушая их, я думал: «Знали бы они, что я тоже участник Фронта». Во всем этом есть один весьма интересный момент. Дело в том, что вооруженные действия каждой революционной группы, идущей в авангарде революционного процесса, не только сплачивают массы, но и укрепляют их моральное состояние, закаляют бойцовские качества революционера… И явление это настолько многогранно, что необходимо глубоко прочувствовать его, чтобы понять до конца.

Пропаганда, всколыхнув массы, со всей силой обрушивалась на нас, и в определенный момент мы сами думали, что Фронт — могущественная организация. Опасность не казалась нам слишком серьезной. Мы могли мечтать, ни в чем себя не ограничивая. Я бы даже осмелился сказать, что подобное чувство было свойственно большинству из нас. И то, что семейство Сомосы правило страной целых 45 лет, и было тем фактором, который побуждал народ поддерживать СФНО. В конечном счете помыслы народа и членов Фронта были едины. И все же бывали моменты, когда вдруг возникали опасения, что ты только мечтатель, что ты лишь песчинка в безбрежном океане, но потом так же внезапно приходило сознание того, что в тебе таятся невиданные возможности, поддержанные верой в то, что ряды активных борцов ширятся, но ты их просто пока еще не знаешь. Подобное состояние души в те трудные времена вселяло в нас надежду. А когда дух твой значительно окреп, испытываешь истинное удовлетворение от того, что ты кузнец революции. Я хочу, чтобы все поняли, как горько становится, когда ты, по мере того как активно включаешься в деятельность организации и начинаешь работать, постепенно вдруг осознаешь, что Фронт не такая уж могущественная организация, какой ты ее себе представлял; что Фронт — это всего лишь горстка людей и что в лучшем случае лишь в Леоне, Манагуа и Эстели действуют несколько героических парней, смело принявших вызов истории и начавших активно работать на этом поприще. Как говорит Карлос Фонсека, мы были трудолюбивыми муравьями с твердыми и упрямыми характерами… Мы совершали нападения на гвардейцев, расправлялись с предателями, о чем сразу же сообщалось в прессе, потому что действия эти были направлены против диктатуры. С точки зрения буржуазных партий консерваторов и либералов и, разумеется, с точки зрения социал-христианской и социалистической партий это была безграничная дерзость, политическая ересь. Сторонники социал-христианской и социалистической партий привешивали нам ярлык авантюристов,

а на собраниях в университете зачитывали нам отрывки из книги В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Но я хотел бы особо подчеркнуть, что сообщения о действительном положении дел, публиковавшиеся в газетах и передававшиеся по радио и телевидению, оказывали влияние и на нас. По крайней мере, так произошло со мной. Радужные представления о деятельности Фронта проходили так же быстро, как и возникали. А затем вновь перед нами вставала проклятая действительность… Вдруг тебе начинало казаться, что все уже кончено, и ты уже с некоторым чувством страха смотрел в будущее. Я думал лишь о том, как много жертв будет в этой борьбе. Я прекрасно понимал, что, пока борьба не охватит широкие массы, пока нам не удастся подготовить и провести массовое вооруженное выступление всего, народа, именно нам, которые еще оставались в живых и продолжали бороться, именно нам предстоит принести себя в жертву в ближайшем будущем. В такие минуты человек страшно боится смерти, потому что, как бы ты ни рисковал жизнью, находясь на легальной работе, ты все же рискуешь гораздо меньше, чем на подпольной работе. Я бы даже сказал так: чем реже ты играешь со смертью, тем больше боишься ее, и наоборот.

Человек становится бойцом Фронта, потому что верит в его политическую линию. На него огромное воздействие оказывает вера в то, что именно Фронт способен свергнуть Сомосу, победить гвардейцев Сомосы. Эта мысль овладевает человеком, именно она приводит его к осознанию необходимости вступить в борьбу в рядах Фронта. По прошествии шести лет легальной работы, уходя в горы, я уходил с мыслями о том, что здесь, в горах, и проявится та огромная сила, подкреплявшаяся рассказами о товарищах, которые ушли в горы, и все это было овеяно какой-то таинственностью и неизвестностью. Наш друг Модесто находится там, высоко в горах… А в городе и сами подпольщики, и те, кто находился на легальной работе, — все мы говорили о горах, как о чем-то загадочном и таинственном: там, в горах, и была основная сила, там даже было оружие, там были лучшие люди. Мы верили, что именно там, высоко в горах, таится непобедимая сила, служащая нам гарантией счастливого будущего. Эта сила была для нас как спасительный плот, который позволил бы нам не потонуть в море господства диктатуры, не сдаться… Таинственные горы вселяли в нас уверенность, что Сомоса не будет править всю жизнь, что скоро миф о непобедимости гвардейцев Сомосы развеется. Но реальность возвращала меня на землю и даже деморализовала — человек поднимался в горы, и вдруг оказывалось, что там всего лишь Модесто, а с ним пятнадцать партизан, разбитые на крошечные группы. Всего

шестнадцать человек. По правде говоря, в то время нельзя было насчитать и двадцати партизан. Это вызывало желание спуститься с гор. «Черт возьми, — говоришь ты себе, — да когда же наконец?.. — В голову лезут всякие мысли. — Боже мой, неужели я совершил самую страшную ошибку в своей жизни?» Начинаешь вдруг думать, что занимаешься делом, у которого нет будущего… Да и вряд ли будет.

Как я уже сказал, в Леоне Фронт представляли Леонель, Хуан Хосе, Эль-Гато и Камило. Позднее к ним присоединился и я. В этом городе не было ни одного подпольщика. В Манагуа на подпольной работе, насколько мне было известно, находился Хулио Буитраго. Позднее я узнал, что там существовало несколько групп — одна или две, точно не помню. Об этом становилось известно из сообщений радио после расправ национальной гвардии. Список убитых товарищей-революционеров Сомоса назвал списком «исторических преступников». В та время Хулио Буитраго был руководителем всех сандинистов в Никарагуа. Говорят, это был прекрасный парень, но мне так и не удалось с ним познакомиться. Леонель просто обожал его. Среди участников Фронта в те времена устанавливались дружеские отношения. Например, большими друзьями были Эль-Гато, я и Леонель. Помнится, в конце недели те студенты, кто был родом не из Леона, разъезжались по своим домам. Мы же, не имея почти ни гроша в кармане, отправлялись к морю. Стоя у дороги, мы «голосовали». Особенно нам нравилось останавливать попутные машины, если за рулем сидела симпатичная девушка из буржуазной семьи. Обычно выражение лиц у нас было несколько нагловатое, и, когда мы садились на заднее сиденье, девушка следила за нами в зеркало, а мы улыбались ей и показывали язык. Она внезапно краснела, отворачивалась и больше уже не следила за нами. Однако через некоторое время она снова бросала на нас взгляды в зеркало и видела, что мы смотрим на нее, Все это очень напоминало игру. Нам нравилось рассматривать ее гладкую и нежную кожу, очаровательные губы, прекрасно ухоженные ногти, хрупкие руки, один вид которых пробуждал такое чувство, словно эти руки гладили тебя. Если окна машины были открыты, налетавший ветерок развевал густые девичьи волосы, становившиеся от этого еще прекрасней и мягкими волнами падавшие на спинку сиденья. Нам нравилось любоваться ее вьющимися волосами. Помню, однажды Леонель написал стихи, в которых говорилось о «ярости твоих волос».

Подъехав к морю, мы высаживались в каком-нибудь месте и почти всегда купались нагишом. На троих у нас было примерно

двадцать песо, и мы отправлялись в отель «Лакайо» или в «Парьенте Салинас», где покупали на каждого по бутылке пепси-колы и наблюдали за грациозными молоденькими девушками из буржуазных семей. Некоторые из них были в разноцветных шортах: белых, красных и голубых. Другие — в укороченных голубых джинсах, плотно облегавших их бедра. Я не отрываясь следил за девушками. Мимо нас проходили девушки и с длинными волосами, ниспадавшими на плечи, и с короткими прическами. Одни были смуглыми, другие — белокожими. Они были настолько привлекательны, что у нас просто глаза разбегались. Вечером мы возвращались в Леон опять на попутных машинах, расходились по домам, а на следующий день рано утром мы уже были в помещениях КУУН, или в университетском кафетерии, или в помещении ассоциации факультета естественных наук, или на факультете права — то есть каждый на своем рабочем месте.

Работа казалась нам тяжелой, потому что мы были новичками. Уже одно то, что нас пока еще было немного, заставляло каждого трудиться с удвоенной энергией. По мере того как возрастает объем работы, начинаешь вдруг многое понимать, открываешь для себя что-то новое, чувствуешь себя обязанным значительно расширять свой кругозор, чтобы уметь вовремя найти нужный ответ и накапливать, накапливать знания.

Сначала я занимался в кружке, которым руководил Леонель. Через три месяца по заданию Леонеля и Эль-Гато я стал самостоятельно проводить работу в кружках среди членов РСФ. В мою задачу входило отобрать наиболее способных представителей студенческой молодежи для Фронта. Через некоторое время я уже контролировал деятельность семи таких кружков. Когда наступал вечер, меня охватывала страшная усталость, в голосе чувствовалась непомерная тяжесть. Конечно, напряжение было огромным. Помню даже, как я наизусть выучил текст книги Марты Харнекер «Основы исторического материализма», который мне столько раз приходилось повторять в кружках. По вечерам мы собирались в университетском клубе, где до самого рассвета готовили афиши, плакаты, печатали брошюры для членов кружка. А поскольку мы боялись расходиться по домам на рассвете, то укладывались спать прямо в здании КУУН на столах для настольного тенниса или на спортивных матах. Численность РСФ стала постепенно расти, крепла и сама организация, а вместе с ней росла и наша сознательность. В самом начале нашей деятельности РСФ насчитывала лишь четыре члена. Укрепление позиций РСФ и Фронта в Леоне являлось основной политической линией,

требовавшей активной борьбы, борьбы весьма опасной. Именно поэтому в первые дни существования организации у нее было мало сторонников.

4

В 1970 году, через шесть месяцев после гибели в одной из схваток с гвардейцами команданте Хулио Буитраго, я перешел на нелегальную работу. Буитраго находился на явочной квартире в Манагуа вместе с Дорис Тихерино и Глорией Кампос — своими соратницами по борьбе. Органы безопасности диктатуры выследили их, и гвардейцы устроили беспрецедентную в истории Никарагуа осаду дома, окружив это здание, соседние дома и весь квартал тройным кольцом. Хулио вступил в схватку с гвардейцами. Это был один из самых великих подвигов, совершенных бойцами СФНО. Этот человек был одним из тех, кто способствовал созданию в народе легенды о непобедимости Сандинистского фронта национального освобождения. Основой для этой легенды послужили конкретные исторические события. Первым фактом явилось героическое сопротивление, которое Хулио Буитраго оказал гвардейцам 15 июля 1969 года.

Власти допустили серьезную ошибку, показав эту схватку по телевидению. Мы сидели у телевизора в университетском клубе Леона и видели, как гвардейцы расположились группами по два-три человека в различных местах — за деревьями и машинами, за стенами домов. Стоя на колене или же из положения лежа они обстреливали дом, в котором находился Хулио Буитраго. Эта передача шла без звука, и мы с замиранием сердца следили за тем, как из автоматов вылетали отстрелянные гильзы; мы напрягали зрение и видели, как под пулями разлетались кусочки бетона, цемента, дерева, стекла. Мы видели также ствол автомата, из которого стрелял Хулио. Иногда фигура его мелькала в окне первого этажа, затем появлялась в другом окне этого же этажа, а некоторое время спустя — в проеме балконной двери второго этажа. Потом какое-то время Хулио не появлялся, но и гвардейцы не двигались с места. Заметно было, что они перестали стрелять по зданию: видимо, офицеры устроили короткое совещание. Затем гвардейцы стали приближаться к дому, и тут совершенно неожиданно появился Хулио. Гвардейцы опрометью отбежали от дома, и эта картина доставила нам истинное наслаждение, потому что было понятно, какой животный страх внушали гвардейцам автоматные очереди Хулио. А когда мы видели, как пуля, выпущенная Хулио в какого-нибудь гвардейца, сваливала того на землю, мы, приходя в исступление, кричали: «А, сволочи! Ну что, съели?!» Затем появились танки, и гвардейцы несколько оживились. Один из танков остановился прямо напротив дома, примерно в пятнадцати метрах. Хулио и

гвардейцы прекратили перестрелку. Раздался выстрел… Мы похолодели, увидев, как от выстрела разлетелась на куски стена, и каждый шептал про себя: «Может быть, в него не попадут… Может быть, в него не попадут…» Выстрелив, танк двинулся вперед, к дому. Из дома не прозвучало ни единого выстрела, но, когда гвардейцы приблизились к нему, Хулио снова открыл огонь, а гвардейцы в испуге отбежали. Танк снова выстрелил. Наступила тишина, которая длилась довольно долго. Над домом, где скрывался Хулио, появились небольшой самолет и два вертолета. Гвардейцы опять открыли по дому огонь. Танк стрелял, вертолеты обрушили на дом град пуль. За несколько секунд дом превратился в развалины. Земля была усеяна кусками стен, осколками стекла… Но Хулио еще оставался в живых, и это было необъяснимо. Мы видели, как гвардейцы прятались за деревьями, как они падали на землю, настигнутые пулями Хулио, и тут вдруг все, смотревшие передачу, оживились: в проеме чудом сохранившейся двери у центрального входа появился Хулио. Он бежал, отстреливаясь длинными автоматными очередями, пока не упал на землю. Слезы боли и горькой утраты выступили у нас на глазах.

Так погиб один из лидеров Сандинистского фронта национального освобождения.

Разумеется, каждый житель Никарагуа, у которого дома был телевизор, мог видеть это. Позже это увидели даже те, у кого дома не было телевизоров, потому что Сомоса просто проявил глупость, приказав показать эти сцены по телевидению несколько раз, и те, у кого не было телевизоров, приходили к соседям, чтобы посмотреть эту передачу. Люди видели, как дрожали от страха гвардейцы. Видели они и танки. Видели, как кружили в небе над домом самолет и два вертолета. Затем на их глазах упал Хулио… Теперь каждый никарагуанец понял, что за нами — несокрушимая сила.

После гибели Хулио организацию возглавил Эфраин Санчес Санчо. Это был человек твердых моральных убеждений, но он не обладал способностями крупного политического лидера. По его вине я вынужден был в течение шести месяцев находиться в подполье. Его, работавшего в подполье и пренебрегавшего всеми мерами конспирации, раскрыл какой-то лейтенант из службы безопасности Сомосы, когда их машины случайно встретились на улице. Жена лейтенанта, сидевшая вместе с ним в машине, узнала в спутнице Санчо Санчеса свою соседку. Лейтенант, бросив взгляд на спутника соседки, сразу же узнал его. В автомобиле Санчо кроме него и его спутницы сидели еще два товарища. Спутницу Санчеса звали Марина Эсперанса Валье. Она

скрывалась под псевдонимом Тита и поддерживала со мной дружеские отношения. Жена гвардейца не успела рассмотреть лица других товарищей, находившихся в автомобиле, и потому уверенно заявила, что одним из пассажиров был я. Именно поэтому мне и пришлось уйти в подполье. Находясь на нелегальном положении, человек вынужден скрываться буквально от всех — от гвардейцев, шпиков, нейтралов, друзей и даже от собственной семьи. Он вынужден маскироваться, жить тайно на явочных квартирах, ходить постоянно вооруженным, вести революционную работу.

Был я очень молод, физически слаб и к тому же не имел никакой подготовки, вот почему мне приходилось нелегко.

Чтобы вернуться на легальную работу в Леон, мне пришлось пойти на хитрость: было решено нанести визит начальнику никарагуанского отделения Красного Креста, находившегося в Манагуа, с тем чтобы потребовать улучшения условий содержания в тюрьмах политических заключенных. В то время Баярдо Арсе, который тоже был членом Фронта, работал редактором газеты «Пренса». Там же был и Уильям Рамирес, директор радиогазеты «Экстра», которая вела передачи по международному каналу связи в 6 часов утра и 6 часов вечера. В это время проводилась широкая кампания по улучшению условий содержания политических заключенных в тюрьмах и мы собирались создать комиссию КУУН, которая должна была выступить с обращением к властям. Для этой цели мы пригласили епископа и несколько известных адвокатов. Было решено, что, как только комиссия КУУН направится к зданию Красного Креста, меня доставят непосредственно от явочной квартиры прямо к двери здания Красного Креста и я вместе с комиссией одним из первых войду в здание. А журналисты? Журналисты, ничего не подозревая, начали фотографировать всех, в том числе и меня, усердно щелкая фотоаппаратами, брать интервью, интересуясь выполняемой нами миссией. В тот же самый вечер мой портрет появился на первой странице газеты «Пренса». На фотографии я был запечатлен стоящим рядом с епископом и товарищами из КУУН и разговаривающим с представителями Красного Креста. Под фотографией стояла подпись: «Бакалавр Омар Кабесас, делегат КУУН, обращается к епископу и представителям никарагуанского Красного Креста с требованием просить генерала Сомосу улучшить содержание политических заключенных в тюрьмах». Этот снимок и подпись красноречиво свидетельствовали о том, что я никогда не находился в подполье, что я не скрывался от властей, что меня не видели в Леоне лишь потому, что я работал в КУУН в Манагуа. Вот так я и вернулся

ночью к себе домой.

Сразу же после этого случая мы с Эль-Гато действительно приступили к работе. Эль-Гато Мунгия стал первым президентом КУУН от РСФ, РСФ осуществлял руководство КУУН с 1960 по 1964 год, но кандидаты на пост президента КУУН не говорили открыто, что они — члены РСФ и уж тем более что они марксисты. С 1963 по 1970 год КУУН возглавляли социал-христиане. Эль-Гато был первым президентом КУУН, который открыто заявлял, что он коммунист, сандинист и член РСФ. Кампания по выборам Эль-Гато в президенты КУУН проходила очень бурно. РСФ насчитывал почти сто членов, и в большинстве это были студенты основного курса. Соперник Эль-Гато принадлежал к социал-христианской партии и имел приятную внешность. Эль-Гато тоже был очень привлекательным. У него были голубые глаза, но меня беспокоил его несколько смешливый вид, и я часто говорил ему: «Эль-Гато, спрячь улыбку», но он только смеялся в ответ, обнажая большие и крепкие зубы… Нет, пожалуй, сейчас я точно припоминаю, что глаза у Эль-Гато были зелеными. В день выборов он надел зеленую рубашку. Я знал, какой это великолепный оратор, слышал бурю аплодисментов, которые неизменно вызывали его выступления на студенческих собраниях, а теперь он казался мне еще и красивее своего соперника. И мы победили на выборах. Помню, подсчет голосов закончился уже на рассвете. Мы прыгали, кричали, плакали от радости, нападали на неудачников, срывали их плакаты, которыми были увешаны университетские стены, качали Эль-Гато… Ликование было всеобщим…

Можно с уверенностью сказать, что победа на выборах в университете означает качественный скачок, это завершение фазы одной борьбы и начало другой. Победа РСФ на выборах дала нам огромное преимущество для дальнейшего совершенствования организационной политической работы, потому что уже одно то, что мы являемся подлинными хозяевами штаб-квартиры КУУН, давало нам возможность иметь место, где мы можем проводить собрания. Теперь у нас будут пишущие машинки, фотокопировальные аппараты, машины для печатания брошюр, а самое главное — у нас теперь будут деньги. Иными словами, победа представителей РСФ на выборах в КУУН позволяла нам действовать в рамках законной организации в университете для проведения в жизнь планов СФНО, РСФ и КУУН. До этого момента мы ограничивались лишь средствами РСФ, еженедельно пополнявшимися за счет наших взносов, а этого было слишком мало.

Но здесь мы столкнулись с одной небольшой проблемой.

Испытывая огромную потребность в кадрах, мы вынуждены были набирать людей из РСФ, чтобы направлять их на работу в КУУН. Первым таким человеком был Эль-Гато, самый опытный и самый старый член РСФ. Он вынужден был теперь заниматься работой в КУУН, развернуть всестороннюю политическую работу, быть в курсе всех требований студентов с тем, чтобы студенты поддерживали проводимую нами политику, чтобы они видели преимущества, которые давало им руководство РСФ. Нам это было крайне нужно, потому что посредством борьбы в КУУН за расширение студенческих прав мы по-прежнему могли бы отбирать из среды студентов наиболее достойных товарищей. И, как я уже говорил, это позволяло нам использовать организационную структуру и финансовые средства КУУН для того, чтобы с их помощью вести пропагандистскую работу среди студенчества во имя интересов не только КУУН и РСФ, но и всего Сандинистского фронта национального освобождения.

До этого нам приходилось буквально воровать в университете. Мы прокрадывались в комнаты административной службы и напихивали в сумки наших спутниц скоросшиватели, кипы бумаги, цветные мелки, стиральные резинки, скрепки… Какую же мы испытывали радость, когда нам удалось достать двести песо и купить десять краскопультов, чтобы писать лозунги, плакаты и разрисовывать университетские и городские стены!

Начиная с того момента, как РСФ победил на выборах в университете, воровство в альма-матер значительно уменьшилось. Студент — это самый настоящий разбойник, не правда ли? Я сейчас вспоминаю, что сумки наших спутниц мы набивали не только этим. Они служили нам и для других целей: мы прятали в них вещи и лекарства, украденные в магазинах и аптеках.

В том же самом 1970 году РСФ рекомендовал КУУН нацелить свою деятельность на увеличение числа студентов, поступающих на первый курс медицинского факультета. Поступило всего лишь 50 человек, а мы хотели, чтобы поступило не менее 100. Разумеется, мы старались охватить всех студентов, главным образом с основного факультета, которых в Леоне было приблизительно 1500 человек, а в Манагуа — 2000. Эль-Гато шел во главе студентов, а мы шли за ним, будоража массы, устраивая митинги, занимая помещения университета, устанавливая громкоговорители, проводя на улицах напротив здания университета сидячие забастовки, организуя всякого рода комиссии. Когда студенты начинали понимать необходимость борьбы за изменение существующего строя, мы уже могли вести среди них политическую работу. И вот так, шаг за шагом, мы

привлекали на свою сторону молодежь, поступавшую в университет. Это послужило значительным импульсом для РСФ. Мы выиграли схватку на медицинском факультете и вновь ввязались в борьбу; мы представили новый вариант реформы в университете, изучили реформу кордобы и хотели изменить структуру нашего университета; мы боролись за то, чтобы изменить учебные программы, перевести как можно больше денег Фронту, используя для этого КУУН.

Помню, что, когда власти хотели исключить с медицинского факультета университета двух наших товарищей, мы заняли здание факультета права, где работали самые реакционно настроенные преподаватели, которые расхваливали конституцию Сомосы, пропагандировали так называемую представительную демократию.

Однажды мы устроили демонстрацию около дома декана. Мы всегда придумывали что-нибудь такое, чтобы стимулировать студентов, дабы у них не пропал энтузиазм и моральный настрой для достижения не только учебных, но и политических целей. Задача состояла в том, чтобы придумать для студентов что-нибудь оригинальное. Мы, сами студенты, считались большими выдумщиками. Я был президентом ассоциации студентов права. Именно в это время я и возглавил демонстрацию студентов факультета, направившуюся к дому декана. Во время демонстрации каждый нес в руках зажженный факел, а когда мы шли по улице, то люди просыпались, выходили из своих домов прямо в нижнем белье, в домашних шлепанцах. Лица у одних были испуганные, у других — серьезные или веселые. Студенты в Леоне всегда были горазды на веселые развлечения, и жители приходили в неописуемый восторг, потому что мы высмеивали Сомосу и правительство.

Так вот, в ту ночь, когда проходила демонстрация с факелами, женщины выскакивали на улицу в нижних юбках или в ночных рубашках, едва набросив на себя одежду. Они высовывались в приоткрытые двери и окна и, узнав в толпе демонстрантов своих женихов или сыновей, начинали громко комментировать: «Посмотри-ка, куда этот направился!», «Боже мой, а вон и мой красавец идет!», «Ты только посмотри, что они вытворяют!», «Ну и парни, ничего себе!».

Так мы шли с песнями, и факелы наши были видны издалека. Вначале люди думали, что идет какая-то процессия верующих, но потом им удавалось разглядеть нас. Жители домов высовывались из окон и дверей, и перед ними раскрывалась следующая картина: этот неисправимый Кабесас, или, как меня звали в городке, Тощий, идет во главе демонстрации с факелом в руке и

во весь голос горланит песни. Одни смотрели на нас с симпатией, другие видели в нас лишь лентяев студентов, которые, как им казалось, мечтали праздно проводить время и просто не хотели учиться. Но нам хотелось совершенно другого… Для нас время это было очень трудным.

Наконец мы подошли к дому декана. Внешне он очень походил на здание факультета права университета. Я сразу вспомнил, что на фасаде университетского здания написаны два лозунга: «К звездам и свету!» и «Свободу университету!». В тот поздний вечер эти лозунги показались мне абсурдными. Я выхватил у товарища кисть и ведро с краской и крикнул в толпу студентов: «Вы верите, что с такой системой образования, как у нас на факультете, можно дойти к звездам и свету?» В ответ раздалось дружное студенческое: «Не-е-ет!..» Тогда решительным жестом я написал крупными буквами на белой стене дома декана: «Отсюда дорога ведет в XV век». Мы знали, что декан — человек очень религиозный, а в Леоне, когда празднуется день девы Мерседес, покровительницы города Леона, жители на ночь выставляют на тротуарах домов горящие свечи. И тогда мы оставили на тротуаре перед домом декана не менее 500 зажженных свечей.

5

Главным для нас было то, что мы достигали определенных целей, которые ставили перед собой в ходе студенческой борьбы. И хотя конечная цель, за которую мы боролись — коренные преобразования в университете, — пока не была нами достигнута, мы все же сумели привлечь студентов на нашу сторону, убедить их принять нашу политическую линию и сплотить вокруг себя активистов Фронта. По мере того как ширилась борьба, все больше студентов записывались в кружки, объединялись в группы, которые позднее стали ячейками Сандинистского фронта национального освобождения.

Подпольщики часто просили нас найти явочные квартиры и автомашины. С этой просьбой они обращались к Эль-Гато, Леонелю, ко мне и еще к двум-трем товарищам. Они просили об этом нас, потому что мы родились в Леоне и хорошо знали город. Остальные студенты РСФ не были жителями Леона. Они приезжали сюда учиться из других районов страны, жили в комнатах, которые обычно сдавались студентам, общались в основном с коллегами и не имели в городе других знакомых. Мы же, леонцы, могли легко найти человека, который предоставил бы нам автомашину, сдал дом. Мы могли обратиться за помощью к своим соседям, знакомым, родным и получить у них поддержку.

Помню, было это во время святой недели, получили мы приказ не покидать город, поскольку нас ждет важная работа. И действительно, вскоре нам передали, что в определенное время прибудет «гондола» (так называли группу революционеров, которая должна была нелегально прибыть в страну) и эта «гондола» уже находится на границе, а может быть, даже в Чинандеге. Товарищи должны были нелегально прибыть в страну, и их нужно было разместить на явочных квартирах. А это означало, что не могло быть никаких оправданий с нашей стороны для невыполнения приказа. Мы были обязаны найти явочные квартиры для прибывающих товарищей. Мы отправились к своим старым знакомым в городе и постарались убедить их помочь нам. «Послушай-ка, — обратился я к Эль-Гато, — как ты думаешь, отважится ли на это вон тот парень?» Я показал на дом, в котором жил адвокат по имени Эдуардо Коронадо. Адвокат был пролетарского происхождения и держал у себя в доме небольшой бар. Эль-Гато поддержал меня. «Эдуардо, — обратился я к адвокату, — мне срочно нужна твоя помощь. Необходимо снять помещение для одного товарища из Фронта. Товарищ этот здесь проездом». Ну а что мне еще оставалось делать? Если бы я сказал

адвокату, что мне нужно найти квартиру для подпольщика, он никогда бы мне не помог. Вот и пришлось соврать. Этот адвокат порекомендовал мне сеньора по имени Бландино, который держал похоронное бюро. Я отправился к сеньору Бландино. «Понимаете, — сказал я ему, — мне нужно пристроить одного человека…» Хозяин похоронного бюро и его жена были пожилыми людьми, а я в то время был еще совсем мальчишкой… Им было около семидесяти лет, а мне не исполнилось и двадцати. Иными словами, они должны были пустить к себе на квартиру такого же мальчишку, как я сам. Согласитесь, для человека пожилого возраста было бы просто несолидно выполнить то, о чем я его просил. Старики привыкли участвовать в заговорах таких же, как они сами, стариков, будь то заговоры консерваторов или либералов. Связаться с мятежным, как я, студентом старику было просто неразумно.

Сеньор Бландино ответил, что принять моего человека не может, потому что в доме нет места… «Послушайте, — предложил я ему, — давайте положим его в гроб, а на него поставим другой гроб, и так он проведет день. Товарищ мой, — сказал я, — человек очень дисциплинированный». «Да, — возразил старик, — но ведь люди могут прийти и купить у меня гроб?» «А тогда вы скажете им, что гроб этот уже продан», — настаивал я, но старик был упрям и не соглашался. «Я порекомендую тебе другого человека, который поможет тебе», — пообещал он.

Так я познакомился с Томасом Пересом. Я сразу понял, что этот человек (а он тоже был владельцем похоронного бюро) хочет помочь мне, но не имеет для этого возможности. Я встретился с ним, и он сказал: «Я с удовольствием помог бы, но не имею возможности, правда, есть один парень, который сможет это сделать». Томас предложил мне пойти поискать того парня. Тогда как раз состоялись чьи-то похороны, и Томас сказал: «Я не могу подойти с тобой к нему… Я тебе покажу его, а ты окликнешь его и отзовешь в сторону». Мы направились на кладбище вместе с похоронной процессией. Я подошел к человеку, которого показал мне Перес, положил руку ему на плечо и подмигнул. Он понял, что я хочу что-то сказать ему. Человек этот был мне незнаком, но меня он знал, потому что я был известен в Леоне. «Послушай, дружище, — сказал я, — хотелось бы обсудить с тобой весьма деликатный вопрос». «Почему бы нет? — ответил он. — С удовольствием». Мы немного отстали от процессии, и я сказал: «Приезжает один мой приятель, и надо устроить его на квартиру». Мне очень нужно было, чтобы он согласился, и тогда мы смогли бы разместить не одного, а двух приехавших товарищей на ночь

или даже дня на три — тогда это было бы абсолютно все равно. Самое главное, чтобы этот человек согласился. Моя просьба возымела действие. Он с готовностью ответил: «Ну что же, дружище, а почему бы и нет?..» Был это Магно Бервис из квартала Субтиава.

Какое счастье! Я сразу же отправился в университетский клуб, который, как мне показалось, находился слишком далеко. Прошел пешком несколько кварталов, явился весь в поту и спросил товарищей: «Удалось что-нибудь найти?» «Да нет, ничего, приятель», — ответили они мне. «А я нашел одну квартиру. Правда, она находится в Субтиаве». «Так пошли же туда скорей!»

Все получилось так, как мы и предполагали. Вечером пришел связной и устроил в этой квартире двоих — Педро Арауса Паласиоса (Федерико) и еще одного парня, имени которого я сейчас точно не припомню.

Наконец «гондола» прибыла. Позже нам удалось найти еще одну квартиру. Для этого мне пришлось зайти к Хоакину Солису Пиуре, который в настоящее время является заместителем министра здравоохранения. Он приехал из Европы, из Швейцарии, от одного парня, который был президентом КУУН во время кровавой расправы 23 июля. Ну так вот, зашел я к нему. Меня он лично не знал, но ему обо мне уже сообщили. Когда я изложил свою просьбу, он быстро согласился, и, таким образом, у нас появилась вторая явочная квартира.

Дом в квартале Субтиава находился на одной из пыльных улиц, где жили главным образом индейцы: дом стоял на отшибе, а почти в тридцати метрах от него был еще один дом, хозяина которого мы вскоре тоже привлекли к работе. Я объяснил хозяину, что мы хотели бы организовать учебу малограмотных, попросил его поговорить с братом и подыскать людей, желающих учиться. Его дом и патио были очень маленькими и неудобными, поэтому заниматься нам было трудно. Мы расставляли в патио пять, шесть или семь стульев, которые приносил хозяин. Пропагандистская работа велась нами со всеми предосторожностями, и в будущем эта практика нам очень пригодилась. Сначала собирались пять-шесть парней. Занятия проходили раза три в неделю. Мы начали изучать «Манифест Коммунистической партии». Среди слушателей были сельскохозяйственные рабочие, шофер такси, каменотесы, рыбаки и даже владельцы небольших ранчо.

Собравшиеся внимательно разглядывали меня, а когда я начинал говорить, они буквально впивались в меня глазами. Я видел, что они слушают с огромным интересом, понимают меня.

По их глазам я мог точно определить, как менялись их представления о мире, их взгляды на жизнь. После занятий они расходились по домам крайне возбужденные. Так наши ряды пополнялись новыми борцами. Я не прекращал занятий, и мы условились, что, как только они сами займутся нелегальной работой, я перестану появляться в этих местах. Во-первых, потому что там находилась наша явочная квартира, которую, несмотря на то что Федерико там уже не было, мы продолжали занимать; во-вторых, как место для ведения пропагандистской работы мы уже не могли использовать ее, потому что проходящие мимо дома люди заглядывали в открытые двери и видели, как при свете лампочки сидят пять-шесть человек, а я беседую с ними, держа в руках брошюру. И вот тогда представители Сандинистского фронта национального освобождения поручили Монтенегро Баэсе вести пропагандистскую работу в этом квартале.

Деятельность наша в Субтиаве с каждым днем становилась все активней. Мы начали рассказывать жителям Субтиавы о Сандино. Жители квартала много слышали о выдающемся индейском вожде — касике по имени Адиак. Мы представляли им Сандино как последователя Адиака, а сами исподволь знакомили слушателей с «Манифестом Коммунистической партии». Рассказывали им о Сандино, о проблемах классовой борьбы, о рабочем классе как авангарде в этой борьбе, о Сандинистском фронте национального освобождения.

Так мало-помалу зарождалось революционное движение в Субтиаве. Потом мы начали вовлекать в свою работу жителей и других кварталов Леона и делали это через родственников некоторых жителей Субтиавы, которые переехали отсюда в другие кварталы. Мы поручали им привлечь к работе в нашей организации родственников из других кварталов. Активная работа проводилась нами не только среди учащихся средних школ. Значительно выросла наша роль в университете, и вскоре сами революционно настроенные студенты начали вести активную работу в кварталах города под руководством Сандинистского фронта. Когда удалось наладить работу в кварталах, руководство СФНО сказало нам: «Ну а теперь пусть этим занимается РСФ. А Сандинистский фронт займется созданием сети подпольных организаций». Жители кварталов постепенно активизировались, а число студентов, направляемых в городские кварталы для работы с населением, заметно сократилось. В народной массе появились свои лидеры, их роль возрастала. Мы, руководители, поддерживали друг с другом постоянную связь; революционное движение в кварталах набирало силу. Жителей этих кварталов, принятых в наши ряды,

мы посылали на работу в профсоюзы Леона. Все эти профсоюзы входят теперь в Конфедерацию профсоюзного единства…

6

Одно обстоятельство всегда вызывало у меня чувство истинного удовлетворения. В душе я постоянно повторял то, что вслух высказывал в 1974 году: я готов был поклясться в том, что если гвардейцы убьют меня, изрешетив пулями все лицо, то я лишь перестану улыбаться после смерти. Я отчетливо понимал, что в то время причинил уже столько вреда гвардейцам, что смерть моя была бы для них слишком малой платой за тот ущерб, который я нанес им.

Когда я собирался уходить в горы, то шел туда полный решимости, нисколько не колеблясь и не раздумывая. Когда я уходил, я твердо знал, что за мной стоит Сандинистский фронт, да, именно он. Знал я также, что в горы уйду не один… На моей стороне было все студенчество, и, скажу об этом без ложной скромности, вдохнул в своих друзей боевой дух именно я.

Позднее студенческое движение распространилось на все департаменты. Здесь уместно упомянуть и студентов, которых мы приняли в нашу организацию в Леоне. Эти студенты у себя в департаментах начали проводить работу, подобную той, какую мы вели в кварталах; эти студенты были нашими первыми связными, и именно их направил СФНО для работы в различные департаменты.

В горы я пошел, абсолютно уверенный в том, что живым не вернусь, но принесу людям победу…

В 1972 или 1973 году, точно не помню, стали проводиться первые народные манифестации. Раньше в демонстрациях участвовали лишь студенты, а другие жители оставались пассивными. Но вот однажды мы организовали демонстрацию — сейчас точно не скажу, кто в ней участвовал, но, помнится, были там и студенты, и некоторые жители Субтиавы. Людей, участвовавших в этой демонстрации, нам удалось даже организовать в комитеты. Эта демонстрация своим размахом, как и все аналогичные выступления народа, просто потрясла многих.

Мы узнали историю жизни индейцев из Субтиавы и использовали полученные знания в работе. Мы стремились воскресить в памяти индейцев борьбу их предков в далекие времена под руководством касика Адиака, рассказывали им, как индейцев заставляли покидать свои земли, как жестоко с ними обращались, как либералы и консерваторы захватывали их земли, как восстал их вождь Адиак… Затем мы стали объяснять им, что буржуазия их поработила, а Сандино и его товарищи выступили против буржуазии… Тогда жители Субтиавы и решили выйти на

демонстрацию. Зазвучали барабаны. Люди собирались со всего квартала, и в руках у них были барабаны. За рядами индейцев шли сандинисты и громко скандировали: «На площади в семь вечера!» Таким образом жителей извещали о том, где и когда состоится митинг.

Когда смотришь, как идут жители Субтиавы, прислушиваешься к ритму барабанов, видишь застывшие лица индейцев, их жесткие волосы, лица почти без улыбки, серьезные, но не грустные и не печальные, а решительные, с едва сдерживаемой яростью и гневом, начинаешь замечать, что есть какое-то единство, что-то удивительно общее между звуками барабанов, их ритмом и выражением лиц… Гортанными голосами индейцы выкрикивали лозунги, поражавшие своей простотой и непосредственностью. Один индеец вопрошал: «По какому пути мы идем?» И все отвечали, с серьезными лицами глядя вперед: «По пути, указанному нам Сандино!» Фраза эта, произносимая суровым тоном, внушала уважение, и сразу становилось ясно, что сознание индейца пробуждается, когда он обращается к личности Сандино, вспоминая при этом свою собственную историю, и в его мятежном сознании укрепляется мысль о необходимости борьбы с эксплуататорами. Так вот, когда видишь таких индейцев, движущихся сплошной массой, сразу представляешь себе, что это демонстрация не только жителей Субтиавы, но и всех индейцев Латинской Америки. Вот идут боливийские, перуанские, чилийские индейцы — это люди, чья жизнь навсегда связана с медью, оловом, каучуком… В тот момент я отчетливо представлял себе, что звуки их шагов не только раздавались на улице Реаль, но и разносились по всему Латиноамериканскому континенту, эхом отдаваясь в горных отрогах Анд. Они двигались по пути, проложенному историей, решительным и твердым шагом шли к своему будущему…

Ну так вот, собираюсь я уходить в горы и знаю, что меня могут убить, но я теперь уверен — в поступи индейцев Субтиавы слышны шаги всех индейцев Латинской Америки; это марш индейцев, который мог бы возвестить конец эксплуатации наших угнетенных народов.

Как я уже говорил выше, я не боялся, что меня могут убить. За мной ведь стояла вся Субтиава! Субтиава превратилась в вечный костер. Потому что к этому времени огонь уже вспыхнул в наших сердцах. Было это частью нашей агитационной деятельности. Я имею в виду не пламя политической борьбы — хотя пламя политической борьбы тоже разрасталось, а огонь в прямом смысле. Мы сначала устраивали демонстрации со свечами, а затем в голову пришла идея: каждый студент — с

веткой окоте[1], но достать окоте было очень трудно, потому что росло это дерево только на севере страны. Каждый раз, когда мы выходили на улицу со свечами, мы видели, что тем самым привлекаем внимание людей. И вот как-то рано утром провели мы демонстрацию с зажженными ветками окоте, и жители присоединились к нам. Представьте себе процессии средневековья, в которых по темным коридорам старинных замков медленно шествуют монахи в капюшонах… Ну вот так, в кварталах Субтиавы, погруженных в темноту, улицы напоминали коридоры средневековых замков. Сотни огней, сотни горящих веток окоте, освещающих улицы, а мы идем по кривым улочкам Леона…

Доставать окоте было очень трудно, и мы подумали, что было бы лучше разжигать костры прямо на улицах кварталов; мы видели, как огонь привлекает людей. Люди всегда замечают огонь, даже самый маленький. Тогда-то мы и решили: будем разводить костры на улицах, прямо на перекрестках. К тому же гораздо легче было доставать дрова, чем окоте. Дрова мы иногда просто покупали. На пять песо можно было купить хорошую вязанку дров. У костра собирались сначала активисты из университет та — человек пять или шесть, а иногда и десять. Если был дождливый день, мы находили канистру с бензином, поливали дрова и зажигали. Мы, активисты, собирались вокруг костра и выкрикивали призывы: «Народ, объединяйся! Народ, объединяйся!»

Как только костер начинал разгораться, люди бежали к нему… Мы видели, как люди выбегали на улицу, перепрыгивая через деревянные загородки, колючую проволоку, которой огорожены некоторые дома. Мы видели, как они выходили из своих домов, шли по улице, направляясь к костру. Со всех концов квартала люди стекались по улицам, переулкам и собирались в толпу, которая останавливалась в нескольких шагах от костра, где уже их ждали активисты.

Подошедших мы окликали, просили подойти поближе. Первыми подходили ребятишки и начинали вместе с нами скандировать лозунги. Их голоса сливались с нашими, образуя настоящий хор, звучавший все сильнее и сильнее. Сначала мы недооценивали этого и не придавали особого значения действиям ребят, хотя, по правде говоря, мы уже не чувствовали себя одинокими, ощущая их присутствие…

Затем к костру приближался какой-нибудь рабочий, член профсоюза. Профсоюзы в Леоне были тогда слабые, немногочисленные и состояли главным образом из ремесленников. Иногда подходила какая-нибудь арендаторша с

рынка, а этот сектор был весьма решительным и боевитым… Подходил студент, присоединялся к нам, и хор голосов становился еще мощнее. По мере того как все больше людей подходило к костру, те, кто поначалу стоял в отдалении, не решаясь подойти, тоже вскоре присоединялись к нам. Люди видели огонь, различали наши лица. Мы заводили разговор и пристально вглядывались в них, как бы стремясь передать им то, что думали и чувствовали сами. Поскольку у нас еще не было разработано организационных форм установления контактов с людьми и мы не знали, как лучше изучить характеры и настроение людей, чтобы убедить их в правоте нашего дела, мы в эти считанные минуты, устанавливая контакты с людьми с помощью бесед у костров, пытались говорить с ними как можно убедительнее. Людей собиралось все больше и больше… Кончались дрова, мы снова посылали за дровами, а люди все не уходили и слушали, слушали, слушали…

Много раз мы вот так разжигали костры, и люди выходили из домов и помогали нам. А вскоре люди сами стали заготавливать дрова для костров, приносить их из домов, а иногда приносили даже бензин. Этот обычай вскоре распространился и на другие кварталы, и постепенно огонь сделался настоящим «агитатором», потому что собирал вокруг себя всех сторонников Сандино. Костры превратились в символ «подрывной деятельности», символ политической агитации, символ революционных идей, которые студенты несли жителям кварталов. Костры стали заклятыми врагами национальных гвардейцев, которые ненавидели костры, потому что вокруг них собирались люди.

Костры разгорались, становились открытым вызовом правящим кругам. Они превращались в мощный призыв, и этот призыв становился громче по мере того, как увеличивалось число костров и народные массы объединялись вокруг наших руководителей. В городе уже горело десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, пятьдесят, сто костров. Самым примечательным было то, что теперь эти костры разжигали не студенты, а простые жители. Днем они подвергались нещадной эксплуатации, а по вечерам поднимали мятеж. Днем они работали, а вечером протестовали и выкрикивали лозунги.

И теперь я шел в горы с сознанием того, что поддержка нам обеспечена. Прошло то время, когда мы, студенты, чувствовали себя одинокими, когда нам казалось, что с нами лишь память о погибших товарищах, придававшая нам силы. И может быть, потому нам с большим трудом удавалось устанавливать контакты с новыми людьми, что мы мало общались с местными жителями и наше слово еще вызывало у людей странные чувства, смешанные

с чувством страха. Для себя я сделал одно открытие — только общаясь с людьми, можно узнать их характер и таким вот образом добиться взаимопонимания.

Поначалу лица людей казались мне непроницаемыми. Нередко мучило ощущение, что у нас ничего не получается, что люди не понимают нас и не хотят понять. В самом деле, вначале отсутствие контактов очень мешало нам в работе. Кроме того, жители очень боялись национальных гвардейцев. Но постепенно страх проходил. Теперь простые люди вкладывают в свои действия всю свою ярость, гнев, ненависть, надежду и решительность.

Поэтому я еще раз говорю, что не чувствую себя одиноким, когда иду в горы. Рядом со мной тысячи жителей Субтиавы и рабочих из леонских кварталов. Иными словами, я слышу, как народ бросает вызов своим врагам: «К чему придут бедняки? К власти! К чему придут бедняки? К власти! К чему придут богачи? К дерьму! К дерьму! К чему придут бедняки? К власти! К чему придут богачи? К дерьму! К дерьму!»

Вот почему, уходя в горы, я испытываю безграничную веру в наше дело, ибо за ним стоит практика всей нашей политической работы, практика работы организационной, практика ведения боя (в данном случае имеются в виду уличные бои), практика мобилизации народных масс.

7

Поднимаясь в горы, я испытывал особое моральное удовлетворение, потому что пожар, охвативший город, загорелся и от моей маленькой искры.

Это помогало мне не допускать мыслей о дезертирстве с самых первых минут пребывания в горах, потому что, когда попадаешь из одной среды в другую, особенно если физически ты к этому не готов, такие мысли возникают часто. Да, мы не были подготовлены к жизни в горах, потому что, хотя мы все и читали «Дневник» Че Гевары, посвященный Вьетнаму, китайской революции, рассказы о партизанском движении в Латинской Америке и других районах мира, обо всем этом у нас было лишь смутное представление. Мы и представить себе не могли, как все это выглядит на самом деле… Сначала мы на один день остановились в небольшом имении, принадлежавшем товарищу, сочувствовавшему нам. Кажется, его звали Аргуэльо Правиа. На рассвете за нами должен был приехать джип красного цвета. Мне впервые предстояло ехать на автомашине, принадлежавшей подпольной организации, и меня разбирало любопытство, кто же нас повезет…

В ту ночь мы почти не спали и с нетерпением ждали трех часов утра. Да и кто же мог заснуть? Во всем чувствовалось напряжение, мы переглядывались, перекидывались шуточками… Подсчитывали, сколько времени осталось до полной победы, каждый пытался рассуждать с точки зрения общей обстановки в стране, обстановки в мире… Пять лет… а может быть, лет десять. Послышался стук в дверь. Один из товарищей открыл ее, мы поднялись, взяли с собой мешки и вышли на улицу. Я узнал Педро Арауса Паласиоса, который вышел из машины и стал помогать нам грузить вещи. Водитель остался в машине. Сидел молча, не глядя по сторонам с чертовски серьезным видом. На улице было темно, и, хотя на углу горел фонарь, свет его едва доходил до нас. Мне не удалось разглядеть человека, сидящего на месте водителя.

Через некоторое время — стало уже рассветать, когда мы проехали Чинандегу и высадили там одного подпольщика, — первым заговорил с водителем Федерико… Помню, по дороге мы запели песню, чтобы воодушевить себя немного, но вовсе не потому, что настроение у нас испортилось. Мы уезжали в приподнятом настроении, потому что знали, что участвуем в деле, которое непременно закончится победой, вот только не знали мы, кому из нас доведется дожить до этой победы.

Большую часть времени мы ехали молча, и каждого из нас мучил вопрос, суждено нам выжить или нет. Думы эти тяжелые, тем более что все мы понимали — перед нами реальная жизнь, а не спектакль, который может скоро кончиться. Тогда-то мы и запели песню. И вдруг я заметил, что Федерико заговаривает с водителем, и тогда, ну конечно же… Я узнал его! Это был Куки Каррион. Теперь он — командир одного партизанского отряда. Да, я знал Карриона. Он был из буржуазной семьи, и мне приходилось бывать в его компании. Там я познакомился с девушкой по имени Клаудия. Молодые люди, которые собирались на квартире у Куки, тихо разговаривали между собой, а некоторые иногда покуривали марихуану. Люди эти были из состоятельных семей, и у них водились деньги. Некоторые из них впоследствии изменили образ жизни и стали активно участвовать в деятельности КУУН. Вскоре нам приказали не появляться больше на этой квартире. Я еще подумал тогда, что ее, наверное, решено использовать для собраний членов СФНО. Так оно и оказалось на деле. Куки уже тогда был подпольщиком, но я этого не знал и поэтому удивился, когда он вдруг перестал участвовать в мероприятиях, проводимых КУУН. Тогда я подумал, что он отошел от нашего движения… Одним словом, увидев его теперь за рулем, я страшно обрадовался, поняв, что Куки по-прежнему в наших рядах.

Ну так вот, уже рассвело, и примерно в половине шестого утра мы приехали на одно маленькое ранчо в окрестностях Матагальпы. Там мы провели целый день. Помню даже, что ели курицу. А вечером мы снова сели в машину, помнится, был это уже другой джип, а может, не джип, а небольшой грузовичок с открытым верхом. Мы не знали, в каком направлении нас везут, знали только, что в горы… Проехали Матагальпу, попали на мощеную дорогу, затем съехали с нее и направились по проселочной дороге. Это был самый опасный участок пути, потому что мы ехали по районам, где всегда велись активные партизанские действия. Со стороны противника не ощущалось слежки, потому что гвардейцы не прочесывали эту местность, однако мы знали, что всюду много доносчиков, а в некоторых местах рассредоточились подразделения противника. Наши товарищи позаботились о нас и обеспечили нам свободный проезд. Сначала вперед они высылали машину, а если не удавалось обнаружить засаду, то тогда уже ехали мы.

Поездка наша была длительной. Мы не спали ночью… не спали с прошлого дня… потому что днем и ночью ехали… Дорога была плохой: мы видели лишь горы, вишневые деревья, подъемы, спуски, высохшие участки земли, непролазную грязь, крошечные

ранчо, возле которых замечали костры. Изредка попадались машины, двигавшиеся нам навстречу. Все мы были достаточно воспитанны и не задавали никаких вопросов, а потому не знали, повезут нас сразу же в горы или мы остановимся в каком-нибудь доме, не имели представления, кто нас будет ждать, дадут ли оружие, придется ли носить военную форму… Нам все интересно было знать, но мы старались скрыть любопытство.

Машина неожиданно остановилась, товарищ Хуансито (Хуан де Дьос Муньос) тихонько свистнул, и навстречу нам вышел крестьянин, типичный житель северной провинции. На ночном небе висел крошечный полумесяц. Трудно было точно определить наше местонахождение, так как шел дождь. К слову сказать, он сопровождал нас на протяжении всего нашего пути. Крестьянин предложил нам выйти из машины. Мы оттащили машину на обочину дороги, выгрузили на землю вещи, а потом отнесли все в дом. Проснулись жители, дети стали плакать. Крестьянин сказал: «Ложитесь вот здесь, на полу…» Мы стали укладываться. Укладывались очень шумно, и Хуансито шикнул на нас: «Тсс, не шумите…» Мы, разумеется, старались не шуметь, но у нас ничего не получалось, ложились спать мы с шумом. Шуметь было нельзя, потому что поблизости находились дома других крестьян, а если в доме крестьянина в этот час ночи слышится шум или звучат чужие голоса, то это может оказаться просто опасным. Тогда мы еще не могли себе точно представить, насколько гулко может отдаваться в тишине самый слабый звук; любой звук — удара, упавшего металлического предмета, падающей пластиковой сумки, мешка — был просто опасен. Мы зажгли лучину и стали смотреть, как бы навести порядок. Все мы страшно нервничали… и внезапно услышали шум. Оказалось, это были домашние животные, бродившие возле дома. Мы заметили, что Хуансито нервничал больше других.

Дом стоял у края дороги, и по этой дороге мы должны были подниматься в горы. Нам предстояло выйти очень рано, чтобы пройти по долине, где было разбросано множество домишек, миновать населенные пункты и ступить на нехоженые тропы, чтобы отправиться прямо в горы по небольшим ущельям… Мы не спали, да и можно ли было заснуть, если во всем чувствовалась напряженность. К тому же у каждого было оружие, пользоваться которым никто из нас не умел. У меня было ружье и огромный револьвер, и, когда я засовывал револьвер в карман, он сильно натирал мне ноги… Я был ужасно худой, и револьвер бил меня по костям…

Было около четырех часов утра. Мы лежали молча… «Вставайте, товарищи, вставайте… только потише!..» —

послышался чей-то голос. Мы начали открывать тяжелые пластиковые мешки, чтобы упаковать вещи. Мешки издавали страшный шум, слышимый, наверное, в соседнем доме… Аккуратно уложив вещи, мы завязали мешок и вышли… Было нас человек пять… И вот с того самого момента, как я вышел из дома, и начались мои мучения… Наступил новый этап в моей жизни. Мне предстояло пережить трудности, страдания, горести, болезни, испытать радость, обрести новых товарищей по борьбе, преодолеть свои слабости — словом, ощутить все то, что ощущает человек, окажись он в подобных условиях.

Крестьянин-проводник сказал: «Пойдемте, но без шума». Я увидел, что он направляется в сторону малодоступных гор, и тогда спросил себя: «Интересно, а как же мы пройдем здесь?» Пройти там было практически невозможно. Проводник ушел вперед, и мы остались одни в зарослях кустарников. Проводник ничего не сказал нам, но мы все стояли и ждали. Я напрягал зрение, но не видел проводника. Как же мы пройдем здесь? Наконец мы все-таки двинулись вперед, продираясь сквозь густые ветви кустов как раз в том месте, где прошел проводник. И вот перед нами маленькая тропка и гора, собственно, не гора, а горы — горы вверху, горы сбоку а горы внизу… Я попытался прибавить шагу, ничего не вышло. Рюкзак, который я нес на спине, сильно давил на плечи, затем свалился на землю. Я нервничал, не видя нашего проводника, черт бы его побрал… Почему я решил, что мы пойдем по дороге? Сначала я не представлял себе, что же это такое — горы. Оказывается, вот что — сплошная темень, страшная сырость… холод, пробирающий до костей. Вокруг были непроходимые заросли кустарников. На пути встречалось множество лиан, трава низкорослая, трава огромных размеров, кустарники различного типа, и все это зеленое-зеленое. Мы ныряли в эту зелень, как в воду, и разгребали ее руками.

Я шел медленно, рюкзак цеплялся за ветки. Я падал и поднимался, весь промокший до нитки, снова хватал рюкзак, взваливал его на плечи и уже изрядно натер себе спину и шею… Переложив его на другое плечо, я продолжал взбираться по склону горы, спрашивая себя, а как же смог взобраться туда этот парень и смогу ли я подняться в горы с этим тяжелым рюкзаком, если к тому же руки у меня заняты. Каким-то чудом мне удавалось удерживать его на плечах, но он вдруг начинал сползать вниз… И тогда одной рукой, в которой было ружье, я поддерживал его снизу, а другой цеплялся за ветки, продолжая подниматься, но рюкзак снова сползал… Страшные мучения испытывал я, поднимаясь в гору…

Через некоторое время проводник возвратился, и вид у него был очень сердитый, но он не стал ругаться, а только сказал: «Послушайте, даже издалека слышны ваши крики». Оказывается, он, хотя мы не видели его, слышал все. Он шел впереди и слышал, как мы переговаривались, кричали, жаловались. Действительно, уже в самом начале перехода мы стали терять самообладание, нам тяжело было скрывать свое плохое настроение. Мы пообещали, что не будем шуметь. Но не успели мы пройти и двухсот метров, как стали переговариваться в несвойственном нам раздраженном тоне. Наши разговоры напоминали ссору детей. Проводник, снова ушедший вперед, опять вернулся: «Послушайте, вы очень шумите… поторопитесь, а то рассвет нас застанет врасплох, нас заметят гвардейцы…» Идти еще быстрей? Нам и так казалось, что мы не идем, а бежим…

Руки наши были изодраны колючими ветками чичикасте, ссадины кровоточили, а крестьянин будто ничего не чувствовал. Колючие ветки хлестали по лицу, и я не знал, что делать: то ли бросить рюкзак, то ли терпеть. И так продолжалось два часа. Мы были мокрыми с ног до головы, потому что кругом было много крикитос — небольших струек родниковой воды, а мы их не замечали и попадали прямо в них… Кругом темнота, ничего не видно, но постепенно глаза стали привыкать к ней и различать силуэты предметов, рельеф местности. Наконец мы остановились. «Неужели пришли в лагерь?» — подумалось мне. Я не имел вообще никакого, даже самого смутного, представления о том, где мы находились Мне казалось, что мы шли долго, часа три, не останавливаясь. А сколько же можно пройти за три часа?

Начинало уже рассветать… «Послушай, товарищ, за сколько мы доберемся до места?» — «Ну что ж, это зависит от того, как быстро вы будете идти. Если пойдете быстрее, то сможем добраться за три дня… Доставайте еду, сейчас будем ужинать». Однако никто не хотел есть. От напряжения и усталости желудки просто свело. А крестьянин вынул из нашего мешка банку сухого молока, взял металлическую миску, всю измятую от частых ударов о камни, насыпал туда порошок, положил много сахару, налил воды, отломил веточку и начал мешать молоко словно ложкой, а потом с аппетитом выпил целую миску. «Черт возьми, — подумали мы, — бедным крестьянам, видно, не приходится пробовать такого молока, так пусть хоть этот крестьянин пьет его…» Когда он подкрепился, мы спросили у него, какой будет дорога. «Теперь большую часть пути мы пройдем по горной тропе, — ответил он. — Пойдете друг от друга на расстоянии двадцати метров, а я буду впереди». Первым из нашей группы должен был идти я.

И вот мы снова идем, оставляя позади горы, продираясь сквозь кустарники, и снова перед нами гора, но уже не такая, как те, которые мы видели раньше. Она вся утыкана громадными деревьями, а между ними — непролазные заросли. Под ногами — густая трава, даже не видно, куда ступаешь. А над головой неба не видно, потому что ветви деревьев сплетаются вверху, Я не понимал, почему крестьянин-проводник просил нас идти осторожно. «Не топчите траву… не ломайте ветки», — говорил он. Неужели он так бережно относится к природе, потому что нежно любит ее? Мы, конечно, тоже любили природу и выступали против варварства по отношению к ней. Но сейчас перед нами расстилалось такое безбрежное море зелени, что мне казалось странным, когда крестьянин говорил: «Послушай, приятель, не вонзай в зелень мачете». Когда мы поднимались вверх, в горы, он вдруг останавливал нас, просил, чтобы мы расступились, и начинал расправлять при помощи мачете ветки кустов, которые мы помяли. Потом мы продолжали свой путь. Дождь, начавшийся еще ночью, к шести утра немного утих. Завершив длинный переход, мы вдруг почувствовали страшную усталость. Болели руки, плечи ломило от тяжелого рюкзака — он весил фунтов двадцать пять. Мы шли по узкой тропке, удаляясь высоко в горы; на пути нам часто попадалась трясина. По этой тропке, видимо, проходили обозы, и от копыт лошадей или мулов, груженных тяжелой поклажей, оставались небольшие ямки и бугорки. Вот на эти бугорки только и можно было поставить ногу. Было очень скользко, и я часто падал. При этом пачкался рюкзак. Тогда подходил кто-нибудь из товарищей, пытался очистить его от грязи, но пачкал руки, а их можно было оттереть только о дерево. Опять начался дождь, и мы снова шли, утопая в грязи.

У меня было ружье из тех, что заряжаешь и сразу стреляешь. Все мое военное снаряжение состояло из этого ружья и револьвера, который ужасно тер кожу. Я переложил его в другой карман, но теперь он время от времени врезался мне в ребра. Нес я с собой большой платок и в нем несколько патронов, потому что патронташей у нас тогда еще не было. Платок я привязал к поясу сбоку. Так вот, нес я ружье в одной руке, потому что оно было без ремня, а другой рукой поддерживал рюкзак; когда я уставал, то менял руки. Но мне надо было, черт возьми, идти дальше, подниматься вверх в гору, держась руками за ветки, чтобы не упасть, а как было сделать это, если руки заняты?! Приходилось одной рукой подхватывать ружье и рюкзак, а другой цепляться за ветки, стараясь не упасть, но это не спасало меня от падения. Я шел, а рюкзак тер мне плечо все сильнее и сильнее, и наступил такой момент, когда боль в теле сделалась просто невыносимой,

тело заныло от усталости, голова начала кружиться. Наш проводник шел не останавливаясь, и, чтобы не жаловаться на усталость, мы старались отвлечься разговорами. Я старался опереться на ружье, но приклад уходил в грязь по самый ствол, и я все-таки падал. Вскоре на моей одежде не осталось чистого и сухого места.

Платок у меня на поясе развязался, и из него высыпались все патроны. Товарищ, шедший за мной, аккуратно подобрал их и вернул мне, но, наверное, не все, потому что сказал: «Пойди и сам поищи свои патроны; нам нельзя оставлять следы». «Но они наверняка утонули в грязи», — ответил я. «Нет, иди и поищи их». У меня не было сил, чтобы вернуться назад метров на пятьдесят по этой чертовой грязи, к тому же все тело ныло от нестерпимой боли и усталости. Конечно, идти по тропинке в горах было легче, хотя в самом начале пути и это было для нас настоящим кошмаром. Но что оставалось делать?.. Так вот и шли мы целый день. Рюкзак с каждым шагом становился все тяжелее и тяжелее, и мы останавливались на отдых: сначала через 500 метров, потом — через 300, затем и через каждые 200 метров.

Удивительно, но шедший впереди нас крестьянин-проводник внешне казался спокойным. Он не был испачкан грязью, как мы, только немного глины налипло на его ботинках. Вытащив чистый носовой платок (мой же платок был весь в грязи), он стер пот с лица. На мне не было чистого места: и волосы, и лицо, и одежда были залеплены грязью. Мы снова перешли на горную тропку.

Помню, остановились мы на привал примерно часа в четыре вечера, потому что решили немного отдохнуть. Крестьянин сам сказал нам: «Давайте остановимся, поужинаем и немного поспим». Мы сошли с дороги и углубились в горы примерно на 500 метров и там решили расположиться на отдых. После отдыха крестьянин сказал: «Послушайте, мы удалимся в горы, пойдем на расстоянии десяти метров друг от друга. Поднимайте повыше ноги, как будто вы едете на велосипеде, и старайтесь ставить ногу в след идущего впереди». Сошли мы с дороги на обочину, покрытую низкорослой травой, и поднимали ноги, словно при езде на велосипеде, ставили их прямо в след идущего впереди товарища, чтобы можно было подумать, что здесь прошел один человек, а не несколько. Добрый участок пути шли мы именно так. А бывало даже, что приходилось идти вот так километра два. Это было страшно тяжело… и просто невозможно как физически, так и психологически. Иногда мы ворчали: «И зачем все это нужно?» Но умом понимали необходимость поступать именно так: партизаны продолжали вести боевые действия, а потому нельзя было допустить, чтобы их обнаружили гвардейцы. Идти

было очень трудно, особенно тогда, когда наш проводник вдруг удлинял шаги или поворачивался и шел задом, а мы повторяли его движения. Мы специально старались не оставлять следов ни когда поднимались в горы, ни когда спускались с них, и потому, если бы кто-нибудь из гвардейцев напал на наш след, он обязательно сбился бы с пути. Однако гвардейцам нередко удавалось разгадать подобные уловки, потому что эти приемы были известны некоторым крестьянам, а если гвардейцы хватали этих крестьян, они выпытывали у них все сведения о партизанах и начинали преследовать партизан. Мы разработали тысячу приемов, чтобы сбивать гвардейцев с толку, и все же уйти от их преследования было нелегко.

8

Поднимаясь в горы, я все время думал о лагере, припоминая все, что слышал о нем прежде. В городе рассказы о горах воспринимаются как миф. Для меня, как я уже говорил раньше, горы служили своеобразным символом. Я постоянно пытался представить себе, как будет выглядеть этот лагерь, в который мы идем, какая жизнь ждет нас в нем, то есть речь шла о том, чтобы открыть для себя — да, да, именно это слово, — навсегда открыть для себя, понять, во имя чего работал я почти шесть лет, круглосуточно, без рождественских праздников, без отдыха. То, что я делал, с каждым днем приобретало все большие размеры, и понимание этого приносило мне счастье в этом аду, каким были грязь, в которой мы утопали, и боль, от которой саднило все тело. Там, в горах, я познакомился со знаменитыми людьми — с партизанами, подобными Че Геваре. Я видел, как ухаживали они за бородами, как готовили пищу, как сражались, как вели работу среди крестьян; я находился в самом сердце Сандинистского фронта национального освобождения, знакомился с деятельностью Карлоса Фонсеки. Я раньше не был знаком с Карлосом Фонсекой, и страстное желание увидеть его давало мне силы на протяжении всего тяжелейшего пути в лагерь. Не знаю, как назвать те чувства, которые овладевали мною: то ли во мне просыпался настоящий мужчина, то ли я восхищался теми героями, которых видел перед собой. Но, думаю, прежде всего во мне просыпалось чувство стыда, которое испытывали все мы, и особенно я, когда находились в пути, когда физическая слабость удручала нас. Бессонные ночи, плохое питание отнюдь не способствовали нашему хорошему состоянию. Во время похода я сам себе казался абсолютно никчемным и корил себя за то, что привык маршировать впереди демонстрантов по мощеным улицам Манагуа. Тогда в глазах тех парней я был просто героем. Теперь же я чувствовал себя жалким и ничтожным, и мне казалось, что я никогда не смогу побороть этот страх.

Когда идешь в строю, вдруг ощущаешь определенный ритм, и даже сердце твое бьется в том же ритме, в каком пистолет бьет тебя по бедру; в том же ритме раскачиваются две сумки, полные патронов. Ремень до боли трет твою кожу. Боль пронзает все тело, шаги гулко отдаются в голове, когда ставишь ногу на землю и делаешь шаг вперед. Если взглянешь со стороны, то увидишь, наверное, человека, который едва шагает, тяжело переставляя ноги, и во всем его движении чувствуется скованность. Со страхом думал я, что таким меня могут увидеть мои товарищи, и

поэтому старался не показывать вида, старался выглядеть настоящим мужчиной и храбрым человеком. И во мне внезапно начало пробуждаться желание служить примером моим товарищам, хотя на меня никто не смотрел, и более того, я сам испытывал огромное желание посмотреть, как держатся мои товарищи, какими глазами они смотрят на меня. Когда в пути мы располагались на отдых, я внимательно приглядывался к действиям нашего проводника, чтобы многому научиться у него. Как-то во время привала крестьянин сказал нам: «Давайте готовить обед». Но как мы будем готовить? Я не представлял, какой выход можно было найти. Шел дождь, а в таких условиях развести огонь, как известно, дело не из легких. Где взять кастрюли? Из чего вообще мы сможем приготовить себе обед?.. Когда мы продирались сквозь чащу, мы слышали странный звук, очень похожий на рычание зверя. Я еще подумал, что это либо тигры, либо львы, и стал быстро прикидывать в уме, что можно сделать. Если это тигры или львы, на них придется истратить немало патронов. Оказалось, что это обезьяны — отвратительные, некрасивые звери, мясо которых, жесткое и с сильным неприятным запахом, едва ли пригодно в пищу. Конечно, если ты голоден, то и мясо обезьяны покажется тебе очень вкусным. Только готовить его надо долго. Суп, например, из мяса обезьяны готовится на огне часа четыре. Когда наш проводник сказал: «Давайте подстрелим обезьяну», я пошел вместе с ним. Какое же это удовольствие — идти налегке, по сухой земле и без ноши! Ружье я не взял с собой, потому что не успел очистить его от грязи. Решил, что будет достаточно пистолета. И вот я увидел обезьян, множество обезьян, взбирающихся по огромным, метров сто высотой, деревьям. Обезьяны прыгали по веткам, мелькали в кронах деревьев, цеплялись друг за друга, растягиваясь в длинные цепочки. И вот взлетел вверх ствол ружья проводника и — «бах»! «Вон там сейчас свалится обезьяна!» — крикнул я. Это была крупная обезьяна, примерно в полметра, а то и в метр длиной. Раньше мне никогда не приходилось есть мясо обезьян, но в то же время я не был капризным в отношении еды, мог есть что угодно. Проводник еще трижды выстрелил, и обезьяна свалилась с дерева, ломая ветки. Обезьяны ведь такие тяжелые… Впервые я видел обезьяну так близко. Мы отнесли трофей к месту привала, и опять возникли вопросы: а что мы с ней будем делать, как снять с нее шкуру, кто будет разделывать обезьяну, где достать приправу? Пока шли, проводник попросил меня срезать листьев с бананового дерева, а когда пришли, отыскал место посуше и начал рыть глубокую яму. «Ребята, сходите и принесите немного камней», — попросил он. Камни мы нашли в ущелье.

Взяв металлический котел, проводник разложил в нем банановые листья, а потом принялся разделывать обезьяну. Мясо мы промыли родниковой водой. Потом проводник сложил куски мяса в котел. А теперь дрова… Чем же развести огонь, если поленья мокрые? Проводник пошел искать сухие ветки; разумеется, он знал, какие ветки годятся для костра. Мокрые они только снаружи, а внутри сухие. Чем тоньше древесина, тем меньше с ней проблем, потому что вода не проникает внутрь. Проводник принес дрова, ободрал кору с веток. Но как же теперь развести огонь? Поджечь ветки спичкой? А вот спичек-то у нас не было… Мы очень внимательно следили за проводником. То, что он делал, мы наблюдали впервые. В этом мы позднее сами стали искусными мастерами, Разжигание костра в горах — дело сложное. Наш проводник-крестьянин обладал гениальными способностями разводить огонь в любых условиях… Он мог развести огонь даже в грязи и лужах. Разжечь костер в горах — это настоящее искусство… Проводник расколол бревна на маленькие кусочки, при помощи мачете разрубил их пополам, каждую половинку тоже разрубил на несколько частей и рубил все мельче и мельче, затем вынул сердцевину, расщепил ее, а после отобрал щепочки покрупнее. В центр ямки он положил тонкие щепочки сухого дерева… Вокруг них он стал укладывать поленья одно на другое. Затем взял кусок резины от старого сапога, поджег его и положил на стопку щепок, которые тотчас воспламенились. По мере того как огонь разгорался, из-под влажных поленьев появлялось пламя. Сначала это были отдельные языки пламени, затем огонь разгорелся, охватил щепки и толстые поленья. Глядел я на пламя и даже не верил своим глазам: казалось невероятным, что в такой влажности, под проливным дождем, в сельве вообще возможен какой-нибудь огонь.

На камни поставили котел, доверху наполненный водой из горного родника, и вскоре вода в котле закипела. Мы включили радиоприемник и стали слушать новости. Слышно было плохо. Мы сидели возле костра, перекидывались словечками, расспрашивали нашего проводника, почему нам было так трудно, спрашивали, сколько всего человек в горах, какие у них псевдонимы, по каким местам мы будем проходить. Три часа мы так беседовали и слушали радио, мокрые, испачканные. Передача велась на местном языке; мы слушали и думали о том, как нас встретят в лагере. Мы думали о том, знают ли об этом наши жены и невесты; некоторым из девушек парни сказали, что уезжают за границу учиться, а другим пришлось открыть правду. Мы сидели и ели прекрасный суп. Есть вообще-то не особенно хотелось, но

можно ли было отказаться от еды, если приготовить ее стоило такого труда, а кроме того, суп был горячий, и от этого разыгрался аппетит. Мы принялись за суп из прекрасного обезьяньего мяса… Ну да ладно, хватит шуток: суп был просто отвратителен…

9

На следующий день мы снова отправились в путь. Нужно было замести следы от костра. Выкопали ямку, бросили туда камни, головешки, угли, смели пепел, а сверху набросали листьев и заровняли их, как будто здесь ничего и не было. Шли мы уже не по грязи, а по горной тропинке. И снова нас ждали трудности: опять пришлось продираться сквозь лианы, а рюкзак застревал в них, и идти было очень тяжело. Устали мы чертовски! В этот день мы шли долго, пока не пришли в дом Нельсона Суареса (Эвелио). Это местечко называлось Лас-Байас. Метров за сто от дома я увидел, как проводник остановился и знаком показал нам, чтобы не шумели. Затем он вытащил мачете и начал рубить дерево — «бух, бух, бух». Возвратился и направился в сторону ранчо — «бух, бух, бух». Так он подавал сигнал. Мы подошли к небольшому дому, вошли внутрь — на земле лежали дети… и среди них даже один новорожденный ребенок. Дом был построен из материала, который достали прямо здесь, в сельве: срубленные стволы деревьев, кругом солома, деревянная черепица, ни стола в доме, ни какой-либо иной мебели, из сучьев сделана лежанка. Ночь мы провели в этом доме. Утром примерно в шесть часов пришли туда, где нас ждал связной, которого звали Сильвестре. Настоящее его имя было Хосе Долорес Вальдивиа. Не знаю почему, но он произвел на меня сильное впечатление. Я перекинулся с ним несколькими словами. Никогда не забуду, как утром мы пришли к нему. Там было уже человек пять. К Вальдивиа постоянно приходили новые люди, и он переправлял их по маршруту дальше, туда, где находились другие товарищи, или посылал их к Рене Техаде, до которого добираться было примерно два дня. Рене Техада имел подпольное имя Тельо. Когда мы прибыли к Сильвестре, я сразу подумал, что мы попали в лагерь. Ничего другого мне в голову прийти не могло… Дело в том, что там, в горах, был глубокий овраг, а в нем лежало гигантское дерево. Между дном оврага и стволом дерева было большое пространство; от ствола дерева отходили огромные ветки, которые были настолько крепкими, что на них можно было развешивать гамаки… Послышался сигнал (три удара), раздался ответный стук, а затем высунулись любопытные лица товарищей. Появился худющий-прехудющий человек, обросший бородой, с вытянутым лицом, таким неприветливым, словно он не испытывал особого желания видеть вновь прибывших. Нас он сразу же встретил каким-то вопросом; голос его при этом звучал решительно и несколько сердито. Был он жилист, с крупным

носом, в рубашке зеленого цвета и зеленых брюках, но не военного, а гражданского покроя, на поясе — кожаный ремень, с которого свешивался пистолет; это была, повторяю, не военная форма, а нечто среднее между военной и гражданской одеждой, назовем ее партизанской формой. Помню, через плечо висела у него винтовка «гаранд». Был среди этих парней и Эдвин Кордеро (Флавио). Мы называли его доктором, потому что раньше он был студентом медицинского факультета. Ему я и передал корреспонденцию из города. Там же мы стали готовить себе ленты с патронами, старались как следует экипироваться — ведь мы уходили высоко в горы, в лагерь, в котором располагались основные силы партизанского отряда. Очень хотелось есть, а еды практически не было. На всех было три лепешки и немного фасоли, и все это находилось у проводника, очень бедного крестьянина. Все страшно проголодались. Я разговорился с Вальдивиа, и, как мне показалось, он меня узнал. Начал расспрашивать о делах в университете, об университетской реформе. Мы перекинулись несколькими шутливыми словечками.

Нас одели, вооружили, мы залечили волдыри. Ночью послали меня и Аурелио Карраско к Тельо. Однако в ту же ночь мы прибыть не смогли, потому что в дороге возник ряд трудностей. С нами шли два крестьянина, два хороших ходока. Впереди шагал Педро, за ним я и Аурелио Карраско с рюкзаками. Вторым нашим проводником был ветеран Синика, сын крестьянки из Куа. Нагружен Синика был меньше всех и поднимался в гору очень легко и непринужденно. Мне было идти тяжело, хотя я уже привык к подъему по этим проклятым горам и научился ходить по трясине. Идти нам приходилось ночью, и шли мы с фонарями, но всегда при этом прикрывали рукой стекло, чтобы свет не был таким ярким. Первое свое восхождение я совершил с двумя товарищами, прекрасными ходоками, и мне приходилось тоже стараться идти так, чтобы никому не создавать проблем. Не знаю, что со мной произошло, но я вдруг почувствовал легкость и не отставал от крестьянина. В тот день мы заблудились: в четыре утра остановились на привал, немного отдохнули, а затем снова стали подниматься в горы, но Педро внезапно куда-то пропал, а мы продолжали подниматься. Я уже привык распределять тяжесть тела равномерно на каждую ногу, знал, куда поставить ногу при спуске и при подъеме, как пользоваться палкой, чтобы рюкзак не бил по спине. Мы прошли совсем немного, но вскоре на теле у меня появились волдыри, правда, уже не по всей спине, как в самом начале пути, а в основном вокруг пояса, под ремнем. Наконец мы пришли туда, где находился Рене Техада. Он был абсолютно одинок. Тогда я еще не знал, что Тельо и Рене

Техада — одно и то же лицо. Тельо и Вальдивиа внешне очень походили друг на друга, только Тельо был худой и сильный, примерно моего роста, а может, даже немного выше, с короткой стрижкой, вьющимися волосами, тонкими чертами лица, крепкими зубами, небольшими глазами. Движения его были решительными, как у крестьянина, говорил он с крестьянами на местном диалекте, хотя и был городским жителем. Кто знает почему, но Тельо вдруг проникся ко мне симпатией. Мы провели с ним три дня, потому что нужно было дождаться парней, которые остались с Сильвестре. После этого нам предстояло идти на соединение с основной партизанской группой. Тельо сразу же предложил мне повесить гамаки рядом и, уже лежа в гамаке, сказал, что узнал меня; ему известно, что я был студентом, и что зовут меня Омар Кабесас, и что я был студенческим лидером, обладающим задатками политического деятеля. Мы задавали друг другу вопросы о происходящих в стране и городе событиях, говорили о том, что нам не хватает нужной информации.

Ему казалось, что говорить на такие темы с крестьянами просто невозможно, потому что им очень трудно понять, чего мы хотим. Происходило это потому, что мы, городские жители, говорили более сложным языком, используя понятия, известные только нам, часто беседовали на отвлеченные темы, и понять смысл наших разговоров простому крестьянину действительно было довольно трудно. Тельо рассказал мне о своей семье, о том, что верит в успех партизанской войны. Выглядел он несколько подавленным; пребывание в горах не могло не отразиться на нем, к тому же питались они плохо, испытывали лишения, а главное — я почувствовал, что сильнее всего на Тельо действовало одиночество. Потом он рассказал мне, что его оставила жена, которую он очень любил… Говоря об этом, он заметно нервничал. Тельо был очень сильным человеком и довольно стойким, но, если кто-то задевал его за живое, он готов был расплакаться — таким чувствительным и нежным был он в глубине души. Позднее Рене Вивас рассказал мне о том, что произошло во время перехода до лагеря Родриго: мы сами вынудили Тельо заплакать. Разумеется, он никак не понимал, почему мы не могли вести себя так, как подобало в тот момент; он страстно желал добиться свободы и победы для народа, хотел, чтобы поскорее закончились страдания, которым мы подвергались; он стремился сделать из нас настоящих бойцов с первых дней тренировок; он полагал, что увидит в нас стойких мужчин, опытных партизан, уже вполне сформировавшихся бойцов. Во время одного из переходов кто-то из нас сказал, что мы больше не выдержим и останемся здесь, и тогда Тельо заплакал от разочарования. Об этом мне и рассказал

Рене Вивас. Если Тельо постигало разочарование, он мог расплакаться просто как ребенок. Сам Тельо прошел военную подготовку и одно время был лейтенантом национальной гвардии. Военная подготовка, которую он проводил с нами, состояла из нескольких этапов, но для всех них была характерна суровость. Иного пути он не видел, потому что, по его словам, мы были просто «дегенератами», отозванными прямо из леонского университета в этот ад.

10

Тельо оказал огромное влияние на мое физическое развитие. Ни Модесто, ни Родриго не влияли на меня так, как Тельо и Давид Бланко.

Через некоторое время туда, где находились мы с Тельо, прибыли еще несколько товарищей, которые оставались с Сильвестре. Захватив оружие и продукты, мы отправились к лагерю. Идти было трудно, но мы понимали, что это необходимо. Точно не помню, сколько нас было — десять или двенадцать человек. Шли мы по каменистым горным тропинкам… Это был наш первый длительный переход. Мы шли одну ночь, потом еще две ночи, а затем и целый день… За пятнадцать дней перехода мы встретили только одно жилище, и было оно, если мне не изменяет память, в местечке, которое называется Эль-Наранхо. Во время этого перехода мы получили настоящее боевое крещение. Раньше мы не испытывали подобного состояния. То было крещение партизан, крещение опытных борцов. В самом начале этого перехода у нас возникали разные ощущения, каких прежде нам испытывать не приходилось. Бывало так, к примеру: дня два идешь и чувствуешь, что больше не можешь, что тело не слушается тебя, и снова бесконечные подъемы, спуски, подъемы, идешь и слышишь лишь крики животных, обитающих в горах, шум падающих деревьев и непрекращающийся шелест дождя; все тебе кажется серым, ты видишь одни и те же лица товарищей, и становится скучно видеть одни и те же лица, слышать тот же самый равномерный шаг, а когда начнется бой, снова придется спускаться вниз, идя по следам гвардейцев. Черт возьми, неужели придется снова спускаться? А потом снова подниматься?! Хорошо бы, если бы гвардейцы прямо сейчас наткнулись на нас; мы бы с ними разом покончили и спустились бы с гор. В длительном переходе внезапно начинаешь ощущать голод. На третий день у нас кончились лепешки и фасоль, а на четвертый осталось всего три ложки ванильного порошка. Все страшно хотели есть… Отстреливали обезьян, но только для того, чтобы сразу же съесть их, потому что тащить их было тяжело, рюкзаки казались невыносимо тяжелыми. Чтобы облегчить вес, я решил по дороге выбрасывать ненужные вещи, потому что, чем дольше идешь, тем тяжелее кажется рюкзак: он то врезается в кожу, то соскальзывает, бьет всей своей тяжестью по спине — как-никак каждый рюкзак весил фунтов тридцать пять. Во время привала мы просто плюхались на землю… Помню, как-то я сел на землю и подо мной что-то зашевелилось; я с криком вскочил, и оказалось,

что сел на змею, которая, к счастью, была неядовитой. Когда я почувствовал под собой какое-то шевеление, то вскричал от страха: «Ой, мамочки!» Вскочил и даже не ощутил тяжести рюкзака. Увидел только, как быстро-быстро уползала змея…

Помню, когда я уходил в подполье, в моде была песенка Камило Сеста, в которой были такие слова: «Помоги мне поменять мои шипы на розу…» Иван Гутьеррес, влюбленный в одну девушку и вместе со мной ушедший в горы, как-то запел эту песню. Мы услышали страшный крик в горах. Кто-то кричал: «Помогите!» А оказалось, это он, бедняжка, распевал песню, посвященную женщине, и просил ее о помощи… Неизвестно было, кто же должен помочь ему… Тельо за это не рассердился на Гутьерреса, а только рассмеялся.

Ноги у нас были покрыты язвами, а носки не просыхали от воды. Каждый шаг для нас был настоящей мукой. Нам вдруг показалось, что в организме не хватает соли, и мы стали с жадностью поглощать ее. Дело было в том, что организм наш был сильно обезвожен, потому так и хотелось соли. Мы хватали горсть соли, посыпали и без того соленое мясо обезьяны и жадно облизывали его. Вот тогда-то мы и поняли, что значит для нас огонь. Если не умеешь развести в горах огонь, то можешь умереть с голоду. Огонь был нужен не только, чтобы приготовить пищу, он был нужен, чтобы согреться. А как разжечь костер, если, к примеру, намокли спички? Чтобы этого не случилось, спички мы клали в пластиковые мешочки, которые носили в рюкзаках. В этот же мешочек укладывались записная книжка, фотографии членов семьи. Начинаешь особенно ценить огонь, когда нужно высушить одежду, приготовить поесть, даже просто посидеть в компании, отдохнуть возле костра.

И вот в один из таких дней пришли мы в лагерь. Подойдя поближе к тому месту, где он находился, подали сигнал. Первым вышел нам навстречу парень лет двадцати восьми, высокий, худой, крепкого телосложения. Лицо у него было суровое, но приятное и даже холеное. Рыжая бородка на белом лице, голубые глаза и каштановые волосы, одет в форму цвета хаки, через плечо винтовка. Он приветливо поздоровался с нами. Это была первая улыбка, которую я увидел здесь, в горах. Как же приятно после двадцати дней пути встретить в горах человека, который опытнее тебя, выше тебя по званию, умнее тебя, гораздо лучше тебя, который смотрит на тебя не с грубым выражением на лице, а с широкой улыбкой!.. Я бы даже сказал, с очаровательной улыбкой. Это был Карлос Агеро Эчеверриа (Родриго). Он был, как и Модесто, одним из руководителей партизанского отряда.

Запомнил я также и Давида Бланко, а вот других товарищей

точно припомнить не могу… Мы вошли в лагерь и увидели несколько разбросанных зеленых пластиковых мешков, лежанок, палаток, накрытых пластиком. Пластиком были накрыты и расставленные на берегу столики, сделанные из стволов дерева пакайо, очень напоминавшего бамбук. Под пластиком была и кухня — огромные чаны и тазы для приготовления пищи… Примерно таким я себе и представлял лагерь. Однако людей я не увидел, если не считать нескольких человек, и подумал сначала, что основная масса товарищей находится где-то в другом месте. Оказалось, что эти несколько человек и составляют лагерь. Они да еще мы, вновь прибывшие. Виктор Торадо Лопес и Филемон Ривера находились по другую сторону Кордильер, примерно в шестистах километрах от нас. Там же был и мой брат Эмир. Мы же находились в горах Исабелья.

Родриго передали корреспонденцию, но он не стал читать ее, а сразу же позвал нас. Ему было интересно поговорить с нами, новичками, чтобы получить от нас информацию о том, что происходит в городе. Поговорить с нами хотели и остальные, расспросить о своих товарищах, соседях, о друзьях по студенческому движению, о том, как нам работалось в условиях городского подполья… Мы охотно отвечали на все вопросы и готовы были всю ночь и весь день говорить на старые и новые темы. Появление в лагере шести-семи новых товарищей произвело сенсацию… Приятно увидеть новые лица, новых людей, узнать новые имена. Идет поток информации, рушится стена одиночества, и оно отступает, словно исчезает на некоторое время, хотя постоянно ощущается… Это было просто потрясающе. Позже, находясь в партизанском отряде в течение нескольких месяцев, я часто повторял себе, что, когда приспосабливаешься и становишься уже закаленным партизаном, самое трудное — это не переходы через ущелья, не то, что обычно ждет тебя в горах, не постоянное ощущение голода, не преследования со стороны врага и даже не антисанитария и холод. Самое страшное — это ощущение одиночества. Это состояние души не поддается описанию, но нас оно преследовало постоянно… Особенно остро оно ощущалось по вечерам. Ты начинаешь скучать по электрическому освещению, испытываешь тоску по любимым песням, по близости с женщиной, по семье, родным, матери, товарищам по учебе, соседям, тоскуешь по шуму городских автобусов, по городской пыли, по кинофильмам. Страстно желая ощутить все это, понимаешь, что это просто невозможно, потому что ты не можешь оставить партизанскую борьбу, ибо пришел бороться и никогда не откажешься от принятого решения. Это одиночество — самое ужасное, самое трудное, самое

невыносимое чувство. Тоска по поцелую… по нежной ласке… тоска по улыбке… Тебя некому нежно обнять. Мы были лишены всех этих житейских радостей. Как ужасно всегда быть мокрым, голодным, ходить на поиски дров для костра, вечно продираться сквозь лианы, опасаясь растерять дрова, а когда они все же рассыпаются, с трудом подбирать их. Ничего более ужасного я и представить себе не мог. Хуже всего было от одной только мысли — сколько же времени нам придется пребывать в подобном состоянии. Мы должны были отказаться от прошлого, от ласки, от улыбок, от приятных ощущений, от сигареты и куска сахара… Мыться приходилось редко и без мыла. Пища готовилась в антисанитарных условиях. Каждому было ясно, что приготовленная еда — это настоящая дрянь, кусочек лепешки с очень соленым мясом, обезьянье мясо без какой бы то ни было приправы. И вот после такой еды, испытывая чувство голода, приходилось идти к крестьянам, чтобы проводить среди них политическую работу, идти под дождем, мокнуть до нитки, дрожать от холода и голода, не встречая ни улыбки, ни ласкового взгляда, а кругом трясина, темная-темная ночь.

Постепенно у парней изменяются характеры: они становятся совсем другими, превращаются не просто в жителей гор, а в умных обитателей гор, с повадками и осторожностью животных.

Это до определенной степени закаляло нас, делало стойкими в борьбе с диктатурой. Острее и проницательнее становился взгляд, обострялись обоняние, слух — иными словами, мы становились монолитными, как горы… Тела наши сделались упругими и твердыми, как стволы деревьев, мы научились бесшумно, быстро и ловко передвигаться. Так закалялась в нас сталь, развивалась воля и решимость, и это помогало нам выносить душевные и физические страдания. Твердость и непоколебимость авангарда Сандинистского фронта национального освобождения — это не просто слова. СФНО вел практические действия как в горах, так и в городе. При этом членов СФНО отличала стальная закалка; это были люди твердые, с непоколебимой моралью, с устойчивой психикой. Они были способны поднять народ на борьбу с диктатурой. По христианской вере, это было истинное самоотречение. Что-то магическое происходило в наших душах. Несмотря на твердость и решимость, обретенные в борьбе, в этой суровой жизни мы оставались людьми нежными. В нас постоянно накапливалось чувство любви, которой нам не суждено было поделиться с ребенком, матерью, близкой женщиной. Все эти накопленные и собранные воедино ощущения пробуждали в душе любовь и нежность, и это заставляло нас испытывать душевные

переживания, плакать от боли в сердце из-за вопиющей несправедливости, царившей в стране.

Мы были твердыми, закаленными людьми, с нежной, ранимой душой. Генри Руис, проходя как-то мимо ранчо и увидев спящего без одеяла ребенка, отдал ему свое покрывало, столь нужное ему самому в горах. Он, разумеется, понимал, что это не решит проблемы, но не мог поступить иначе.

Там, в горах, крепли наши дружеские связи; порой мы довольно резко разговаривали между собой, но в глубине души очень любили друг друга, испытывая огромную нежность и привязанность, которая вообще свойственна мужчинам. Крепкими были узы дружбы, связывавшие нас. Помню, во время нелегкого перехода один наш товарищ нашел гнездо с птичкой и шесть дней нес ее, потому что внизу, в горах, находился его друг, который сказал как-то, что его мать очень любит птичек, вот для него наш товарищ и нес эту птичку шесть дней. Подумать только — идти шесть дней, держа в руках нежное тельце птички, продираясь через лианы, переплывая реки, переходя их вброд, переступая с камня на камень, зная, что каждую минуту могут появиться гвардейские патрули. Да, везде нас подстерегала смерть, а тут еще эта птичка; но мы не могли расстаться с ней, потому что наш товарищ хотел передать ее матери своего друга. Когда мы пришли, друг нашего товарища осторожно взял птичку, долго рассматривал ее, потом обнял товарища, но в глазах его не было слез: либо он раньше выплакал их, либо старался сдерживаться. Мы не испытывали никакого чувства эгоизма, как будто горы, трясина и дождь смыли кучу грязи, которой покрыло нас буржуазное общество, смыли с нас тысячи предрассудков. В горах мы научились быть скромными, ведь один человек сам по себе ни черта не стоит в горах. Ты проникаешься еще большим уважением к простому человеку, в тебе обнажаются все самые прекрасные твои черты и отмирают недостатки. Правильно говорят, что в рядах бойцов СФНО рождается новый человек, окруженный свежестью гор, и даже кажется невероятным, что рождается такой искренний, без малейшей тени эгоизма человек, нежный, способный к самопожертвованию, отдающий себя другим без остатка, испытывающий страдания, когда страдают другие, смеющийся, когда смеются другие. Он бережно относится к своим товарищам, культивирует это чувство и развивает в своей душе.

К развитию этих качеств непосредственное отношение имеет военная подготовка. Именно здесь боец получает первые знания и опыт, здесь формируются сила его характера и другие важные человеческие качества.

11

Военную подготовку в нашем отряде проводили Рене Техада, Давид Бланко, а также Карлос Агеро. Разумеется, руководил военной подготовкой сам Тельо. Это была тщательная и строгая подготовка. Тельо не прощал нам даже малейшей ошибки. Его зычный голос всегда держал нас в постоянном напряжении; конечно, при этом Тельо довольно терпеливо указывал нам на допущенные ошибки и объяснял, как нужно их избегать; свои наставления он всегда сопровождал язвительными замечаниями. Ты ползешь, а он кричит тебе: «Приятель, не задирай так ягодицы, а то тебе могут всадить пулю в самое неподходящее место, ползи осторожно!», «Так нельзя привязывать палатку, потому что потом вы ее не развяжете, а надо делать так, чтобы вы успели развязать ее, если вдруг спешно придется покинуть лагерь!», «Оберните полиэтиленом вон те ремни, что свешиваются с гамака, если не хотите лежать в воде, когда пойдет дождь!»

Тренировал нас Тельо каждого в отдельности: учил разводить костер, подробно рассказывая, как это делается, объяснял, как надо организовывать питание для партизан, как незаметно и быстро передвигаться. Команды он подавал отчетливо, зычным голосом. «Ложись!..» — звучала команда, и Тельо выпускал над нашими головами очередь из автомата. Затем следовала еще одна автоматная очередь, и начиналось переползание. Ползти приходилось прямо под огнем, и, чтобы не попасть под пулю, надо было плотно прижиматься к земле.

Подготовка велась месяца полтора в самом сердце гор. Длилась она с четырех утра до глубокой ночи. Представляешь себе: ты спишь — и вдруг раздается страшный крик, который ты тут же начинаешь ненавидеть: «Парни, вставать!» Да, Тельо командовал нам именно так, а не «Подъем, парни!». Это продолжалось на протяжении всей партизанской войны. Дежурный офицер отдавал приказ подняться всем в половине четвертого утра. Для нас, привыкших поздно вставать, потому что мы поздно ложились спать, это было ужасно. Это страшно — привыкать ложиться спать через силу в семь часов вечера и подниматься в четыре утра. Ложились мы спать уставшие и голодные. Часто снилось, как мы едим мороженое. Мысли о еде не выходили из головы. В четыре часа утра подъем, просыпаешься сухой, а в горах идет ужасный ливень, холодный-прехолодный. Выходишь из палатки и идешь строиться под проливным дождем, без завтрака, без крошки хлеба во рту… Через десять минут уже ползешь по грязи; все тело в грязи — грязь во рту, в ушах, в

волосах… А через пятнадцать минут Тельо выпускает очередь из автомата, а мы ползем то на карачках, то по-пластунски, бросаемся в ледяную воду. Физическая подготовка казалась нам неимоверно трудной и просто невыносимой, когда нами руководил Родриго. Сначала — бег на месте, затем на карачках, потом на цыпочках; упражнения для пояса, для ног, для рук, для шеи… Упражнения утомительные, особенно с рюкзаком, потому что он сильно натирал спину. Ноги уже совсем не слушались, а тут снова приказ: ложись… ложись… ползи… а вокруг свистят пули. Вот так мы получали прекрасную закалку и больше уже не страшились ни шипов, ни колючек, ни трясины. Мы учились устраивать засады, стрелять, обучались военной тактике и, безусловно, одновременно с этим изучали политические вопросы, а Тельо все время рассказывал нам о человеке нового типа.

Однажды после практических занятий, когда курс обучения закончился, мы отправились — это было примерно в двух днях ходьбы от лагеря — на кукурузное поле, чтобы поискать початков. Нам с трудом удавалось добывать себе пропитание. Раньше никто из нас не задумывался, что такое искать себе еду. Прежде мы не испытывали муки голода, а теперь позабыли о том, что такое аппетит, как часто любил говорить Рене Вивас. Дома мы привыкли есть горячую пищу, теперь нам приходилось искать себе еду, чтобы только не умереть с голоду. Сразу же после тренировки отправлялись мы на поиски еды. Физически мы уже значительно окрепли, но Тельо по-прежнему был с нами твердым и резким, требовал от нас все больше и больше тренировок. Иногда наступали такие моменты, когда мы просто ненавидели Тельо, потому что он всегда казался нам слишком строгим, а порой даже жестоким. Мы вообще-то любили его, но ненавидели его тяжелый характер, и я часто говорил с ним об этом доверительно, потому что мы очень подружились с ним, а некоторые товарищи, с которыми мне довелось встретиться три года спустя, говорили мне, что я очень подражаю Тельо. Это вполне возможно, так как иногда невольно копируешь жесты своих друзей… Так вот, на этот раз мы отправились в путь без груза, стараясь во всем помогать друг другу; мы были натренированы, вооружены карабинами, горели желанием поскорее встретиться в бою с противником. За время тренировок Тельо многому научил нас, сумел воспитать в нас качества, столь необходимые в борьбе, и за это мы, конечно, были ему очень благодарны… После того похода, о котором я рассказываю, нам пришлось нести кукурузу для тех, кто остался в лагере.

Каждый из нас взвалил себе на плечи груз весом примерно от семидесяти пяти до восьмидесяти пяти фунтов. Помню, что, когда

я стал поднимать мешок себе на плечи, он показался мне очень тяжелым. Я видел, как делает Тельо: взваливая себе на плечи мешок, он весь напрягался, лицо его покрывалось морщинами, он делал рывок, и груз оказывался на спине; затем он подхватывал его снизу и пристраивал поудобнее. Когда мы увидели, какую тяжесть придется тащить, нам сделалось не по себе. Мы, хотя и были парнями крепкими, подумали, что поднять такую поклажу человеку просто не под силу, но делать это все равно приходилось. Тельо вдруг сказал нам такое, отчего сразу же стало больно на душе: «Идиоты, учитесь носить еду, которой сами же себе набиваете желудки!» Слова его задели нас за живое и даже оскорбили; возможно, он сделал это умышленно, а может быть, и нет, да кто же его разберет, но переносить такие слова нам было очень тяжело. «Послушай, помоги-ка мне взвалить эту штуковину…» — попросил я одного из товарищей. И только с его помощью мне удалось это сделать. Вот так помогали мы друг другу. Наконец, нагрузив на свои спины поклажу, мы отправились в путь… Когда шли, нам иногда казалось, что мы просто проваливаемся в землю, хотя двигались мы не по трясине, а по рыхлой, размокшей, превратившейся в грязь земле. Останавливались мы каждые пятьдесят метров. Тяжело было идти с грузом, он сильно тянул вниз, но мы продолжали двигаться, невзирая на тяжесть, потому что в нас уже пробудилось упорство. Вдруг, наступил такой момент, когда показалось, что силы иссякли. Мы вынуждены были остановиться, чтобы немного отдохнуть. Тельо пришел в ярость, и снова послышался его грозный голос: «Так чего же вы хотите? Чтобы мы бросили кукурузу? Тот, кто отказывается нести еду, тот ее не получит! Тот, кто хочет есть, должен нести и еду… Вы ведете себя, как девицы, паршивые студентки, и ни на что не годитесь!» Нам не понравилось, что он так говорит с нами. Нужно все-таки быть гуманнее. До некоторой степени он прав, когда говорит так, ведь мы действительно чувствуем, как силы покидают нас, чувствуем себя моральными уродами, потому что хотя мы и понимали, что благодаря Тельо мы многого добились во время тренировок, но сначала никак не могли уразуметь, специально ли Тельо так обращается с нами, чтобы мы не расслаблялись, или у него просто идиотский характер и он не понимает, как нам тяжело. Тельо пришел в неописуемую ярость, когда мы, пройдя тридцать метров, сказали ему, что идти дальше не можем. В горах мы были новичками, а он провел там больше года. Больше года находились в горах и другие товарищи: Филемон Ривера, Модесто, Виктор Торадо, Вальдивиа, Рене Вивас, Родриго и Мануэль. И все же тогда мы считали, что это не метод

подготовки, что не так готовят настоящих мужчин… Мы старались показать, что держимся стойко. Во всяком случае, не наша вина, что нас сразу же не отправили в горы. Мы проявили в горах свою сознательность и политическую волю и научились совершать большие переходы с тяжелым грузом, хотя период адаптации оказался для нас крайне тяжелым.

Наконец наступил момент, когда Тельо понял, что с нами так поступать нельзя, что мы страшно рассержены, да к тому же мы вовсе не дети. Сложилась довольно сложная ситуация: мы привели уйму аргументов, засыпали Тельо вопросами и, хотя он снова пришел в ярость, продолжали настаивать на своем. И мне вдруг показалось, что Тельо заплакал. Он отошел в сторону, а вместе с ним отошел в сторону и Рене Вивас, согнувшись почти до земли под тяжестью мешка с кукурузой. Через некоторое время Тельо возвратился к нам и сказал довольно мягким и убедительным тоном, к которому он часто прибегал, когда ему это было нужно: «Товарищи, вы помните, как я рассказывал вам о человеке нового типа?» Мы застыли и приготовились внимательно слушать… «А знаете ли вы, где находится человек нового типа? Человек нового типа находится в будущем, потому что он будет сформирован в новом обществе, когда победит революция… — Внимательно посмотрев на нас, Тельо продолжал: — Нет, братцы, он там, на склоне горы, к вершине которой мы поднимаемся… Он там, отыщите его, достаньте его. Новый человек находится за пределами обычного человека. Новый человек там, где ноги перестают уставать, новый человек там, где дышится легко. Новый человек за пределами ощущения усталости, голода, одиночества. Новый человек — за пределами сверхусилий. Он там, где обычный человек в силах сделать гораздо больше, чем все другие. Так вот, если вы устали, если вы утомлены, тогда поднимитесь в горы и там встретите нового человека. Но характер человека нового типа закладываем мы здесь. Здесь, именно здесь, начинает формироваться новый человек, потому что фронт должен представлять собой организацию новых людей, а когда мы одержим победу, то сможем создать общество новых людей… Ну так вот, если вы не на словах, а на деле хотите стать людьми нового типа, стремитесь к этому идеалу».

Мы переглянулись… Так вот какой он, этот человек нового типа! Мелькнула мысль: «Чтобы стать новым человеком, мы должны преодолеть много трудностей, убить в себе человека старого образца, и только тогда в нас родится человек нового типа». И вспомнил я о Че Геваре, который говорил о человеке нового типа. Я понял наконец значение, которое придавал

человеку нового типа Че Гевара: человек нового типа отдает в жертву людям больше, чем обычный человек, но происходит это ценою собственных жертв, ценою преодоления своих пороков и изъянов. Мы смотрели друг на друга и были искренне убеждены, что Тельо прав. Как же здорово он нас поддел! Всем нам хотелось походить на Че Гевару, на Хулио Буитраго… Тогда мы взвалили на себя рюкзаки, уложили их поудобней на спине, поправили лямки на плечах и начали подниматься в горы. В течение первой половины дня из головы моей не выходила мысль о том, что на деле человек нового типа должен быть таким, как Че Гевара. Следующую часть пути мы уже не отдыхали. Человек всегда способен на большее, если только он не падает в обморок и не умирает. Пока человек стоит на ногах и не падает, он может сделать многое, и это относится ко всем видам человеческой деятельности и поведению человека во всех сферах общественной жизни.

Мы очень устали и тут вдруг услышали, как Тельо мягко сказал: «Давайте-ка передохнем теперь, человечки». Затем он обнял нас, и мы снова подружились с ним. Конечно, каждый из нас понимал, что перед ним стоит цель сделать нас стойкими, крепкими физически, укрепить нашу волю, силу и сознательность. В одном из разговоров он как-то сказал нам: «Меня эти проклятые гвардейцы могут убить». Прозвучало это как предвидение. «Меня они, конечно, могут убить, но мне не страшно, потому что, есть люди, обладающие достаточной выдержкой, чтобы поддерживать и развивать партизанскую войну». И вот наконец мы дошли до лагеря и сразу же почувствовали себя настоящими партизанами, и к нам с уважением стали относиться опытные партизаны. Нам казалось, что мы родились заново, что наше формирование началось именно там, что именно там и завершился период нашей адаптации, заключавшийся в том, чтобы приучить нас преодолевать трудности и укрепить нашу мораль. Припоминаю один смешной случай из этого труднейшего периода нашего первого столкновения с окружающей средой, этого трудного времени, которое мы пережили, оказавшись вовлеченными в партизанскую битву. Не знаю уж, что мы такого натворили, что мы сделали, но однажды Давид Бланко сказал Родриго: «И зачем шлют нам сюда этих вот никчемных, ни к чему не приспособленных студентиков? Так много прекрасных людей в университете, в городе, именно их и нужно было прислать сюда. Почему, интересно, не пришлют к нам таких студентов, как Омар Кабесас? Они бы здесь на большее сгодились, чем эти студентики-слабаки!» «Тише! — остановил его Родриго. — Вон тот худощавый

парень и есть Омар Кабесас».

Потом был период активных тренировок, и отношения наши с более опытными партизанами качественно изменились — они больше не относились к нам как к новичкам. Мы какое-то время оставались в горах Сьерра-Гачо — так называлось место в двух днях ходьбы до Сиуны. Мы теперь активно участвовали в жизни лагеря — готовили пищу, ходили в наряд по охране лагеря. Затем на меня возложили обязанность вести политическую работу среди партизан. Вот тогда я и организовал несколько кружков. Было решено посылать нас даже за пределы лагеря — остро вставал вопрос о координации действий с Модесто и с группами, также действовавшими в районе Исабельи. Модесто прибыл к нам из района, где находилась небольшая группа, во главе которой стоял Виктор Торадо Лопес. Модесто, по-видимому, уже разослал инструкцию, согласно которой несколько товарищей остались между горами Сьерра-Гачо и позицией Модесто для проведения в этом районе политической работы и создания прочной и разветвленной системы связи. Тогда и было принято решение искать себе союзников среди крестьян там, где это было возможно, и обеспечить надежную связь между отрядами в различных районах. Помню, когда мы проходили через Синику, Тельо остался там. Я же остался в Васлале, и для меня это был первый опыт самостоятельной работы. Насколько мне помнится, это было первое проявление доверия ко мне со стороны моих товарищей. В районе Васлалы размещалась штаб-квартира гвардейцев по ведению противоповстанческих действий, и именно здесь мне было поручено проводить среди жителей политическую работу. Опорным пунктом для меня должен был стать дом некоего Кинчо Баррильете, который состоял на службе у гвардейцев, но был нами завербован. Настоящее его имя — Аполонио Мартинес. Активным нашим помощником была и его жена Марта. Эта властолюбивая, умная женщина испытывала огромный интерес к борьбе за эмансипацию женщин, к партизанской борьбе за освобождение народа от диктатуры.

Устроился я не в доме Кинчо Баррильете, а прямо в горах, в шестистах метрах от его дома. Я должен был также создать в этом районе разветвленную сеть из крестьян, сочувствующих партизанам, и установить связь с Тельо, который находился в Синике, а также с товарищем Амадором. Поначалу я не знал, с чего начать работу, потому что опыта в подобного рода деятельности у меня не было. В свое время мне приходилось работать среди строительных рабочих в Леоне, среди медперсонала госпиталей, среди жителей городских кварталов, но работать с крестьянами — такого еще не было. Я плохо знал

обстановку и испытывал определенный страх, однако я был уверен, что могу кое-что сделать на этом поприще. И все же я чувствовал себя одиноким — каково человеку остаться одному в горах без радио, без часов, без книг и еды?! Нельзя приготовить себе пищу, нельзя развести огонь, потому что со стороны сразу кто-нибудь заметил бы дым.

С Аполонио я встречался по вечерам, учил его, как привлечь побольше людей на нашу сторону, в каких районах следовало бы усилить нашу пропагандистскую деятельность, давал ему инструкции по сбору информации, потому что в задачу, поставленную передо мной, входило изучение обстановки в казарме Васлала. Именно через Аполонио нам удалось получить необходимую информацию, которая помогла Родриго совершить нападение на казарму Васлала 6 января 1975 года. Каждый вечер я приходил в дом Аполонио, чтобы поговорить с ним. Тем для разговоров было много: кого будем вербовать на нашу сторону, как практически получить надежного союзника, который не подвел бы нас в решающий момент. Он встречал меня, когда уже наступал вечер, примерно в половине седьмого, приглашал пообедать вместе с ним. Мы беседовали, и уже в половине десятого вечера я уходил в свое убежище — крестьяне обычно рано ложатся спать после трудового дня. Целый день я проводил в раздумьях и размышлениях, разрабатывая планы. Спал я в гамаке. Если случайно под рукой оказывалась сигара, я выкуривал ее, прежде чем лечь спать; думал о любимой девушке, о товарищах, об университете, о Субтиаве, о делах Фронта в различных частях страны, о планах ведения партизанской войны.

С семьей Аполонио я очень сдружился. Когда крестьяне проникаются к тебе уважением, ты испытываешь прекрасное ощущение: они любят тебя не только разумом, но и всей душой. Так как они малообразованны и даже кажутся немного дикими, то любят тебя рассудком и чисто инстинктивно. Марта тоже очень полюбила меня, и я сам относился к ней с большой любовью.

Однажды мы с Мартой вышли за ранчо. Светила луна, мы смотрели на небо, усеянное звездами, а звезд было премного, и вот тогда мы стали с ней беседовать о том, что такое звезды, откуда они произошли. Я начал рассказывать ей о других галактиках, о том, что во Вселенной существует не только наше Солнце, но есть и другие звезды, гораздо большие, чем Солнце. Помню, у меня даже вырвалось: «А ты знаешь, есть люди, которые не верят, что Земля наша круглая и вертится». Крестьянка посмотрела на меня с недоверием и вдруг начала смеяться. «Ты чего смеешься? — спросил я. — Так оно и есть на самом деле: Земля круглая и вертится». «Послушай, — сказала она, —

перестань дразнить меня». Тут-то я понял, что Марта действительно не знает, что Земля круглая, что она вращается. Я попытался все ей объяснить, но, видимо, мои объяснения не были убедительны, поскольку у меня просто не хватало необходимых знаний.

Затем я возвратился к себе в убежище, где провел еще один день… Иногда я терял счет времени и чувствовал себя одичавшим. В таком состоянии провел я больше месяца. Помню, мне стали сниться эротические сны, я снова стал вспоминать о времени, проведенном с любимой девушкой…

Рассветало, наступал новый день. В течение месяца я старался вооружиться терпением. Слух мой обострился, потому что я не слышал ничего, кроме обычного для гор шума. Я мог различить звук упавшего с дерева плода, падающих на землю деревьев. Звук в горах имеет свои особенности: он один по характеру в самый момент его зарождения и совсем другой — когда начинает приближаться. Человек, который провел много времени в горах, обретает способность различать стук дятла, звук пробегающей белки, хлопки птичьих крыльев, шелест ветвей, колышущихся при прыжках белки, легко улавливает шум дождя вдали или отдаленный гром, шаги людей. Так вот, если вдруг слышишь посторонний звук и он кажется тебе чужеродным, то возникает тревога, мысль о том, что приближаются какие-то люди, и ты замираешь в ожидании. В твоем мозгу скапливаются звуки, начиная с самого слабого, самого неразличимого. То же самое происходит со зрением и обонянием.

12

Я старался не терять времени даром, когда оставался один: делал различные физические упражнения, по вечерам принимался писать отчеты, сочинял стихи, совершал прогулки, тренировал свое внимание. Дел было много, и все же у меня оставалась минутка подумать и о чем-нибудь другом.

Однажды рано утром появился один знакомый мне крестьянин по имени Маргарито в сопровождении какого-то человека, которого я, кажется, не знал. Они проходили мимо того места, где находился я. Оказалось, они шли к Тельо.

Незнакомец был высоким плотным парнем с большими глазами и короткими каштановыми волосами. Он не сел, а буквально плюхнулся возле моего гамака на землю, как мешок. Лицо его было покрыто грязью, в грязи была и винтовка. «Послушай, Омар Кабесас, — сказал он, — я знаю, что это ты, братишка». Он начал меня расспрашивать, поинтересовался, как обстоят дела, сколько у нас людей, каковы наши планы, есть ли партизанские лагеря, есть ли кухня, есть ли лекарства, чтобы лечить раны. На руке у бедняги была страшная рана, потому что он, когда падал на камень, выставил вперед руку, чтобы не разбить лицо. Рука теперь была перевязана грязным платком. Звали этого парня Касимиро, и я узнал его, потому что одно время мы вместе с ним учились в университете.

За пять с небольшим лет жизни подпольщика я вел занятия по военному делу, стараясь добросовестно обучать товарищей, тщательно готовя их и оставаясь при этом предельно внимательным, чтобы преодолеть те предрассудки, которые существовали в отношении студентов-новичков. Надеюсь, мне удалось сделать это.

В Васлале очень много москитов; они преследуют тебя днем и ночью, и порой просто невозможно заснуть, потому что они забираются под одеяло. Мне приходилось разводить костер прямо под гамаком, чтобы было побольше дыма. Неприятно лежать в гамаке и слышать бесконечное жужжание над ухом. От этого маленького насекомого просто некуда деться: оно проникает через дырки в гамаке или через одеяло и больно кусает. Ты не можешь заснуть; от бессонницы все лицо покрывается морщинами. Чешешься целый день, и часто гримаса боли искажает лицо. Насекомые облепляют твое тело, ты морщишь лицо, бьешь по нему руками. А по мере того как проходят дни, недели, месяцы, годы, лицо становится морщинистым, мускулы сжимаются, кожа дубеет. Другим становится выражение лица.

Претерпевает изменения даже взгляд. Если сказать честно, почти никаких приятных ощущений не испытываешь, находясь в горах. Изредка удавалось съесть что-либо вкусное. Иногда приходил кто-нибудь из товарищей, только так можно было узнать интересную новость. А песня «Наши звуки каждого дня» в исполнении Карлоса Мехиа Годоя служила нам постоянной поддержкой и помогала в нашей нелегкой жизни.

Касимиро ушел от меня к Тельо. А на другой день на рассвете (было это в ноябре) ко мне прибыл крестьянин. Модесто приказал ему привести меня, чтобы переговорить. Я не был знаком с этим крестьянином. Я полагал, что после встречи с Модесто сразу же вернусь обратно. Так вот, вместе с крестьянином мы пришли в лагерь, а там уже находились все те, кого я знал по совместной работе в городе; кроме того, были там также новички, незнакомые мне крестьяне, сочувствующие нам. Всего собралось человек тридцать или сорок. Когда я пришел в лагерь Модесто, партизаны завтракали, только что закончив тренировку, которую проводил Родриго. Занятия у них начинались примерно в четыре утра и заканчивались к рассвету. Сразу же после тренировки — время на личную гигиену: все купаются, чистят зубы, умываются. Потом завтрак, состоящий из горстки вареной кукурузы.

Помню, когда крестьянин привел меня в лагерь, Модесто сидел на земле и ел из котелка. После взаимных приветствий он предложил: «А теперь давай поговорим». Я сходил за котелком с едой и сел рядом с Модесто. Вообще-то Модесто служил для нас примером, но тоже с предубеждением относился к студентам. Я это сразу же понял, стоило ему только начать разговор.

Но теперь меня беспокоило другое. Когда я находился в Васлале, дней за пятнадцать до того, как мы пришли в лагерь к Модесто, я заметил у себя на икре правой ноги белую точку, а на икре левой ноги — другую. «Видимо, от укуса москитов», — подумал я тогда. Места укусов страшно болели, и приходилось протирать их спиртом, если его удавалось достать. Вскоре на икрах обеих ног появилось множество таких белых точек, а вокруг них образовались небольшие ярко-красные пятна. Постепенно пятна стали увеличиваться. Потом появилась острая боль и стал выделяться гной. Тогда я подумал, что, как только попаду к Модесто в лагерь, попрошу сделать мне укол, чтобы облегчить страдания.

Я показал ноги Флавио, врачу партизанского отряда. «В рану попала инфекция», — заявил он. Мне сделали несколько инъекций антибиотиков, но это не помогло. Снова обратился к врачу: «Флавио, я чувствую отвратительный запах, как будто что-то гниет». Флавио наклонился к ране: «Да, братишка, дурно

пахнет. Я введу тебе лекарство…» После этого укола я четыре дня не мог встать. А потом началось активное лечение. Это было просто ужасно — врач пинцетом вводил в образовавшиеся раны тампон с лекарством… и дальше вглубь… и еще один кусочек ваты… От страшной боли я сжимал кулаки и стискивал зубы, отдергивал ногу, и тогда Флавио садился мне прямо на ногу и прижимал ее. Ходить я не мог и все время лежал или сидел. Рана не заживала, и мне снова и снова вводили лекарство, но улучшения не было. Флавио начал беспокоиться, потому что и у некоторых моих товарищей начали появляться такие же точки и пятна. Правда, у них они были пока маленькие, а у меня очень большие. Флавио был очень беспокоен. Ведь я находился в таком состоянии уже целый месяц, весь был напичкан антибиотиками, но болезнь не отступала. Мне казалось, что в моей голове, груди, ногах страшная боль, которую трудно описать. Бедный, растерянный Флавио проводил около моей постели много времени, не понимая, что же происходит. Наконец как-то вечером он воскликнул: «Это лейшманиоз! Лейшманиоз! Это то, что называют горной проказой». Я вспомнил, что как-то во время учебы в университете, еще до того, как ушел в горы, перелистывая книгу по тропической медицине, прочел там, что эту болезнь лечат реподралом. «Пожалуйста, пошли за реподралом», — попросил я Флавио. «А ты знаешь, что это невозможно? Как же люди проберутся в город? Как пройдут мимо засад гвардейцев?» Так в мучениях прошло пять месяцев. Я сам накладывал и менял себе повязки, иногда даже вставал. Состояние мое оставалось все еще тяжелым. А потом… потом наступило рождество, рождество 1974 года.

Не скажу, что справлять рождество в горах — хорошее дело. В течение нескольких лет я встречал рождество в разных местах, в разных лагерях, в разных районах. Встречи и знакомства с новыми товарищами по партизанской борьбе укрепляли наши ряды.

Новый год и рождество — это два традиционных праздника, и крестьяне чаще празднуют Новый год, чем рождество. В горах рождество — это обычный, ничем не примечательный день, и проходит он почти незаметно — нет ни угощений, ни игрушек, ни шуток, да и праздника, как такового, тоже нет. Совсем иное — Новый год.

Первым рождеством, которое я отпраздновал в горах, было рождество 1974 года. Накануне Рене Вивас, Аурелио Карраско, Нельсон Суарес и другие товарищи отправились на какую-то операцию. Родриго тоже куда-то ушел, не сказав никому ни слова. Затем мы услышали отдаленную перестрелку. «Это же

Родриго!» — говорили мы друг другу и с нетерпением ждали его возвращения в лагерь.

Потом мы снова заговорили о рождестве, о подарках.

Я вспомнил, как праздновали рождество в Леоне — украшали собор, выставляли кукол, развешивали лампочки. На углу улиц Сестео, идущей в сторону университета, и Чунчунте, у самого въезда в город Леон, стоял дом, в котором жил старик по имени Тапонсито. На рождество он всегда вывешивал разноцветные лампочки. Я прекрасно помнил это. И вот теперь мы лежали в гамаках, слушали музыку, песни и сами начинали подпевать. Спать никому не хотелось. Так мы и отпраздновали рождество. А вскоре появился и Родриго. Не помню, было это утром или вечером, но мы были счастливы, хотя и находились в ужасном состоянии. Нам казалось, что с возвращением Родриго все будет иначе.

Вот наконец он появился и принес несколько индюшек. Все наши товарищи, которые уходили на операцию, обещали принести нам что-нибудь вкусное. Помнится, когда вернулся Рене Вивас, мы спросили его: «Послушай, ты был в городе. Видел ли ты там электрический свет, людей, машины?» Мы давно уже не видели ничего подобного. Родриго сказал: «Давайте-ка как следует отпразднуем рождество, потому что мы принесли масло, томатный соус, английскую приправу…» Этот груз они почти три недели носили в рюкзаках, чтобы доставить его в лагерь к рождеству.

Помню, Родриго появился вечером, весь промокший до нитки. Мы поняли, что это он, услышав, как его окликнул часовой. Сначала мы увидели коренастого Эвелио с рюкзаком за плечами. Следом за ним, держа котелок, шел Родриго, как всегда веселый и жизнерадостный. На губах его сияла довольная улыбка. Он шел радостный — операция с банком «Абиссиния» прошла успешно, он спешил отпраздновать вместе с нами рождество, потому что ему наверняка нас очень не хватало.

Пока мы беседовали, Родриго занялся приготовлением пищи. Со стороны кухни до нас доносился вкусный, соблазнительный запах жареной индейки, сдобренной приправой. Мы принюхались… Каперсы, томатный соус, английская приправа, горчица… Это было нечто фантастическое!

Невозможно передать, какой запах исходил от индейки, когда блюдо было готово. Времени мы уже не замечали. Друзья принесли нам по две сигары на каждого. Сигары, конфеты, индейка — это был настоящий праздник.

Наконец прозвучали долгожданные слова: «Еда, товарищи!» Все стали выстраиваться в очередь за едой. Запах был такой

вкусный… Помню, я сунул палец в миску, нащупал что-то вроде маслины, взял в рот и тут же раскусил. Сразу вспомнилось: бывало, в городе ешь маслины и наслаждаешься, закроешь глаза и пытаешься представить себе что-то приятное, чтобы испытать истинное наслаждение.

Но… произошло нечто ужасное. Ох и здорово же досталось тогда повару! Он пересолил индейку, и ее нельзя было есть. У всех сразу же испортилось настроение.

До победы революции, помнится, праздновал я как-то рождество в доме одного подпольщика в Тегусигальпе, в Гондурасе. Я вел тогда там работу. Я руководил деятельностью подпольщиков вместе с товарищем Рафаэлем Майреной. Устроили мы вечер, на который пришли несколько парней и девушек. Мы поужинали, потанцевали и стали вспоминать своих товарищей. И, вот теперь, празднуя рождество в горах, я вспомнил, что некоторые праздники мы отмечали даже во время похода. Ты идешь, идешь, и тебе не до праздника, и только когда присядешь отдохнуть, начинаешь беседовать с товарищем, который сидит рядом с тобой, и вспоминаешь: а ведь сегодня праздник! «Дружище, послушай, ведь черт знает, как устроен этот мир!.. Пока мы здесь мучаемся, там люди пьют гуаро, развлекаются…» Такое ужасно разлагает, если у тебя нет твердой убежденности и твердых принципов и ты часто падаешь духом. Праздники эти традиционны, они глубокими корнями уходят в народные обычаи… В походе тебе вспоминается, что есть на свете города, что по улицам мчатся автомобили… А иногда я нарочно старался отвлечься… Мне нравилось идти и думать, не замечая, как внезапно все тело наливается усталостью, а ноги начинают гудеть. Я шел и думал, что каждый мой шаг — это разбитая лампочка с рождественской елки в доме богатеев. Лампочка, еще одна лампочка, еще одна… пока не раздавил все лампочки с воображаемой рождественской елки…

В первые годы любопытства ради мы наблюдали за крестьянами. Было интересно посмотреть, как они украшали свои ранчо на праздники. А в городе все было по-другому: лампы, рекламы, подарки, открытки. В последние дни декабря люди ходят веселые, нарядные. Даже бедные дома и кварталы и те выглядят иначе. Люди делают различные покупки, покупают всякие мелочи и безделушки. Даже если у тебя нет денег, для детей все равно устраивается праздник рождества. Нельзя, чтобы у ребенка не было на рождество новой игрушки. Рождество празднуют даже наибеднейшие люди.

13

Через несколько дней после рождества произошло одно весьма приятное для меня событие. Поскольку я еще был болен и передвигался с трудом, мне поручили слушать по радио новости, а по вечерам сообщать о том, что услышал, всем партизанам, чтобы держать их в курсе событий. Кроме того, мне поручалось также делать небольшой обзор поступивших новостей и отбирать те, которые казались мне особенно важными. Каждый из нас старался вносить свою лепту в общее дело, был постоянно в работе, и я был доволен, потому что знал — моя работа очень полезная и нужная.

Однажды я услышал какое-то странное сообщение: якобы шоссе, ведущее в Масаю, перекрыто гвардейцами. Это показалось мне весьма серьезным, я и отправился к Модесто, который находился в это время на кухне. «Послушай, — сказал я ему, — говорят, что в Манагуа что-то происходит: по радио сообщают, что шоссе на Масаю перекрыто гвардейцами». Из дальнейших сообщений стало ясно, что какой-то группой совершено нападение в городе на демонстрацию, устроенную в честь праздника, с целью захвата заложников… Мы очень внимательно слушали новости, передаваемые по радио. Вдруг через некоторое время сообщили, что радиопередачи прерываются. Беспокойство охватило всех нас… Боже мой… только бы все обошлось хорошо! Через некоторое время из штаб-квартиры национальной гвардии сообщили, что захвачен дом некоего Чемы Кастильо, что в доме остался Карлос Агеро, один из наших товарищей… Но Карлос Агеро, наш Родриго, симпатичный голубоглазый парень высокого роста, находился среди нас. Сейчас он, тихо посмеиваясь, вместе с Рене Вивасом слушал новости. Целый день мы гадали, что же все-таки произошло в Манагуа, а так как я отвечал за сбор новостей, то не отходил от радиоприемника, стремясь узнать все подробности. Бойцы, приходившие с дежурства, спрашивали, что произошло, просили рассказать обо всем подробно.

Дня через четыре я заметил, что в палатке Родриго и Модесто собираются товарищи. А вскоре Родриго ушел на операцию, и вместе с ним отправились еще пять человек… Через шесть дней в лагерь пришел крестьянин и сообщил: «Говорят, они напали на казарму Васлала и была при этом сильная перестрелка… убито много гвардейцев». По предварительным подсчетам, гвардейцы потеряли убитыми одиннадцать человек. Гвардейцам и в голову не приходило, что партизаны могут напасть на их казарму, и вдруг… Когда началась перестрелка, перепуганные гвардейцы

просто с ума посходили, перестреляли друг друга, а партизаны отступили. Партизанская война начинала обретать новый размах, но наше радостное настроение было омрачено гибелью Тельо.

Через три дня после возвращения Родриго в лагерь поступило сообщение, что патруль, преследуя группу, напавшую на казарму Васлала, в районе Синики встретил ожесточенное сопротивление со стороны вооруженного человека. Как было установлено, этим человеком был Рене Техада Перальта, наш Тельо. Он находился в одном из домов с другим товарищем. Внезапно загрохотали выстрелы… Случилось это часов в шесть вечера. Было очень темно, и Тельо, решив, видимо, что ему удастся уйти незамеченным, вышел из дома. Пуля гвардейца сразила его. Узнав, что Тельо убили, я сначала страшно испугался. Меня охватил страх. Ведь Тельо всегда служил для меня примером, и у него я многому научился — падать ничком на землю, стрелять из положения лежа, если появятся гвардейцы. Это благодаря ему я знал теперь, как вести себя в бою, что делать во время отступления, как командовать людьми в бою против гвардейцев… И вдруг такой человек погиб! К этому времени я чувствовал себя мало-мальски опытным партизаном, более сильным, способным и опытным, чем обычные студенты, чем просто политический руководитель студентов в университете; я чувствовал себя настоящим партизаном, мог совершать переходы с тяжелым грузом за плечами, неплохо владел огнестрельным оружием… И вдруг Тельо погиб! Тогда к чему все то, чему он нас обучал? Погиб не просто наш старший и опытный товарищ, погиб наш учитель. Нам вдруг показалось, что мы бессильны, слабы, что победить нас — дело несложное, тогда как гвардейцы, напротив, сильны и непобедимы, а та партизанская война, которую мы ведем, всего-навсего забава для младенцев. Вот какое ощущение испытывали мы в тот момент.

Помню, в тот вечер над нашим партизанским лагерем пролетел вертолет. Чтобы нас не заметили с воздуха, мы быстро затушили костер и приготовились к обороне на случай появления гвардейцев. Усилили посты, приготовили рюкзаки. Но ничего не произошло. «Если только эти сволочи появятся, мы им покажем райскую жизнь», — говорили мы, глядя вслед улетавшему вертолету. Я не мог примириться со смертью Тельо, не мог простить ему, что его убили так просто. В тот вечер я лежал в гамаке и размышлял над всем этим, думал о Леоне, об университете и о том, что партизанская война — это тяжелый труд. При этом я не связывал свои переживания с гибелью Тельо. Студенты в городе устраивали демонстрации и забрасывали полицейских камнями, но какое представление могли иметь

студенты о настоящем бое? Что знали они о жестокости гвардейцев?

Горы тоже были охвачены страхом. Ветер успокоился, листва на деревьях перестала шелестеть, и наступила тишина, поразительная, давящая тишина. Птицы прекратили петь, словно чего-то испугавшись… Все затаилось в ожидании чего-то страшного. Я не мог объяснить, что произошло. Партизаны о чем-то переговаривались между собой. Может быть, товарищи, прошедшие вместе со мной тренировку, чего-то испугались? Некоторые из партизан странно спокойно отнеслись к гибели Тельо. Многие недоумевали, почему же сам он не поступил в нужную минуту так, как учил нас. Они как бы порицали его за это…

Затих шум в ущелье, не прекращавшийся раньше ни днем ни ночью. Как бы притаился, слился с неподвижно стоявшими деревьями. Замерли партизаны, не слышно было ни смеха, ни разговора товарищей, готовивших еду на кухне и моловших кукурузу. Мне казалось невероятным, что Тельо не стало… Ну так что же, может быть, все-таки стрелять в положении с колена и не было таким уж нужным делом? Теперь нам начинало казаться, что все это было просто теорией, а гвардейцы силой и мощью своего оружия сводили все на нет. А ценил ли он сам эти знания и опыт, который передавал нам? Гвардейцы взяли над ним верх, хотя, быть может, не знали всего того, что знал Тельо. Что же, они, выходит, в тысячу раз сильнее нас, насмехаются над нами или не обращают на нас никакого внимания, и, хотя ты уже стал опытным партизаном, они тебя рано или поздно убьют? Так что же, выходит, твои знания ни к черту не годятся? Если для борьбы с гвардейцами твоих знаний недостаточно, так что же нужно сделать, чтобы покончить с ними, ликвидировать национальную гвардию? Как же мы сможем покончить с диктатурой Сомосы, если гвардейцы не боятся нас, если им наплевать, умеем ли мы стрелять или вообще сражаться?.. Гибель Тельо настолько удручающе подействовала на нас, что многие даже усомнились в том, что его методы борьбы годятся для борьбы с гвардейцами. Теперь нам казалось, что в случае, если действия гвардейцев нейтрализовать не удастся, нас всех они просто перебьют. Я вспомнил, что Тельо постоянно восхищался Че Геварой и Карлосом Фонсекой. Меня мучил вопрос, жив ли Карлос Фонсека сейчас, не погиб ли он от рук гвардейцев? Приходила даже мысль о том, что партизанская война с таким могущественным противником бессмысленна… Если бы Че Гевара остался в живых! Ведь тех, кто убил его, тренировали рейнджеры, которые готовили и тех, кто убил Тельо. Сомнения терзали меня. Не были

ли наивным донкихотством действия Че Гевары, Тельо, наши собственные действия? Может быть, студенческое движение — это обычное стихийное движение, которое ни к чему не приведет? Не была ли простым исключением из правил революция на Кубе, которую возглавили такие выдающиеся личности, как Фидель и Рауль Кастро, Камило Сьенфуэгос? Может, там удалось добиться победы потому, что враг просто не был подготовлен, а империализм еще не обнажил свои когти?

Постепенно пессимистические мысли исчезают из головы, притупляется чувство горечи, и ты начинаешь более здраво и спокойно рассуждать. Тебя успокаивает сознание того, что СФНО вдохнул в нас веру в нашу историческую миссию, в необходимость проявлять героическое упорство; и тут мозг твой начинает лихорадочно работать. Ты понимаешь, что в этой борьбе погибнет много твоих товарищей, может быть, и ты сам сложишь голову, но продолжать борьбу необходимо, потому что только так можно покончить с диктатурой тирана. Быть партизаном значит стоять на определенной моральной позиции. Если же придется умереть, то смерть твоя будет своего рода протестом против произвола сомосовцев. Таким протестом была и смерть Тельо, и мы были готовы на такой же протест. Мы были обязаны именно теперь забыть о своих мечтах, надеждах, иллюзиях и преодолеть трудности, с которыми мы сталкивались в горах, и всевозможные препятствия. Нам было важно воспитать в себе стойкий характер, преодолеть сомнения в наших собственных военных способностях, тщательно скрывать свои опасения относительно наших реальных возможностей одолеть противника; и в то же самое время нужно было мобилизовать все свои силы, чтобы смело идти на врага. Каждый из нас испытывал настоящие муки совести оттого, что поддался минутной слабости, на какое-то время разуверился в своих силах, в силах своих соратников по борьбе. В глубине нашей души родилась решимость не отступить ни на шаг, не пойти на сделку с совестью, даже если придется умереть.

На следующий день я проснулся с огромным желанием сражаться, готовый умереть, если смерть наша послужит открытым вызовом врагу. Иными словами, проснулся я с искренним желанием жить и умереть во имя жизни.

Дня через три после смерти Тельо мы пришли к выводу, что гвардейцы обязательно отправятся на поиски нашего лагеря. И тогда мы решили сменить место расположения. Направились вверх по ущелью. Питались коровьим мясом. Каким же вкусным казалось оно! Затем нас нашел один из сочувствующих нам и предупредил: «Товарищи, в вашу сторону направляются

гвардейцы, и ведет их парень из соседней деревни, которого гвардейцы заставили указать дорогу к вашему лагерю». И тогда был отдан приказ быть готовыми встретить врага и дать ему достойный отпор. Я с трудом натянул сапоги на свои забинтованные ноги. Все мы испытывали страстное желание поскорее пойти в бой и были готовы погибнуть в схватке с гвардейцами… Мы начали подниматься вверх по ущелью. Оно было шириной примерно пятнадцать метров, все заполнено камнями и тянулось извилистой лентой по каменистым горам. Вокруг стояла тишина. Мы притаились и три дня ждали, когда приблизятся гвардейцы. Однако гвардейцев не было, но и нам оставаться в ущелье не имело смысла. Построившись в колонну, мы начали подъем в горы. Мы с Родриго двигались во главе передового охранения, Модесто с основными силами — в центре колонны, а Аурелио Каррaско — во главе тылового охранения. В реке, которую нам пришлось переходить, было множество камней, но вода была кристально чистой, и все камни хорошо просматривались. Мы старались осторожно ступать по камням, но срывались и падали в воду. Повязки на моих ранах намокли, и это вызывало страшную боль в еще незаживших язвах. Но именно в эту минуту мне меньше всего хотелось умирать. Достаточно того, что погиб Тельо, и никто не знал, кто же будет следующим. Винтовка моя была заряжена, и, по мере того как поднимались в горы, возникало страстное желание поскорее вступить в схватку с гвардейцами, чтобы разом покончить с ними, со всей этой заразой, с голодом, со всем тем, что оставил нам в наследство диктаторский режим. И я ощутил неистовую ярость, которая миллионами маленьких атомных взрывов кипела во всех порах. Огрубевшие пальцы сжимали автомат, и я с нетерпением ожидал появления гвардейцев. Не хотелось умирать, ничего не совершив в жизни, не выполнив самого главного — не защитив завоевания революции.

Мы шли дальше и вскоре оказались на совершенно открытом участке. И тогда я сказал Модесто: «Послушай, если я погибну, скажи моему сыну или моей дочери, я не знаю еще, кто родился, что их отец был революционером, что он выполнил свой долг. И пусть сын или дочь всю жизнь гордится отцом». «Я расскажу им об этом! — пообещал Модесто. — Обязательно расскажу!»

Наконец мы вышли из ущелья. В ногах я ощущал страшную боль, которая усиливалась от ударов о камни. И как же я жалел, что мы, выйдя из ущелья, не обнаружили гвардейцев! Внутри у нас все кипело, мы хотели поскорее вступить с ними в бой, чтобы отомстить им за смерть Тельо и других товарищей. В то же время мы очень обрадовались, потому что нас ждал отдых, и больше

всех радовался этому я, потому что у меня страшно болели ноги. Ощущение грусти не покидало нас: мы лишились возможности еще раз попробовать отомстить за смерть Тельо, показать себя на деле. Мы были готовы умереть под пулями гвардейцев, как погибали партизаны в Латинской Америке, в ущельях, на полях сражений. Но гвардейцев нигде не было: они либо искали нас в другом месте, либо просто сбились со следа. Ущелье мы прошли беспрепятственно, и вот наконец наступил долгожданный отдых; помню, как мой товарищ, с которым мы жили в одной палатке, помог мне развесить гамак. В нашей колонне было много людей, поэтому мы, чтобы не оставлять следов, спали по двое под каждым навесом. Припоминаю, что тот же товарищ помог мне развесить сушиться одежду, хотя такого приказа не поступало, потому что мы постоянно находились в состоянии боевой готовности.

14

На следующий день мы направились к вершине горы. Шли по самому гребню, поднимаясь все выше и выше, по остроконечным выступам и очень долго, потому что, как мы сами говорили, шли заметая следы, ведь гвардейцы ждали нас и, вероятно, были уверены, что мы передвигаемся по каменистым складкам в горах, а это было очень трудным делом, потому что в пути мы постоянно натыкались на ямы, лианы, огромные стволы упавших деревьев, а если соскользнешь со ствола дерева, то на него очень трудно снова влезть, потому что мешали тяжелый рюкзак и винтовка. Все это страшно раздражало, потому что мы, скользя, оступаясь и падая, невольно оставляли следы, которые нужно было заметать.

На этой части хребта было особенно прохладно. Мы разбили лагерь в труднопроходимой местности: тут было много травы, кустарников, деревьев, лиан… Расположившись на этом склоне, мы сразу поняли, что даже повесить гамак будет очень трудно. Чтобы перейти от одного навеса к другому, где находились товарищи, передвигаться приходилось с особой осторожностью. Навесы были длиной метров пятнадцать — двадцать, но сколько их было, точно не помню. Мы решили остановиться там на несколько дней. Когда мы в спешке покидали старый лагерь, взяли мясо, а каждый из нас сунул себе в рюкзак молоко в порошке и маленький кусочек мяса. Остановившись на привал, мы решили первым делом употребить в пищу мясо, потому что оно могло испортиться. Мясо мы ели почти сырым — клали его на дощечку, солили, слегка обжаривали. За водой нам приходилось ходить поздно вечером за целый километр вниз по оврагу; носили мы воду в чугунках и, когда возвращались, несли чугунки на плечах, осторожно ступая и рискуя свалиться в пропасть; мы были похожи на циркачей-эквилибристов в своем старании не пролить воду.

Мясо мы промывали в чанах, кипятили эту воду и пили как бульон. Он казался нам очень вкусным, потому что был горячим, а холода стояли ужасные. Мы не могли все вместе собираться у костра и, лежа в гамаке, если не наступала наша очередь дежурить по кухне, из-под навеса наблюдали, как готовят на костре пищу. Через некоторое время от костра доносился громкий голос: «Товарищи, обедать!» Услышав это, мы спускались вниз за едой. Находясь на гребне горы, мы, конечно, испытывали сильный голод… Через несколько дней мясо начало портиться. Теперь голод ощущался сильнее. Мы были похожи на голодных зверей, и даже испорченное мясо казалось нам очень вкусным. Когда оно

кончилось, мы стали пить порошковое молоко. Сначала нам доставалось по три маленьких ложечки, и мы глотали сухой порошок, потому что днем не могли спускаться за водой, боясь привлечь внимание гвардейцев шумом… Так вот, подходишь за молоком со своим котелком, который с боков весь помят, берешь три ложечки из чугунка и идешь под навес. Это был своего рода ритуал… Приходишь к себе под навес и садишься есть свою порцию молока; для нас это было своего рода развлечением. Мы брали ложку и опускали ее в котелок, чтобы захватить хоть немного молока, а потом начинали медленно есть порошковое молоко, а так как его было всего три ложки, то ощущение голода не проходило. Три ложки на завтрак, три на обед, и все это в условиях ужасно холодной погоды; нам было запрещено вытаскивать покрывала и накрываться ими, чтобы в случае неожиданной стычки с гвардейцами не потерять их. Стоял невыносимый холод, и я вспоминал те мексиканские фильмы про индейцев, которые видел. Выглядели индейцы всегда печальными, закутаны они были в пончо, и лица их казались отрешенными… За ужином нас ждали те же три ложечки молока, на следующий день две ложечки, затем одна…

Прошло несколько дней, голодных и холодных. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что Модесто внимательно читает «Политическую экономию» Эрнесто Манделя! Если у кого из нас и была какая-нибудь потрепанная книжонка в рюкзаке, нам и в голову не приходило вытащить ее, чтобы почитать. Нам казалось, что в подобной ситуации заниматься такими глупостями нет смысла. Но Модесто был другим — он все свое свободное время старался учиться и много читал. Иногда мы собирались под навесом у Родриго, который был замечательным рассказчиком, и с интересом слушали его. С Модесто мы беседовали реже, потому что с ним труднее было разговаривать, слишком сложной была его речь, хотя говорил он правильные вещи. С Родриго мы прекрасно понимали друг друга. Мне казалось, что он был гораздо умнее нас, потому что легко ладил с Модесто и объяснял нам, что хотел сказать Модесто. Когда по вечерам мы собирались у Родриго, мы забывали о том, что нам грозит опасность. Мы вели разговоры о Вьетнаме, о международной политике, а иногда шутили и рассказывали друг другу забавные истории. Родриго всегда обучал нас каким-нибудь тонкостям партизанской жизни.

После недолгого отдыха мы снова отправились в путь и, как помнится, шли несколько недель, взяв курс на Йоаоску, Кускавас, Эль-Чили, двигаясь со стороны Лас-Байаса и Васлалы. Как-то в походе Модесто сказал, что меня скоро отправят в город лечить

лейшманиоз, а также проконсультироваться по поводу хронического аппендицита, постоянно беспокоящего меня, а до тех пор будут продолжать делать уколы. Об этом у меня сохранились смутные воспоминания, в памяти осталось только то, что уколы эти были очень болезненными, хотя у доктора Флавио была, как говорится, легкая рука и поначалу я не чувствовал боли. С каждым разом (а уколы делали мне трижды в день) я все хуже и хуже переносил эту пытку. К боли примешивалось чувство голода. Я сразу же вспоминал о гибели Тельо, и это только усугубляло мои страдания. Я не видел ничего перед собой, кроме куска белой ваты, смоченной спиртом. Потом я почему-то сравнивал себя с коровами своего дядюшки Виктора, которым он делал уколы. Было это в те времена, когда я проводил каникулы у него на ранчо. Пока животные паслись, дядя подкрадывался к ним и резким движением втыкал иглу шприца… Я ненавидел доктора, но старался выполнять его требования: расслаблял мышцы, чтобы не ощущать боли, но, когда он всаживал в меня иглу, сжимал ягодицы. В тот момент когда он делал мне укол, я действительно ощущал себя коровой дядюшки Виктора. И брыкался так же, как это делает корова…

Наконец мы дошли до места, где нам предстояло расположиться лагерем. Это был горный район на западе Никарагуа. Здесь меня ждала большая радость — я встретился с Эль-Гато Мунгией. Нас было пятеро друзей — Леонель, Хуан Хосе, Эль-Гато, Камило Ортега и я. В горах я надеялся встретить и Камило. Мне казалось, что вместе, впятером, мы будем непобедимы. Когда мне передали, что Эль-Гато тоже здесь, в лагере, радости моей не было предела. Каким же он стал теперь? Я знал, что он получил хорошую военную подготовку — какое-то время Эль-Гато находился на Кубе; а уж если Эль-Гато побывал на Кубе, да к тому же в свое время он был студенческим лидером и вот уже два года находится в горах, то он наверняка уже назначен руководителем.

Я долго не виделся с Эль-Гато, но хорошо помнил его. Я наизусть мог перечислить все рубашки и брюки, которые он носил, помнил его вкусы и привычки, черты его лица и даже мимику. Я помнил его глаза, я помнил все, о чем говорил мне Эль-Гато… В лагерь мы пришли уже к вечеру. В темноте я разглядел нескольких партизан и спросил, где Вентура (так называли его в лагере). Мне ответили, что он спит, и показали, где его найти. Спал он в гамаке. Подходил я к нему очень медленно, чтобы не разбудить, хотя мне все равно нужно было разбудить его. И вот подошел я к гамаку, в котором спал Эль-Гато. Гамак его почти касался земли. Навеса над ним не было,

потому что стояло лето; светила луна, и ее лучи проникали сквозь листву деревьев. Я нервничал, не зная, обрадуется ли Эль-Гато, увидев меня, будет ли он чувствовать то же самое, что чувствовал я сам. Постояв некоторое время около спящего друга, я тронул его за плечо и позвал: «Вентура… Вентура… Вентура… Это я, Тощий». Эль-Гато очнулся от сна, резко приподнялся и так и остался сидеть в гамаке, еще не совсем проснувшись. Наверное, услышав слово «Тощий», он решил, что все это ему просто снится. Я бросился к нему, мы вместе с ним упали с гамака на землю. «Как дела?» — спросил он и поудобнее уселся в гамаке, ожидая от меня рассказа о том, что произошло после того, как мы расстались. Я сел перед ним. Нам было что вспомнить, но мы не знали, с чего начать. Эль-Гато отрастил бороду, как и я, но моя была намного меньше, чем у него. Борода у Эль-Гато была окладистая, рыжая, и потому рот казался очень маленьким; а глаза у него были зеленые, и он спросил у меня: «А как Клаудия?» Я ответил: «Не знаю, но говорят, что у меня мальчик, а как у тебя дела? Как поживает Сузи?» «Между нами уже ничего нет. Дело все в том, что она там, а я здесь». «Но ты же носишь обручальное кольцо», — сказал я, вспомнив, что именно Сузи подарила ему это кольцо. «Да, это верно, — ответил он, — но все дело в том, что она там и, кажется, у нее есть то ли жених, то ли муж, точно не знаю…» «Тогда почему ты носишь кольцо?» — удивился я. «Дело в том, что оно не снимается», — ответил он, и мы рассмеялись. Потом некоторое время мы сидели молча и вдруг снова рассмеялись и стали болтать о всяких мелочах, перебивая друг друга, хотя нам очень хотелось отдохнуть, тем более что близился рассвет. На следующий день мы встали раньше всех, так как хотелось говорить, говорить, говорить… Мы встретились снова, и я стал рассказывать Эль-Гато, что произошло со мной. Потом он сказал: «Мне говорили, что у тебя первое время были трудности». «Да, поначалу мне было очень трудно», — ответил я, а он стал рассказывать мне, что и ему тоже было трудно в первое время. «Мне кажется, — сказал он мне, — тебя пошлют в город». «Кого?» — переспросил я. «Тебя. Думаю, что в городе ты принесешь больше пользы, чем здесь», — сказал он. «Нет, что ты, я уже в прекрасной форме!» — возразил я. «Да, но речь идет теперь не о форме, а о том, где бы мы могли принести больше пользы с точки зрения военно-политической. Думаю, ты нужнее в городе, и это прекрасно, что принято такое решение. Сейчас речь идет о том, что каждый из нас должен находиться там, где он нужнее».

И действительно, днем меня пригласили на совещание, на котором присутствовали Модесто, Родриго и Эль-Гато. Родриго

сообщил мне о принятом руководством решении направить меня в город, и я терялся в догадках, почему меня направляют: из-за болезни или это кадровая политика. Родриго сказал: «Мы долго присматривались к тебе, наблюдали за тобой. Ты быстро адаптируешься в любых условиях, прошел хорошую подготовку в горах. Горы — прекрасная школа, где мы готовим партизан и бойцов, которые помогают организовывать работу в городе». Родриго еще долго говорил о разных вещах, в заключение сказал: «Теперь ты совсем не тот человек, который когда-то пришел в горы, а значит, и в город ты придешь не таким, как уходил. Товарищи знают, как тебя использовать». В голове у меня пронеслись разные мысли, и я подумал: «Ну хорошо, направляют меня в город, а куда? В Леон? Ладно, пусть в Леон, но ведь в Леоне меня все знают в лицо, там я не мог бы пройти незамеченным и квартала, полицейские сразу узнали бы меня». Но отказываться я и не думал, потому что готов был выполнять любую работу или здесь, в горах, или в любом другом месте…

Так или иначе, решение отправить меня в город было принято. К слову сказать, я привык к обстановке, в которой находился, полюбил людей, поверил в свои силы, многому научился в горах. Внутренний голос говорил мне: «Как же ты бросишь товарищей, оставишь их здесь в грязи и трясине, оставишь в одиночестве?» Но решение принято, и приказ есть приказ. Было это в апреле 1975 года.

15

В город я отправился вместе с Хуаном де Дьос Муньосом и Хосе Вальдивиа. Шли мы несколько дней, пока не приблизились к небольшому ранчо. Хуана де Дьос Муньоса я знал раньше: в лагере он был вместе с Эль-Гато, а еще раньше, в 1974 году, он отправлял меня в горы. Прибыв на ранчо, мы подали условный сигнал и, дождавшись ответа, вошли в дом. Комната оказалась небольшой; в ней были маленькая печка, грубо сколоченный столик, гамак, кровать, кухонная плита. Я увидел симпатичного голубоглазого парня в сомбреро. Он выжидательно смотрел на нас, когда мы вошли, а затем, когда Хуан де Дьос Муньос представил меня, сказал: «Очень рад с вами познакомиться», — и протянул мне руку. Потом он стал варить кофе. Завязалась беседа. Парень говорил так, как обычно говорят крестьяне, хотя был очень похож на городского жителя. Мы провели за беседой довольно много времени, говорили о разных вещах. Затем вышли и легли спать в патио в гамаках. На следующий день отправились в путь. Мы спускались в город, и я думал, что скоро увижу своих товарищей, которых очень любил и с которыми мечтал встретиться. Я мечтал о том, что снова увижу город, электрический свет, много-много разноцветных огней, услышу гул машин, радио, смогу смотреть передачи по телевидению, ходить в кино. А горы? Любил или не любил я горы? Мне жалко было расставаться с ними, и в то же время порой я их просто ненавидел. Снова пришли мысли о городе: ну прооперируют меня, а что я буду делать дальше? Меня направят в другой город, снова прикажут подняться в горы, потом снова город, где, может быть, я встречусь с Клаудией. Ну что же, тогда мы нежно обнимемся и будем любить друг друга… Вспомнив о ней, я подумал о женщинах-подпольщицах, с которыми мне хотелось бы встретиться в первую очередь, если Клаудия вдруг перестанет любить меня. Снова всплывал в памяти университет… Кого же теперь там встречу? А если мне снова поручат заниматься студенческим движением? Кто будет участвовать в этом движении?.. Вот об этом и о многом другом я думал, идя в город. «А вдруг убьют меня там? — думал я. — Если меня узнают, то могут и схватить. Но живым взять меня им не удастся!» Наконец мы дошли до Куа, сменили там свою партизанскую одежду на обычную, гражданскую. Нам удалось остановить грузовичок, который вез горожан и крестьян, направлявшихся в близлежащее селение. О чем только я не передумал, пока мы ехали в этой машине! Я был уверен, что мы снова будем устраивать

демонстрации с факелами, со свечами. Припомнилась мне одна из демонстраций, во время которой я как-то сказал: «Тот, кто не приходит в ярость, тот «сапо». Этим словом в Никарагуа называли сомосистов. И все люди, заполнившие три квартала, кричали во время демонстрации: «Тот, кто не приходит в ярость, тот «сапо»! Тот, кто не приходит в ярость, тот «сапо»! Тот, кто не приходит в ярость, тот «сапо»!» А ночью ко мне нагрянули гвардейцы… Вот о чем вспоминал я и уже не знал, остался ли я тем человеком, каким был раньше. В душе моей была страшная неуверенность. Мучил и вопрос о том, что решили сделать в отношении меня товарищи в городе. Помню, однажды во время демонстрации я сказал: «Каждому студенту… консервную банку». И сразу же мы развесили в университете плакаты: «Каждому студенту — консервную банку!» Все студенты стали таскать консервные банки из мусорных ящиков в университет, и тогда мы устраивали демонстрацию с банками, и был у нас грузовик, который поднимал клубы пыли, как это обычно бывает летом, когда машины едут по пыльной дороге. Однажды мы ехали на том грузовичке, и, хотя не доехали еще до Леона, я уже чувствовал, что дышу леонской пылью, что она забивает мне нос и уши, проникает в горло, а волосы становятся от пыли какими-то пегими. До Леона оставалось еще километров сто, но воздух по мере приближения к городу делался все суше, раскаленнее, а земля казалась выжженной. Люди в машине покрыли головы платками, а лица у них были все в пыли, примерно так же, как в 1971 году, во время извержения вулкана Сьерра-Негро.

В тот год мы использовали разбушевавшуюся стихию в нашей борьбе против Сомосы. Клубы пыли и пепел сыпались на город Леон. Мы с Эль-Гато покрывали лица платками, как и все жители, и направлялись на центральный рынок, чтобы там разговаривать с людьми. Вокруг нас плыли плетеные корзинки, наполненные овощами, фруктами, зеленью. Люди переговаривались между собой: «Какое варварство… какое варварство! Бог нас наказывает… бог нас наказывает, потому что мы не свергли Сомосу!», «Бог наказывает нас, потому что в стране еще правит Сомоса!», «Это бог нас наказывает, это бог нас наказывает… Пока не сбросим Сомосу, все останется как прежде!». Люди были страшно недовольны, потому что все было покрыто пылью, товар раскупался плохо и всем хотелось излить на кого-нибудь свой гнев и ярость. И тогда все стали говорить: «Эта сволочь приносит нам только несчастья…»

И вот теперь мы снова ехали на грузовичке по тряской дороге. Ландшафт постепенно менялся, и вот нас окружает знакомая мне с раннего детства картина: плоды земляничного

дерева, камни, ящерицы игуаны, раскаленная от солнца земля. По мере приближения к городу в памяти всплывали эпизоды прошлого. Детство, юность… Увидев земляничное дерево, я вспомнил патио родного дома, где росли такие же деревья… отец часто отламывал ветку, чтобы наказать нас за плохое поведение.

Через восемь часов пути, уже к вечеру, мы прибыли в Эль-Саусе, где собирались сесть на поезд. Мне вспомнилось, как я впервые поехал на леонском поезде, и я снова вернулся в детство… Как легко и быстро перебираются с одной ветки на другую обезьяны, так и мысли мои с такой же быстротой перескакивали от детства к юности, от гор к городу, от прошлого к настоящему.

Улицы Эль-Саусе были немноголюдны, и мы направились к станции. Не доходя до вокзала, я увидел стоящий на путях огромный поезд, длинный-предлинный, черный и старый, как тот поезд из детства… Мне показалось, что застыло время, потому что это был тот же самый поезд из детства, были те же платформы, те же люди, те же голоса… «Холодная вода… холодная вода… Свинина с юккой… свинина с юккой…» Те же самые продавщицы лепешек, те же грузчики, которые взваливают мешки на плечи, взвешивают груз на весах, накладывают его на тележки, чтобы потом подвезти к поезду… Кто-то пил напиток гуаро, на платформе валялись детские игрушки, на углу улицы застыли в ожидании молоденькие девушки, на другом углу находились помещения для игры в бильярд. И всюду плыл знакомый станционный шум — переговаривались люди, которые несли кур, различные безделушки, сумки с фруктами и овощами; шли крестьянки из соседних деревень, их ярко накрашенные губы пылали на солнце; торопились толстушки в передниках; пьяный возница упал с лошади; какие-то мужчины ловили и связывали визжащих свиней, чтобы отправить их куда-то поездом… Крестьянки с испуганными лицами… торговцы, предлагающие мазь, которая лечит от любых, даже самых страшных, болезней… тут же гвардеец на углу — тот же самый гвардеец, который стоял здесь и раньше…

Мы пошли купить билеты. В коридорах вокзала все так же пахло мочой, даже в том месте, где с компостером в руках стоял контролер, человек с псиным лицом, очень похожий на шпика. А через некоторое время послышался привычный звук свистка и все заторопились. Контролер высаживал детей из вагонов поезда и кричал кому-то: «Подожди-ка минуточку!» Женский голос просил: «Дай мне немного холодной воды…» Кассир протягивал из окошка руку и кричал кому-то вслед: «Верни, верни мне сдачу!..» Но вот поезд трогается, и мы берем курс на Леон. Машина

времени вращается все быстрее и быстрее, уже не чувствуется пыли, а перед нами наконец открывается то, чего мы не видели столько времени — белые поля хлопка. И снова наплывают воспоминания: трейлеры выходят рано утром, когда еще не рассвело; они перевозят сборщиков хлопка; среди них много женщин, одетых в мужские рубашки и мужские шляпы; все отправляются на уборку хлопка. Отец мой всегда сердился, потому что поденщики, которые работали у него, уходили на сбор хлопка, где им платили больше, чем в других местах…

Поезд летел с тем же шумом и вскоре оказался у станции. Началась посадка, затем послышался удар колокола, и поезд снова тронулся. Мы приближались к Мальпасильо, и я вдруг ощутил какой-то дискомфорт. И нервничал, все больше понимая, что мне снова предстоит встретиться с Леоном, со своим прошлым, которое не выходит у меня из головы. Когда поезд стал приближаться к Мальпасильо, я неизвестно почему сжал кулаки, вдавился в сиденье, будто собираясь катапультироваться. Мы решили выйти на станции Мальпасильо и отсюда добираться до Леона. В Мальпасильо мы не стали выходить первыми, а решили подождать, пока схлынет основной поток пассажиров, и смешаться с толпой продавцов холодной воды, торговок овощами, одеждой, сувенирами. Там, на станции, я вдруг почувствовал себя беззащитным. В горах мы долгое время не общались с жителями окрестных деревень, привыкли каждый день видеть одни и те же лица наших товарищей. Мы привыкли к тому, что на нас никто не смотрит. Здесь, в Мальпасильо, я вдруг почувствовал себя незащищенным…

И вот я на улицах Леона. Меня охватил страх, ведь сам я родом из Леона, и наверняка здесь есть люди, которые хорошо знают меня в лицо: товарищи по классовой борьбе, многие приятели, оставшиеся в Леоне, соседи, девушки… У меня возникло ощущение уязвимости и некоторой «обнаженности», и это ощущение все усиливалось. Это в горах ты ходишь с пистолетом, винтовкой, пулеметом или карабином, и они у тебя всегда заряжены, в рюкзаке всегда имеется необходимый запас продуктов; в горах ты вполне полагаешься на себя самого и чувствуешь, что оружие обеспечивает тебе своего рода безопасность: винтовка постоянно с тобой, ты спишь и крепко держишь ее в руках, а если купаешься, то оставляешь ее на берегу, и все внимание сосредоточено на ней. В горах оружие становится твоей неотъемлемой частью, и если ты спотыкаешься в горах о камни, то прежде всего стараешься уберечь оружие, а не руку. Тебе начинает казаться иногда, что руку даже сломать не жалко, только бы была цела винтовка. В горах ты начинаешь

боготворить винтовку, придумывать ей ласковые названия. Например, Аурелио Карраско ласково называл свою винтовку «жеребчиком», а другой товарищ, у которого приклад у винтовки был черного цвета, называл ее «негритянкой». У меня же был карабин, с которым я не расставался даже во сне, и я дал ему кличку «пелуче».

Так вот, когда я спустился с гор, то почувствовал себя незащищенным без «пелуче», потому что мой «пелуче» гарантировал мне возможность геройски сражаться в бою и, если понадобится, умереть.

Я шел по городу, чувствуя скованность и напряжение, но старался не показывать виду и выглядеть обычным, нормальным человеком. В руках я нес маленькое сомбреро, пару башмаков, джинсы и простую рубашку. В горах я отрастил бороду и усы, что немного изменило мою внешность, но теперь бороду пришлось сбрить, однако усы я оставил, потому что больше всего на свете боялся, как бы меня не узнал кто-нибудь из жителей города. Я шел, украдкой поглядывая на людей, встречавшихся мне на пути. К несчастью, один человек все-таки задержал на мне взгляд, и я почувствовал страх. Кто он? Знает меня? Поздоровается со мной? Окликнет меня? Мы прибавили шагу, пока не вышли на дорогу, которая вела в Леон. Помню, на один час мы даже спрятались, опасаясь, что нас выследят гвардейцы, но этого не случилось. Через некоторое время мы решили пойти по дороге, ведущей в Леон, и никто из прохожих не узнал ни меня, ни Хуана де Дьос Муньоса.

Я ощущал огромное любопытство и радость, потому что мне предстояло встретиться с товарищами. Больше всего мои мысли занимали Иван Монтенегро и мой сын или дочь. Когда мы расставались с Клаудией, она готовилась стать матерью. В горах один связной сообщил мне, что видел Клаудию, и она сказала, что, наверное, родит двойню. Сроки прошли, и теперь мне оставалось гадать: у меня сын, или дочь, или…

Наконец мы добрались до местечка под названием Телика, зашли в один домик, и тут я встретился с товарищем по имени Франсиско Лакайо. «Ты знаешь, что у тебя девочка?» — спросил он меня. «Нет», — ответил я. «Девочка, и очень похожа на тебя». Меня охватил прилив нежности. И конечно, я стал думать о том, как бы мне повидаться с Клаудией и взглянуть на дочку. Мы добрались до дома, где нам предстояло встретиться с руководством. Говорили, что на встречу приедет руководитель района Иван Монтенегро. И действительно, однажды вечером к дому на такси подъехал Иван Монтенегро. Водителем был тоже наш товарищ. Мы выбежали навстречу, а Иван, немного волнуясь,

сказал: «Садитесь, скорее садитесь в машину». Мы сели, и такси поехало в Леон. Еще до приезда в этот город мне снились жуткие картины: вот жители узнают меня на улице, гвардейцы начинают преследовать меня, и я вынужден отстреливаться, а винтовка оказывается негодной… Да, сны эти были поистине кошмаром.

В Леон мы прибыли вечером, часов в восемь… Боже мой! Тот же самый бульвар, та же авеню Дебайле, тот же госпиталь, станция, парк Сан-Хуан. Ничего не изменилось! Мне дали темные очки, чтобы никто не смог узнать меня. Я смотрел на людей, и меня охватывал страх. Угроза быть схваченным и даже убитым гвардейцами была реальной и почти ощутимой. Мы старались идти по окраинным кварталам, избегать центра города, пока наконец не пришли на явочную квартиру. Этот дом в Субтиаве принадлежал портному, имени которого я сейчас не могу припомнить, как не помню и точного адреса. Могу только сказать, что было это в Субтиаве, неподалеку от улицы Реаль. И вдруг — какая радость! — встречаю Луиса Гусмана, Кинчо Ибарру, Хорхе Синфоросо Браво. Нас накормили, я принял ванну, переоделся в чистую одежду. Мне вдруг захотелось шоколада, мороженого, конфет из лавки Прио… Чем только я не полакомился бы сейчас! Казалось просто невероятным, что я снова был в центре Леона, а об этом не знали ни гвардейцы, ни служба безопасности, ни мои друзья, ни члены моей семьи.

16

Мы уже находились в городе дня четыре, как вдруг пришел приказ от Педро Арауса, члена Национального руководства: меня направляют в Окоталь, где прооперируют, а затем переправят на север страны. В то время региональным руководителем был Пелота — так называли Мануэля Моралеса Фонсеку. В том же регионе находился и Баярдо Арсе. Мы вышли, когда уже рассвело, было это примерно в половине шестого утра. Нас должны были встретить в двух кварталах от дома. Иван Монтенегро, Кинчо Ибарра и я шли по улицам, а в тот час двери домов были открыты, по улицам ходили торговцы хлебом, маслом. Мои товарищи, менее смуглые, чем я, шли по краям, а в середине шел я, надеясь скрыться от любопытных взглядов прохожих. Но скрыться от них было невозможно. Люди бросали в мою сторону полные удивления взгляды, а мне казалось, что некоторые даже здоровались со мной. Но жители Субтиавы были настроены против Сомосы, так что это была территория в политическом смысле абсолютно свободная. Меня пригласили сесть в машину, и мы поехали по шоссе Леон — Сан-Исидоро. На перекрестке улиц стояла другая автомашина, и я пересел в нее. В водителе я с радостью узнал Тоньо Харкина, известного в Новой Сеговии доктора Антонио Харкина Толедо. «Не может быть! — воскликнул он, потому что считал, что я должен был в это время находиться в горах. — Как поживаешь, Тощий?» «Черт возьми, а ты растолстел!» — ответил я. «Да и ты не кажешься мне худым», — произнес он. Возможно, так оно и было. Мы давно не виделись, и за это время я действительно немного растолстел, потому что ел много кукурузы.

Отвезли меня в Окоталь, где и должны были прооперировать. Теперь я начал терзаться, что меня станут оперировать на какой-нибудь частной квартире и сделает это какой-нибудь врач-подпольщик.

«Когда же будет операция?» — спросил я Тоньо. «Сначала, — ответил он, — надо посмотреть, как обстоят дела в больнице Сомото, потому что оперировать тебя я буду там». «Вот как?! — удивился я. — Неужели это произойдет в больнице Сомото?» Вскоре мы остановились в доме напротив больницы.

На следующий день я в нетерпении спросил Тоньо: «Как там с больницей?» «Ты понимаешь, — ответил он мне, — мы сейчас стараемся все устроить, но сначала надо выяснить, какие медсестры будут с тобой иметь дело, к тому же надо найти анестезиолога». «А анестезиолог и медсестры — наши

товарищи?» — спросил я. «Нет, — ответил он. — Но ты не волнуйся: оперировать будем мы с Саулем. Прошу тебя, не беспокойся, я просто скажу в больнице, что ты мой двоюродный брат, что пробудешь там недолго, дня три».

Еще через день Тоньо пришел и сказал: «Ну пошли, приятель». Часов в пять вечера я оказался в больнице. На всякий случай я взял с собой гранату. «Боже мой, — думал я, — было бы ужасно, если бы меня вдруг обнаружили гвардейцы и взяли бы прямо с операционного стола, избили бы прикладами и выволокли наружу. Только что перенесший операцию, сильно ослабевший, я не смог бы оказать им сопротивление. Ну так вот, если появятся гвардейцы, я вытащу гранату из-под подушки и тут же в комнате подорву и себя, и гвардейцев». С Тоньо я договорился, что после операции он будет спать возле меня, а на улице, у входа в здание больницы, на всякий случай будет стоять машина.

Ко мне пришла медсестра и сказала: «Раздевайтесь, нам нужно помыть вас». Я снял ботинки, носки, брюки, рубашку, а она снова: «Снимите трусы, потому что нужно побрить вас». «А разве не врач будет это делать?» — спросил я, чувствуя себя неловко. «Нет, — ответила она, — это сделаю я, и, пожалуйста, поторопитесь». «Черт возьми! — подумал я. — Какой стыд!» Но делать было нечего, пришлось мне снять и трусы. А она с серьезным видом продолжала раскладывать на столе медицинские инструменты, вату, бинты, разные коробочки, какие-то стаканчики… Я лег на кровать и положил руки за голову. Хотел закрыть глаза, но они открывались помимо моей воли.

Пока меня готовили к операции, я ухитрился спрятать под подушку пистолет и гранату. Вот и операционная. Мне сделали укол и попросили считать: раз, два… Не успел я сосчитать до трех, как заснул. Проснулся уже в палате, укрытый одеялом, в больничной одежде. Чувствовал я себя при этом ужасно… Вот здесь-то все и началось… Боже мой! Только бы не явились гвардейцы! Пусть мы все здесь погибнем, но меня им ни за что не взять живым! Но ведь гвардейцы могут прийти, когда я сплю, и убьют меня спящего… Тогда я спросил Тоньо: «Как дела?» «Все спокойно, все спокойно, — ответил он. — Ты не волнуйся, здесь все под контролем!» «Ты все-таки поосторожней», — попросил я. «А знаешь что, Тощий? Я хотел бы съездить в Эстели, к Луисе. Дело в том, что мы с ней поссорились». «Да, но ты вернешься сюда и будешь спать со мною рядом?» — забеспокоился я. «Конечно, конечно!» — пообещал Тоньо. Помириться с Луисой Тоньо не удалось, и в Эстели он до чертиков напился, а оттуда

поехал обратно, в Сомото. Он был страшно пьян и остановился на дороге, как раз перед въездом в Кондегу, чтобы поспать. Гвардейцы, разумеется, заметили автомобиль, подошли поближе, набросились на Тоньо, избили его, допросили, обыскали машину и нашли пистолет со стертым номером, революционную литературу и, естественно, арестовали его. На следующий день, часов в шесть вечера, в больницу пришла одна наша приятельница в сопровождении двух товарищей и сказала: «Одевайтесь скорее, уходим». «А что произошло?» — спросил я. «Вчера вечером схватили Тоньо Харкина, он был пьян, и мы не знаем, что они выпытали у него».

Что оставалось делать? Я натянул рубашку, мне помогли одеться и обуться, потому что наклоняться я не мог. «Но как же мы отсюда выберемся? — спросил я. — Давайте сделаем так: как только выйдем в коридор, я обхвачу вас за плечо, а вы подхватите меня за пояс, как будто я пьяный и не стою на ногах; а для достоверности я буду болтать всякую пьяную чушь».

Так мы и сделали: они встали возле моей кровати, я обхватил одного из них за шею, а другого за талию… Вот таким образом мы и вышли из больницы. Добрались до джипа и поехали по одному адресу, а вечером, как только стемнело, меня вывезли из этого селения, где оставаться было опасно. С этого момента и началась для меня настоящая пытка. Ехали мы в горы по ужасной дороге, и машина бесконечно подскакивала на ухабах, хотя водитель старался ехать осторожно. Страшно болела рана. В хорошем-то автомобиле по такой дороге ехать было трудно, а в этом старом джипе — так просто мучительно. «Боже мой, — думал я, — если нарвемся на засаду гвардейцев, я не смогу даже выстрелить, пока сижу в джипе. Поэтому, если гвардейцы нас остановят и прикажут выйти из машины, я вытащу пистолет и перестреляю всех. Швырну гранату, и мы все вместе с гвардейцами взлетим на воздух». Так я старался успокоить себя.

Уже наступила ночь, когда мы оказались в районе Макуэлисо, на ранчо нашего товарища по имени Теофило Касерес (Фидель).

Возникла проблема: как лечить меня. Ведь нужно было делать перевязки, вводить антибиотики, чтобы не допустить воспаления. Заботы легли на плечи сопровождавших меня Пелоты и Мануэля Майрены. Все делалось в антисанитарных условиях, и я чувствовал себя измученным и совершенно разбитым, а от постоянных уколов у меня все болело.

Через восемь дней, когда пришло время снимать швы, мы вернулись в Окоталь. К счастью, произвол гвардейцев в этом районе несколько утих. Меня отвели на одну явочную квартиру, и Сауль, который оперировал меня вместе с Тоньо, быстро сделал

свое дело, правда, ему пришлось слегка подрезать мне кожу, чтобы вытащить последний кусок нитки. Не скажу, чтобы вся эта процедура показалась мне особенно приятной.

Хозяев дома, а вернее сказать, хозяек мы очень полюбили. Это были три старые женщины. Младшей из них, самой симпатичной, исполнилось шестьдесят лет. Старушки были связными еще со времен Сандино. Разговаривали они шепотом и так же тихо пересказывала нам интересные эпизоды борьбы Сандино. Для них наша борьба была своего рода продолжением того периода, когда они участвовали в подпольной борьбе вместе с мужьями и братьями. Эти старушки любили нас, как своих детей, и было в этой любви что-то трогательное; они часто заходили к нам в комнату, чтобы оставить нам что-нибудь поесть: одна старушка приносила сливы, другая — плоды манго, третья несла баранки из сдобного теста. Каждому их приходу мы все очень радовались, и, хотя мы нередко подшучивали над ними, старушки нас просто обожали. Мы называли их «волшебницами», потому что они, как волшебницы из сказки, всегда делали для нас что-нибудь хорошее.

В соседнем доме жил старик, бывший сандинист, с дочерьми. Это были прекрасные люди, выполнявшие все задания Фронта с высоким чувством долга.

Несколько дней мне пришлось жить в доме одной учительницы, которая тоже лечила меня. Об этой славной женщине я сохранил самые прекрасные воспоминания. Звали ее Росария Антунес. Несколько раз гвардейцы арестовывали ее, пытали, убили ее пятнадцатилетнюю дочь в Новой Гвинее. Сейчас учительница жива и активно участвует в деятельности Фронта в Окотале.

17

Мы уже около месяца находились в доме учительницы, когда Национальное руководство СФНО запланировало создать две крупные школы по подготовке партизан, обучению их военному делу. Выло необходимо улучшить в качественном отношении партизанские группы в рабочих кварталах и готовить людей для ведения боевых действий в горах. Одна из таких школ была создана в Макуэлисо, неподалеку от ранчо, где я провел несколько дней после операции. Школа носила имя Хулио Буитраго и насчитывала примерно тридцать слушателей. Было это в июне 1975 года. Мне сообщили, что я вошел в состав регионального руководства, и сказали, что надо будет создать специальную школу для тех, кого впоследствии направят в горы. Меня считали человеком опытным, получившим определенную военную подготовку, поэтому и поручили отвечать за обучение молодых партизан. Мануэль Моралес был первым руководителем школы. Баярдо Арсе — его заместителем, а Аугусто Салинас Пинель отвечал за обучение партизан вопросам тылового обеспечения. Школа сыграла в моей жизни важную роль, так как теперь я отчетливо понимал, как лучше применять свой опыт на деле, как нужно вести работу по сплочению коллектива.

С первого же дня пребывания в школе я обратил внимание на то, что физические возможности моих молодых товарищей были весьма ограниченны. Я понял, что опыт, приобретенный мною в горах, не был исключительно моим личным опытом; мои товарищи тоже проявляли к нему активный интерес. Разумеется, условия в школе значительно отличались от условий в горах, в дикой сельве. Находилась школа на горе под названием Эль-Копетудо, почти на самой ее вершине. Я видел, как тяжело было товарищам. Поднимаясь в гору, они падали, огорчались своими неудачами; там отчетливо проявились их слабости, но они очень старались исправить свои ошибки. Не все товарищи были достаточно подготовлены физически, и я, разумеется, старался передать им весь свой опыт, все то лучшее, чему научился сам, пока находился в горах. Образ Рене Техады постоянно был передо мной. Тельо не было в живых, но теперь я особенно четко понимал, как пригодились мне его знания и опыт, которые он с такой настойчивостью передавал нам.

Школа была открыта 14 июня, а спустя десять дней после ее открытия начали поступать сообщения, что в районе расположения школы стали появляться неизвестные люди; скорее всего, это были офицеры военной разведки. Однако гвардейцы в

тех местах не появлялись в течение довольно длительного времени, и занятия проходили в относительно спокойной обстановке. А вскоре поблизости появились и гвардейцы… Наши молодые товарищи не имели никакого опыта, не были обучены совершать длительные переходы, никогда не участвовали в настоящем бою, поэтому было абсолютно ясно, что появление гвардейцев могло стать для нас катастрофой. И вдруг получаем сообщение — гвардейцы уже близко! Тогда было принято решение направить за подмогой в город Мануэля и Баярдо, потому что сами мы не могли вступить в бой, а главное — необходимо было сохранить группу обученных партизан. Пелота и Баярдо должны были изыскать возможности, чтобы немедленно переправить людей в город, избежав столкновения с гвардейцами, и организовать автотранспорт, а затем подыскать в городе дома, где можно было бы разместить всех этих людей, либо перебросить их в другие районы страны. Но куда там! Единственное, что нам удалось сделать, это вывести из окружения Мануэля и Баярдо с группой товарищей. Занятия в школе прекратились на следующий день после того, как появились гвардейцы.

Мы стали спускаться в город и, пройдя небольшое расстояние, остановились вблизи ранчо, где жил сочувствующий нам крестьянин. Мы ждали прибытия связного из города, чтобы организовать переброску людей. И здесь нам помог печальный опыт, связанный с гибелью Тельо, который погиб, потому что находился в доме крестьянина, сочувствующего партизанам: как стало известно, гвардейцы пришли в дом, арестовали крестьянина, и тот выдал Тельо. Теперь я решил выставить пост и вести наблюдение за домом крестьянина, чтобы при внезапном появлении гвардейцев можно было скрыться до того, как хозяин ранчо, испугавшись гвардейцев, выдаст вас. И действительно, выставленный нами пост через некоторое время предупредил нас, что около пятидесяти гвардейцев ворвались на ранчо и арестовали хозяина. Я сразу же отдал приказ отходить, уклоняясь от встречи с патрулями гвардейцев. Гвардейцы были прекрасно вооружены и располагали сведениями о школе. Я поручил товарищу Эриберто Родригесу возглавить отход отряда в район, где находилось ранчо еще одного сочувствующего нам крестьянина и где в это время должен был появиться Аугусто Салинас Пинель. Пока наши люди готовились к отходу, я собрал группу товарищей, которые были готовы задержать гвардейцев, устроив засаду. Когда группа заняла позицию, я с Мануэлем Майреной отправился на связь с Фиделем. Шли мы целый день и, не дойдя до дома Фиделя, оказались в песчаном овраге. Часа в четыре вечера мы выбрались из него. Тогда я сказал Мануэлю:

«На связь пойдешь ты, потому что ты местный и все знаешь; я пойду следом за тобой, а если что-то насторожит нас, сразу же отойдем». Мы прошли еще немного, и вдруг услышали чей-то голос: «Вон он идет!» Тогда Мануэль сказал: «Послушай, давай вернемся, нас окружили». Мы отступили, сделали несколько выстрелов из пистолетов и побежали. Гвардейцы засели внутри дома, устроили нам засаду; некоторые из них были в крестьянской одежде. На нас посыпался град пуль. Мы перебежками пересекли овраг, выбрались из него, но другая группа гвардейцев выскочила с противоположной стороны, и началось преследование. Местность была почти открытая. Гвардейцы шли небольшими группами, вооруженные автоматами, винтовками, с гранатами за поясом. Мы выбрались из кустов и бросились бежать. Нас охватила ярость. Я был готов погибнуть в бою, сражаясь, но не так глупо, как сейчас. Гвардейцы заметили нас, и я сказал Мануэлю: «Взведи курок, стрелять будем одновременно». Гвардейцы стали прочесывать местность, а мы спрятались за редкими кустами, решив, что каждый выберет себе гвардейца и возьмет его на прицел.

«Эти сволочи где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь… Далеко они не могли уйти! — кричали гвардейцы. — Они здесь, они здесь! — кричали они. — Они здесь! Сюда!» И пробегали мимо кустарника, за которым спрятались мы. Было уже около шести часов вечера, заметно стемнело, но гвардейцы не уходили; они понимали, что мы не могли уйти далеко, но не видели нас. Часов около восьми вечера я прошептал Мануэлю: «Пора выходить… Но сначала надо осмотреться…» Вдруг неподалеку мы услышали чей-то кашель, и я шепнул Мануэлю: «Нужно еще немного потерпеть, через некоторое время они уйдут, не оставаться же им здесь». Наше ожидание затянулось до глубокой ночи. В три часа утра мы наконец решили попытаться выйти из окружения, но не по ущелью, в котором они наверняка устроили засаду, а со стороны горы. Нам удалось пройти незаметно. И вот мы оказались в городе. Там было полно гвардейцев. Мы с Мануэлем подошли к дому знакомого мне крестьянина. Было часов пять утра. Увидев меня, хозяин подскочил от неожиданности: «Боже мой! Что ты делаешь в городе в такой ранний час?» «Ищу связь, — ответил я. — Понимаешь, гвардейцы окружили нас, а товарищи ждут, что мы приведем подмогу». «В Окотале почти все арестованы, — сказал крестьянин. — Схватили многих из сочувствующих». Положение в Окотале действительно было сложным: гвардейцы проводили там повальные аресты. Подпольная организация была разгромлена, явочные квартиры захвачены, и люди жили в постоянном страхе. Рассказ крестьянина расстроил меня, и я

понял, что мне вряд ли удастся выполнить свою задачу. Правда, связь с Пелотой и Баярдо нам удалось установить, но и эти товарищи ничем не могли помочь нам… «Возвращайся, Омар, к своим и помни, что ты отвечаешь за людей», — сказали мне.

Дождавшись ночи, мы с Мануэлем снова отправились в путь и через какое-то время оказались возле ранчо Бонифацио Монтойи, одного из первых проводников СФНО. Это был необыкновенный старик. Высокий, стройный, с голубыми глазами, с наполовину рыжими, наполовину каштановыми волосами. Красивый был человек! Было ему 82 года, а душа этого человека была чиста и наивна, как у ребенка. Жил он в маленьком ранчо вместе со своей женой.

Мы увидели его, когда он шел из ущелья с котелком воды, и бросились ему навстречу: «Дон Бачо, дон Бачо!» «Парни, давайте скорее сюда, на ранчо», — сказал он нам, как только услышал, что мы окликнули его. «Осторожно, за нами следят, всюду шныряют гвардейцы. Ты не видел наших парней?» — спросил я его. «Видел, конечно: они у меня на холме». Это был настолько крутой холм, что только козы могли взобраться на него. Дон Бачо угостил нас кофе, и мы спросили: «А здесь, у вас на ранчо, гвардейцы не появлялись?» «Нет, — ответила вместо мужа старушка. — А уж если появятся, я ошпарю их кипятком».

Бонифацио Монтойя, дон Бачо, был живой страницей истории. Салинас Пинель рассказал мне: «Когда я после некоторого перерыва появился на ранчо, дон Бачо очень обрадовался. «Вот видишь, — сказал он, — я же знал, что вы снова придете, и сохранил некоторые вещицы, которые вы оставили у меня в прошлый раз». Он подошел к дереву и выкопал из земли маленький солдатский вещмешок, сохранившийся еще со времени оккупации страны американцами. Мешок этот очень легко развязывался. В нем я увидел патроны… Старичок, оказывается, спрятал их и хранил до нашего возвращения».

«Если вы поможете мне, я отведу вас к вашим парням», — сказал дон Бачо. Мы с Майреной подняли его на руки, так как он почти не мог ходить, и стали вместе с ним взбираться на холм. Скоро мы встретились с товарищами и узнали, что они умирают от голода. Во время одного, из переходов Эриберто Родригес, идя во главе колонны, упал и сломал ногу. Часть товарищей осталась позади, и колонна распалась, потому что, если человек не видит перед собой идущего впереди и не знает местности, он теряется, начинает паниковать и сам ищет способ, как выбраться. Четверо наших товарищей погибли от пуль гвардейцев, кому-то удалось добраться до дороги.

Поднявшись на вершину холма, мы поделились с товарищами

скудными запасами продовольствия, консервами, несколькими плодами манго, которые дал нам дон Бачо. На вершине находилось восемнадцать наших товарищей, вооруженных ружьями и винтовками. Чтобы расправиться с ними, гвардейцам нужно было использовать вертолеты, иначе выбить партизан с холма было невозможно.

Ну так вот, придя к товарищам, мы увидели их полные надежды и нетерпения лица. Но выбраться отсюда можно было лишь одним способом — попытаться прорваться через окружение гвардейцев. В противном случае нам оставалось ждать, пока гвардейцы сами выйдут на нас, но тогда мы погибли бы в бою. Так что выбора у нас не было. Каждый понимал, какие трудности ждут нас. Чем ниже спускаешься с гор, тем больше опасность — там встречались пастбища, открытая местность, кукурузные поля, небольшие возвышенности, сосновые рощицы. Мы договорились, что доберемся до Панамериканского шоссе, а там расстанемся и каждый должен будет отыскать для себя гражданскую одежду у сочувствующих крестьян, что жили на краю шоссе. Любыми способами люди должны вернуться в город на подпольную работу, в горы для участия в боевых действиях партизанских отрядов, наконец, просто в свои семьи.

Обдумав и обсудив, как нам лучше выбраться из окружения, мы начали спуск. Сначала я шел впереди отряда, но Аугусто приказал мне перейти в середину группы. Накануне мы придумали себе новые имена: раньше моя подпольная кличка была Эухенио, а так как гвардейцы теперь знали об этом, я назвал себя Хуан Хосе… Итак, мы тщательно продумали маршрут и отправились в путь без факелов. Мы связались тонкой нейлоновой веревкой, потому что я опасался, что в пути мы могли потеряться и тогда гвардейцы нас расстреляли бы поодиночке, как они сделали это с теми партизанами, которые сбились с пути. Во время обучения в школе мы неоднократно совершали ночные переходы, но на сей раз переход был гораздо сложнее, потому что опасность встретить гвардейцев подстерегала нас. Мы договорились, что в случае нападения гвардейцев я буду прикрывать отход, чтобы Аугусто, прекрасно знавший этот сектор, вывел людей. Правда, при этом между нами разгорелся спор из-за того, что мы никак не могли договориться, кто из нас пойдет впереди, кто сзади, а кто будет прикрывать отход. Аугусто настаивал на том, чтобы впереди отряда шел не я, а он, и чтобы он в случае необходимости прикрывал наш отход, а я и проводник Мануэль Майрена должны были идти с отрядом. Мне кажется, Аугусто просто думал о том, чтобы меня не убили, предпочитал погибнуть первым. Он был превосходным

товарищем. Какое-то время Аугусто работал сельским учителем в Сомото, закончив обычную школу в Эстели, и практика преподавания в школе развила у него определенные качества. Он был очень спокойным, добрым человеком, с организаторскими способностями и талантом педагога. В отряде ему всегда поручали обучать грамоте крестьян в тех местах, где бывали…

Мы начали спускаться по горной тропе в полной темноте. Груза у нас особого не было, но физически мы чувствовали себя очень слабыми, потому что уже около двух недель почти ничего не ели. Товарищи из города стали ослабевать раньше меня, ведь я в какой-то степени приучил себя к лишениям подобного рода еще раньше, в горах. Люди начинали спотыкаться, сползать со склонов. Спуск был очень тяжелым. Однако на трудности перехода никто не жаловался. Шли мы очень долго, всю ночь. Никогда мне еще не приходилось наблюдать, чтобы уставшие люди так быстро передвигались ночью.

В пять утра, уставшие, измотанные, голодные, мы добрались наконец до холма с простым названием Сеньорита. Этот каменистый холм очень напоминал небольшую гору с маленькой остроконечной вершиной, находящуюся примерно в двухстах метрах от Панамериканского шоссе, возле селения Тотогальпа, к югу от Окоталя.

И снова перед нами встала дилемма: выйти на шоссе сразу же, чтобы остановить автобус и добраться на нем до города, или подождать здесь, в окрестностях Сеньориты, пока кто-нибудь из нас не отправится на поиски автомобиля, чтобы всем вместе уехать отсюда, не связываясь с автобусом, что было, безусловно, рискованно. Было решено, что на поиски машины отправимся мы с Мануэлем.

Оставив товарищей на холме Сеньорита, на рассвете мы с ним пришли в Окоталь. Здесь у меня был один знакомый, который, правда, еще не относился к числу тех, кто сочувствовал нам. Мы вынуждены были обратиться к нему. Больше идти было некуда. Этот человек был плотником и имел небольшую мастерскую. Он спрятал меня и Майрену у себя под верстаком. Меня не покидало ощущение страха, ведь плотник, опасаясь репрессий со стороны гвардейцев, мог запросто выдать нас. Я попросил этого плотника установить контакт с кем-нибудь из наших товарищей, и он только ради того, чтобы мы поскорее ушли от него, пошел искать сочувствующих нам. Так он нашел учительницу Антунес, нашу знакомую. Она сообщила нам, что положение в городе сложилось тяжелое, все наши явочные квартиры разгромлены. Остался у нас всего один дом, который к этому времени удалось отыскать нашему товарищу Монике

Бальтодано. Хозяин дома оказался человеком очень нервным, но у нас не было выхода и пришлось отправиться по этому адресу. Можете себе представить, как испугался этот человек, когда ночью к нему в дом ввалились несколько незнакомцев. Мы — Баярдо Арсе, Мануэль Моралес, Моника Бальтодано, Мануэль Майрена и я — составили руководство региональной организации. Как ни нервничал хозяин, мы не собирались покидать его дом. Посовещавшись, мы решили направить Баярдо в Эстели, чтобы он достал машину, однако в дороге его схватили гвардейцы. Они начали избивать его. При обыске один из гвардейцев нащупал у Баярдо пистолет, и Баярдо резким движением выхватил у него из рук винтовку. Вот в такой позе они и застыли: гвардеец с пистолетом Баярдо, а Баярдо с винтовкой гвардейца. Первым выстрелил Баярдо и бросился бежать в сторону Окоталя. Ему удалось скрыться. Гвардейцы долго его искали, но, зная, что он вооружен, решительных действий не предпринимали. Баярдо терпеливо ждал в своем укрытии, а на рассвете мы услышали стук в дверь. «Гвардейцы!» — подумали мы и приготовились к бою. Но тут появился Баярдо, и я увидел, как от страха исказилось лицо хозяина дома. Баярдо был весь в крови, губы у него распухли.

18

Мы с Мануэлем Майреной вернулись к холму Сеньорита. Единственное, что мы смогли сделать, это принести деньги, чтобы товарищи могли покупать у местных жителей продукты. Аугусто все же отправился за машиной в Тотогальпу. Ему это было легче сделать, чем другим, потому что он учился там в свое время и у него сохранились некоторые связи. На машине, которую он достал, мы стали по двое вывозить в Эстели наших товарищей, переодетых в гражданскую одежду. Предосторожности наши оказались очень кстати, потому что гвардейцы без объяснений расстреливали всех, на ком замечали хотя бы детали солдатской одежды.

Аугусто должен был подготовить в Эстели места для наших людей. Мы с Майреной спустились с холма последними. Остановились в доме Хильберто Риверы. Я был одет как скотовод, в кожаные сапоги и джинсы, на плече висел мешок и лассо из кожи. За ремнем я пристроил гранату и пистолет. Увидев нас, Хильберто очень удивился. Он был уверен, что мы все погибли, потому что по радио сообщили: во время перестрелки в Окотале против партизан были использованы вертолеты и самолеты и убито много партизан. «Здесь будет нелегко подыскать что-нибудь подходящее, но мы постараемся. Попробуем найти человека, который смог бы вывести вас отсюда», — сказал он. В Эстели обстановка была крайне напряженной, но присутствия военных не ощущалось. Поздней ночью пришел связной, но не было машины, чтобы перевезти нас, и мы своим ходом отправились к церкви Кальварио. Был уже час ночи, и в темноте кварталы показались нам очень длинными. Вдруг послышался шум приближающейся машины. Мы решили спрятаться, и не напрасно — это были гвардейцы. К счастью, они нас не заметили.

Мы подошли к церкви. Стояла тишина, город спал. Когда я вошел внутрь церкви, тишина сделалась еще гуще и напряженней. Застывшие лики святых, неподвижные шторы, белые стены и скамьи. Мне казалось, что время остановилось. К нам вышел молодой священник. Если не ошибаюсь, его звали Хулио Лопес. Он был настоящим революционером, и его очень любили в Эстели. Он разместил нас в своем доме при церкви. Там уже находились Маурисио и Эриберто Родригес, не хватало лишь Баярдо, Пелоты и Моники, которые остановились в другом доме. Мы были настолько возбуждены, что не могли спать. Мы приняли душ, а падре подал на стол немного вина; в этих условиях я казался сам себе дикарем, потому что комната падре была очень

чистой; здесь стояли кровать с двумя матрасами, очень красивые комоды, было много книг, молитвенник, небольшой коврик на полу; очень опрятный и чистый туалет, белоснежный умывальник. Мы с Маурисио и Эриберто начали обсуждать все, что произошло с нами раньше. Вопросов было много: успел ли кто-нибудь выдать нас гвардейцам, располагают ли гвардейцы какой-либо информацией, удалось ли им заслать к нам в отряд провокаторов. С горечью вспоминали мы погибших товарищей…

В комнате стояла такая же тишина, как и в церкви. В церквах вообще всегда царит атмосфера мира и спокойствия. И здесь, в комнате падре, я особенно остро ощущал огромный контраст с той ситуацией, в которой я и мои боевые друзья находились совсем недавно. Внезапно появилось желание говорить негромко, чтобы не нарушить тишину.

Хулио Лопес помог нам установить связь с Баярдо. Руководство решило, что в этом доме все вместе мы находиться не можем, а кроме того, надо было продолжать начатую работу и не терять ни минуты. Пелота, Баярдо и Педро Араус решили направить меня в сельскую местность для организации вооруженной борьбы против Сомосы. Работу предстояло начать буквально с нуля. Один из наших товарищей, по имени Агилер, прежде работал преподавателем института в Кондеге. Сейчас он прятался в маленьком домике возле шоссе, что ведет из Кондеги в Ялу, в селении Сан-Диего. Хозяином домика был некий Савала. Он согласился на денек-другой спрятать у себя нашего человека. Вот к Савале товарищи и направили меня… Хозяин дома страшно испугался, когда узнал, что к нему прислали еще одного человека. На следующий день он спросил нас, когда мы уйдем. Я внимательно посмотрел на него и ответил, что мы пришли сюда для того, чтобы остаться в его доме и вести работу на благо революции, против диктатуры Сомосы. Услышав мои слова, хозяин в испуге проговорил: «Нет, нет, нет… Меня попросили спрятать одного парня, которого ищут гвардейцы, и я, как христианин, согласился. Но то, что предлагаете вы, слишком серьезно. У меня все-таки жена, дети и работа, и я просто не могу заниматься подобными делами. Советую и вам вести себя потише, чтобы вас не схватили. Посмотрите, что творится в Окотале». Савала не имел ни малейшего представления о том, что мы пришли именно оттуда. Можно было понять этого человека — для него пустить нас к себе в дом было действительно рискованным делом, потому что гвардейцы держали в постоянном страхе всю округу.

В один из дней к нам пришла родственница одного парня, который сотрудничал с Революционным студенческим фронтом в

Кондеге. Девушку прислал Баярдо. Я ответил ему через эту же связную, что дом Савалы не подходит для явочной квартиры, поскольку хозяин оказался способным на помощь лишь на словах, а на деле требовал, чтобы мы поскорее ушли. Вскоре после этого к нам прибыл сам Баярдо. Мы все понимали, что надо готовиться к вооруженной борьбе и сделать все возможное, чтобы свергнуть диктатуру Сомосы, и потому начали усиленно обрабатывать хозяина дома. Прежде всего я постарался убедить его, что нам нужно время, чтобы подготовиться к дальнейшим действиям, а потом мы уйдем из его дома. «Нет, товарищ, — ответил он мне, — я согласен со всем, что вы говорите, и понимаю вас, но сейчас вам лучше уйти, потому что это дело очень серьезное, иначе не арестовали бы стольких людей. Но все дело в том, что жена моя ждет ребенка…» «Ладно, — сказал я, — давай-ка сделаем так: если ты хочешь, чтобы мы ушли, найди, где нам укрыться, потому что деться нам сейчас некуда». «Все дело в том, — ответил он, — что здесь все жители — сомосисты, а раз так, то зачем вам связываться с ними? Так и до беды недалеко. Одним словом, вам лучше уйти». Он настаивал на своем, но мы по-прежнему оставались в его доме. Наш товарищ Агилер не умел обращаться с оружием, и я начал обучать его. Прежде всего мы занялись разборкой и сборкой пистолета. Потом я объяснял ему, как надо стрелять в положении с колена, стоя, лежа. Целыми днями тренировал я Агилера. Однажды хозяин вернулся после разговора с одними из местных жителей и снова завел речь о том, что нам пора уйти. «Вы слишком злоупотребляете моим доверием», — заявил он. От этих слов я пришел в ярость. «Вот наши вещи — два рюкзака. Если вы не христианин, то возьмите их и выставьте на шоссе. Нас убьют, и в этом будете повинны вы». «Боже праведный! — воскликнул он. — Этого я вовсе не хочу! Все дело в том, что я беспокоюсь за жену, она очень нервный человек, а сам я здесь ни при чем. Если бы у меня не было жены и детей…» После этих слов мы решили, что нам пора уходить, и, на радость Савале, отправились в Кондегу. Остановились мы в доме некоего Эспиносы и снова связались с Баярдо. «Послушай-ка, — сказал он мне, — дела наши плохи. Оставаться здесь вы не можете, потому что нет явочных квартир, а работу продолжать нужно во что бы то ни стало». «Знаешь, — ответил я, — мне вовсе не хочется находиться в Эстели или Кондеге. Я человек гор и не привык к подпольной работе в городе». «И все-таки ты должен остаться здесь, — продолжал Баярдо. — Среди нас находится Антонио Сентена, Тоньо… Он работал управляющим в имении под названием Сан-Херонимо. Это имение принадлежит отцу Луисы Молины, и к бывшему управляющему очень хорошо относится вся

прислуга. Пойдешь с Тоньо в Сан-Херонимо, пусть он поговорит с рабочими имения, может, они согласятся оставить тебя там». План был просто абсурдным, но выбора не оставалось… На следующий день мы и занялись этим. К имению мы приехали со стороны долины Лос-Терререс, решив выдать себя за торговцев лекарствами. Пришли на ранчо одного из слуг, который знал Тоньо.

И тут послышалось: «Как дела? Как дела? Какое чудо, Тоньито, какое чудо, что вы пришли!» «Да, я пришел, — отвечал Тоньо, — чтобы встретиться с вами, поприветствовать старых друзей». В том году стояла страшная засуха. «Дон Тоньито, из-за этой проклятой засухи у нас нет ни фасоли, ни риса, вообще ничего, а курочек, которых мы выращивали, пришлось съесть. Пойдем поищем хотя бы пшена, чтобы испечь лепешки». Через некоторое время Тоньо сказал им: «Со мной мои друзья, я хотел бы познакомить вас с ними».

Крестьянина, к которому привел нас Антонио, звали Педро Очоа. Он очень удивился, увидев нас. Мы были похожи на городских жителей, только что спустившихся с гор, вооружены пистолетами, с туго набитыми рюкзаками за спиной. «Послушайте, товарищ, — сказал я ему, — мы из Фронта национального освобождения…» А надо вам сказать, что эти бедняги готовы были умереть со страха, как только узнавали, кто мы, потому что в их памяти были свежи кровавые злодеяния гвардейцев, репрессии в Макуэлисо и других районах. Наше появление было для крестьян своего рода синонимом катастрофы. «Мы обходим дома и знакомимся с людьми, — продолжал я. — Это на тот случай, если когда-нибудь мы снова окажемся в этих краях и нам понадобится хотя бы лепешка, чтобы не умереть с голоду. Мы должны быть уверены, что вы не откажетесь накормить нас, когда нам придется скрываться от гвардейцев. А сейчас мы стараемся досконально изучить местность, ибо хотя бы один из нас должен хорошо ориентироваться на местности в этих краях. Нам нужно знать дорогу, по которой мы могли бы уйти от гвардейцев. Я знаю, такие тропы существуют, и они вам известны…»

Так переходили мы от одного жителя к другому, от ранчо к ранчо. Крестьяне дрожали от страха, пока мы разговаривали с ними, но, несмотря на бедность, делились с нами последним куском хлеба.

Прошли мы весь путь от долины Лос-Терререс до имения Сан-Херонимо. В Лос-Планесе Тоньо познакомил нас с крестьянином Моисеем Кордобой, человеком лет тридцати. «А-а, вы сандинисты, — прошептал он, не скрывая испуга. —

Поосторожней, нас всех могут убить. Я знаю это, потому что отец мой тоже был сандинистом». «А твой отец жив?» — спросил я. «Да, — ответил Моисей. — И отец, и мать». «А мы могли бы поговорить с твоим отцом?» «Попробуйте, только меня не впутывайте в это дело». Так вот и шли мы, останавливаясь, чтобы поспать, там, где нас заставала ночь. К слову сказать, позже мы встретились с отцом Моисея Кордобы. Но об этом потом…

Мы направились в сторону Буэна-Висты. Там мы поговорили с товарищем, который состоял в партии консерваторов. Звали его Хильберто Савала, и был он родственником того трусливого Савалы, о котором речь шла выше. Хильберто часто ссорился с ним из-за земли. Дон Хильберто предупредил нас: «Здесь вам нельзя оставаться. Я в очень плохих отношениях с соседями, что живут напротив, это же просто хапуги и бесчестные люди!» И бывают же такие!»

Так, идя от дома к дому, мы оказались у судебного исполнителя. Звали его Пресентасьон Лагуна (позднее этот человек был казнен патриотами). Лагуна как-то странно смотрел на нас, когда мы покупали у него немного бобов и лепешек. Он пригласил нас за стол, а когда мы сели есть, я сказал, изображая из себя торговца: «Послушайте, хозяин, мы купили у вас лепешки, а теперь и вы купите у нас что-нибудь». Я развязал мешок и начал доставать оттуда всевозможные лекарства. Потом завел речь о цене на скот, о продаже мяса. Вести разговор на эти темы не составляло для меня труда, ведь мы заранее тщательно отработали подобную легенду. Я добился цели — этот подлец поверил нам.

Несмотря на отдельные неудачи, мы продолжали идти от дома к дому, подбирать себе сторонников, укреплять наши ряды. Баярдо с оказией прислал нам немного денег, и мы продолжили свое дело. Правда, на этот раз получилось иначе. В первом доме, куда мы пришли, жил человек по имени Хуан Каналес, управляющий имением Дараили. Пройдет четыре года, и в этом имении мы сможем разместить до тысячи наших людей… Так вот, пришли мы в этот дом поздно вечером, постучались. Из-за двери послышалось: «Кто там?» «Хуан Хосе, — ответил я, — торговец лекарствами». Дверь открыли, и каково же было мое удивление, когда я увидел множество людей — сидящих на полу, стоящих, прислонившись к стенам комнаты. Оказалось, накануне умерла жена хозяина дома и после похорон люди собрались здесь… Мы страшно устали от долгой ходьбы, но поняли, что здесь нам просто негде разместиться, и хотели уйти, однако хозяин вдруг сказал нам: «Хорошо, оставайтесь, только когда вы уйдете?» Я ответил: «Завтра». Он отвел нас в пустой домик, похожий на

сарай для сушки кукурузы, принес нам еду, и на следующий день мы снова собрались в дорогу. «А нет ли у вас друзей, которые могли бы нам помочь? — спросил я хозяина. — Отведите нас к ним». «Да что вы! — ответил он. — Народ здесь очень болтливый, верить никому нельзя, поэтому я не смогу выполнить вашу просьбу». Но я начал уговаривать его, и наконец он согласился. «Ладно, пойду прощупаю одного парня, который прислуживает в имении, где я работаю».

Он переговорил с тем парнем, и тот согласился как-то помочь нам. Когда мы пришли, он отвел нас в кукурузное поле. Мы пообещали, что спрячемся в кукурузе и будем сидеть тихо-тихо. В кукурузном поле мы пробыли три дня, и это были относительно спокойные дни. Нас никто не выдал. Когда хозяин приносил нам еду, мы заводили с ним разговор на интересующие нас темы, и нам удалось многое объяснить ему. У него были больные дети, а поскольку у нас были лекарства, мы дали ему лекарств для детей и денег. В знак благодарности он пообещал переправить нас в Эль-Робледаль, Ла-Монтаньиту, Лос-Планес, согласился провести нас через горы. Радости нашей не было предела. Однако хозяин кукурузного поля вдруг перестал приходить к нам. Он бросил нас на произвол судьбы. Что нам оставалось делать? Не сидеть же на кукурузном поле, ожидая, пока нас найдут! Мой приятель Андрес, парень решительный, утром сказал: «Послушай, Хуан Хосе, давай выйдем на дорогу и попробуем пробираться сами…» «Ну что ж, пошли», — согласился я. Мы отправились в путь. У нас был компас, но это не спасло нас: проведя полдня в дороге, мы поняли, что заблудились; осмотревшись, мы нашли дорогу, но та ли это была дорога, которая нам нужна? Куда нам идти? Мы терялись в догадках. Чтобы выяснить, где же мы все-таки находимся, мы пробовали определять путь по вершинам холмов.

Ночь мы провели в ущелье. То, что мы заблудились, нас не смущало, потому что мы чувствовали себя творцами истории, готовыми ценой своей жизни завоевать светлое будущее. К тому времени я уже год провел в горах, и после всего пережитого эти трудности казались мне ерундой, тем более, что некоторые крестьяне все же продавали нам продукты. На рассвете следующего дня мы отправились в путь и искали холм Канто-Гальо, но никак не могли найти его; потом мы оказались у холма Эль-Фрайле, за которым находился холм Канто-Гальо; однако, стараясь отыскать холм Канто-Гальо, мы заблудились и вышли из зоны, где росли мексиканские сосны, часто встречавшиеся в Дараили и в районе холма Эль-Фрайле, а затем оказались в другой зоне с иным типом растительности, где росли кофейные деревья. Где-то поблизости было имение Сан-Херонимо, но

разобраться на местности было трудно, поскольку мы плохо ориентировались. Тогда Андрес сказал: «Послушай, вон там у дороги какой-то дом, давай-ка заглянем под видом торговцев и спросим у хозяев, как дойти до Эль-Робледаля, до Ла-Монтаньиты, а там уж и сами разберемся». Зашли мы в этот дом и застали там одинокую женщину. Мы были мокрые до нитки, потому что дождь лил не прекращаясь. Хозяйка даже не заметила, с какой стороны мы подошли к дому.

«Добрый вечер, как поживаете, сеньора?» «Так себе», — ответила она. «Сеньора, мы торговцы лекарствами, не хотите ли вы купить чего-нибудь? Мы даже меньше возьмем с вас, вы только купите». «Дело в том, — ответила она, — что мы просто разорены; была засуха, денег нет». «Послушайте, может быть, вы дадите нам что-нибудь поесть?» — спросили мы. «У меня ничего нет. Все, что осталось, — это фасоль и черный кофе, берите…» «Нам нужно попасть в район Эль-Робледаля, Ла-Монтаньиты, Буэна-Висты… Как туда пройти? Куда ведет эта тропинка?» «Она ведет вон в ту сторону, затем уходит в ущелье…» — И она стала показывать нам, как лучше пройти к горе. Наконец, выбрав нужный маршрут, мы отправились в путь.

И снова мы с Андресом шли от дома к дому. Через некоторое время опять оказались в Буэна-Висте, у Хильберто Савалы. Нам наконец удалось уговорить его помочь нам. Хильберто когда-то состоял в партии консерваторов, но она не отражала его интересов, как, впрочем, и интересов многих крестьян, входивших в нее, которые вскоре и перешли на сторону сандинистов. Четыре дня пробыли мы у Хильберто, проводя политическую работу. Разместились мы в принадлежавшем Хильберто маленьком амбаре, что находился примерно в двухстах метрах от его дома. Жена Савалы пребывала в постоянном страхе. «Вы понимаете, — говорил нам Хильберто, — по ночам она вздрагивает при каждом лае собаки. Она у меня хорошая, — продолжал он. — Вы представляете, что она говорит о вас?! Она говорит: эти парни такие молоденькие, и как же они, бедные, ходят по этим горам без крошки хлеба во рту». Я и сам заметил, что жена Хильберто была миролюбива, как все христиане, но чувство страха не покидало эту благородную женщину. Тогда я сказал Хильберто, что мне очень хотелось бы поговорить с его женой. «Да что вы, что вы, она же просто умрет от страха!» — ответил он. «Нет, вы все-таки скажите, что я хочу поговорить с ней», — убеждал я его. Преодолев испуг, женщина согласилась поговорить со мной. Вечером я пришел к ним в дом, и мы заговорили о том о сем. «Какая красивая икона девы», — начал я, чтобы произвести на женщину хорошее впечатление. «Да», — согласилась она. «Икона

эта чудотворная и всегда помогает бедным, не так ли?» А дальше уже все пошло как по маслу. «А у вас есть мама?» — «Да, моя мама осталась дома». — «А чем она занимается?» — «Не знаю, я давно не видел ее». — «А у вас есть дети?» — «Да, у меня есть дочь». — «А где ваша жена?» — «Она тоже осталась в городе». — «Так что же, вам и повидать своих не удается?» — «Нет. Мы сандинисты и ради дела временно отказались от личной жизни. Когда я был в Окотале, мне передали фотографию моей дочери, очень красивая девочка», — «Бедное созданьице, если бы знала она, что ее отец… Она же будет расти без отца, если вас убьют, будьте осторожны!»

Со временем хозяйка очень полюбила меня и Андреса и перестала бояться нас. Мы осторожно попросили Хильберто послать кого-нибудь, чтобы найти Моисея Кордобу в Лос-Планесе и Хуана Флореса в Ла-Монтаньите. Мою просьбу выполнили, правда, наполовину — Хуана Флореса найти не удалось. «О, — сказал Моисей Кордоба, увидев меня, — вы снова здесь». «Да, мы снова здесь, — ответил я, — и хотели бы поговорить с вами. Мы прекрасно знаем обстановку, потому что находимся здесь у товарища уже около восьми дней». Я стал расспрашивать его об отце-сандинисте, но оказалось, что старик болен, и тогда я решил сам отправиться к Хуану Флоресу в Ла-Монтаньиту. Перед уходом я попросил Хильберто переправить почту Баярдо в Кондегу. У Хуана Флореса я пробыл несколько дней, Обстановка осложнилась, потому что судебный исполнитель Пресентасьон Лагуна что-то стал подозревать; гвардейцы теперь шныряли повсюду, пытаясь нас обнаружить. Я переговорил с Хуаном Флоресом, а также с Лоуренсо и Кончо, познакомился и с другими людьми. Установив эти контакты, я вернулся в маленький амбар Хильберто Савалы. Помню, вернулся я около девяти часов вечера, а Хильберто дома не оказалось. В ожидании я лег на лежанку в амбаре и задумался. Какие только мысли не приходили в голову! И о работе, которая постепенно налаживалась, и о гвардейцах, которых стало здесь слишком много, и о горах, и о Модесто, и о положении районных руководителей СФНО, и о событиях, произошедших на севере страны, в Окотале, в Макуэлисо. Вспомнил я своих друзей, товарищей из Леона, и, конечно, думая о них, я думал и о своей Клаудии…

19

Я был влюблен в Клаудию, когда уходил в горы. Любовь моя была чем-то святым и торжественным, чем-то тем, что нельзя измерить «никакой меркой», как любил говорить Че Гевара. Я вкладывал в наши с Клаудией отношения весь жар своей души. Ради нее я был готов на все. В горах наша, вернее, моя любовь превратилась для меня в знамя. Это развевающееся знамя не цеплялось за лианы, не выпадало из рук, не мокло под дождем, не пачкалось в грязи. Оно согревало мне сердце, и, ложась спать в горах, я вспоминал о нем, складывал его, клал себе под голову вместо подушки и засыпал на нем. Это помогало мне жить, становиться лучше, я ощущал острую необходимость постоянно быть для Клаудии, а потом и для дочери настоящим примером. Клаудия была моим стимулом, моей безопасностью, моей верой, моим оружием; любовь к ней помогала мне не терять бдительности, чувствовать силу в горах. Это был огонь, возле которого я грелся. Наша любовь служила мне сухой и теплой одеждой, она была своего рода навесом, прикрывавшим от непогоды, в ней было все — наше будущее… дом… дети… о которых я постоянно думал и мечтал… Наконец появился Хильберто и передал мне письма, которые переслал из Кондеги Баярдо. Среди них было письмо и от моей Клаудии. Я начал читать его: «Тощий, как дела? Тощий, очень тебя люблю, Тощий, позволь мне сказать тебе, что очень люблю тебя и очень тебя уважаю. Многим, что я узнала в жизни, я обязана тебе и твоим урокам. Ты один из тех людей, которые больше всего повлияли на мою жизнь, и вот потому, что я очень люблю и уважаю тебя и хочу быть перед тобой честной, я должна сказать тебе, что я влюблена в одного парня, а тебя перестала любить и люблю теперь его. Надеюсь, ты поймешь меня правильно, и позволь мне сказать тебе, что я всегда буду любить тебя, и уважать, и восхищаться тобой, как братом». Помню, я чуть с ума не сошел от горя: я был измучен, голоден, болен, а тут еще это письмо! Только спустя часа два я сумел прочитать остальные письма, потому что письмо Клаудии совершенно выбило меня из колеи. Я сильно нервничал… Как она могла так поступить со мной? Понятно, ждать дело далеко не легкое, не каждый человек способен пронести свою любовь через время, но оставить меня именно сейчас, когда я старался из последних сил не запятнать знамени любви, которое я, презирая трудности, нес через горы и топи, перед которым я благоговел, которое хранил как святыню?! Мне даже в голову не приходило, что такое могло произойти… В

первую минуту мне показалось, что рухнул мир. Я испытал такое чувство, словно у меня из-под ног уходит почва; я как бы потерял ощущение пространства, потерял равновесие, стал невесомым, потерял ощущение инерции, не знаю, какие еще ощущения, но, по-моему, все те, которые может испытывать человек. Я перестал чувствовать себя человеком, мужчиной. Я с горечью вспоминал, что, уходя в горы, сказал ей: «Клаудия, если когда-нибудь меня убьют и лицо мое исказится от боли, я постараюсь в самый последний миг улыбнуться. Пусть улыбка останется на моем лице, даже если его обезобразят гвардейцы… Когда ты увидишь в газете «Новедадес» или «Пренса» фотографию с подписью и узнаешь меня, мое улыбающееся лицо, то знай — это твоя улыбка, она принадлежит тебе, и только, тебе. Когда студенты выйдут на улицы на демонстрацию или соберутся на митинг в университете, протестуя против моего убийства, ты сядь в кресло где-нибудь в середине аудитории, а когда станут говорить о моих достоинствах, о том, что я был храбрым человеком, который с честью выполнил свой долг, борясь против диктатуры, ты сиди молча и не произноси ни слова, сиди и держи в руках газету, смотри на мою улыбку и думай, что она — твоя, и только твоя, и никто тебя не лишит этой улыбки. Когда же ты будешь идти вместе с демонстрантами, а гвардейцы будут преследовать вас, ты помни, что с тобой моя улыбка и эта улыбка принадлежит тебе. Никто не сможет помешать мне подарить тебе мою улыбку. Но только ты никому не говори об этом. Если же тебе придется умереть, то ты, прежде чем умереть, возьми себе мою улыбку и никогда никому не рассказывай, что это была моя улыбка, что тебе подарил ее я».

Вот обо всем этом я и думал, прочитав письмо. Наступившая ночь не успокоила меня, я не мог заснуть и ворочался с боку на бок. К рассвету созрело решение — я отправлю ей письмо, и месть моя будет состоять в том, что в день моей смерти, когда гвардейцы изрешетят меня пулями, я не перестану смеяться, но моя улыбка, которую она увидит на страницах газеты, не будет принадлежать ей. И пусть она знает, что это улыбка человека непоколебимой морали, человека последовательного, любящего, это улыбка сандиниста, которая не принадлежит ей. Вот какой урок я решил преподнести ей. Разумеется, пока я читал ее письмо, обдумывал и писал ответ, я пережил много грустных и даже скорбных минут. Я быстро поддавался грусти, чувствовал себя подавленным, но внешне старался держаться спокойно. Не хотелось, чтобы о моей печали кто-то знал. Но меня не покидало чувство одиночества. Первый раз в жизни я почувствовал себя одиноким и покинутым…

Когда человек впервые поднимается в горы именно в таких условиях, в каких это сделали мы, ему приходится в корне менять свои привычки; иногда это причиняет душевные муки, потому что от обычной студенческой жизни ты переходишь к жизни партизанской, которая предполагает подчинение строгой дисциплине. Ты поднимаешься в горы и на протяжении двадцати четырех часов без отдыха движешься в каком-то определенном направлении. Собираясь идти в горы, ты заранее купил лекарства, спирт, вату, иголки и нитки, пуговицы, две-три пары обуви, бумагу, записную книжку… и другие необходимые вещи… Берешь с собой ножницы для стрижки ногтей, кинжал, свои фотографии… Выражение твоего лица обычное, одежда та же самая, что и в студенческой жизни, — свитер. Иными словами, ты остаешься прежним по своему внешнему виду, но сознание твое претерпевает значительные изменения. Ты уходишь из города, из привычного тебе мира. Уходишь из своего настоящего, которое становится прошлым именно в тот момент, когда ты переступаешь порог дома, где жил. Ты уносишь за плечами свое настоящее, когда идешь в горы, но оно остается позади, когда ты приближаешься к ним… Твое настоящее постепенно становится прошлым. Но ты идешь со своими мыслями о будущем, идеями, жизнью, которую ты только что прожил и которая еще свежа в твоей памяти. Потом все, что ты делал раньше, вдруг исчезает из памяти: ты забываешь, как проводил вечера, как дрался с мальчишками, как спал, ел, развлекался. Мозг наполняется свежей информацией, начинает интенсивно работать, но иногда наплывают воспоминания. День сегодняшний, отступая в тень времени, становится прошедшим. Ты идешь в горы, и все былое сползает с тебя, как чешуя, помимо твоей воли. Это твое самоотречение от настоящего как будто вырывается из твоей собственной плоти. И это очень больно. С этого момента ты уже не встречаешь людей, которых видел раньше в городе, не видишь всего того, что видел каждый день в городе; дома, стены, окна, тротуар — все это вдруг исчезает. Ты больше не слышишь шум машин, велосипедов, телевизоров, радио, криков продавцов газет, голосов городских детишек. Не видишь ни фильмов, ни афиш… и углубляешься в горы… Уже не видишь электрического света… и продолжаешь идти… Забываешь вкус и запах шоколада, рома, вина, конфет… По мере того как отдаляешься от города и все больше углубляешься в горы, ты постепенно освобождаешься от своих прежних обязанностей. И вот наступает момент, когда из твоего прошлого на житейском уровне, на уровне чувств, на уровне жизни у тебя ничего не остается. Там, наверху, в горах, было всего пятнадцать или, может быть, двадцать товарищей. Как

же могли бы мы, пятнадцать или двадцать человек в горах, разгромить хорошо вооруженную гвардию Сомосы? Временами нам казалось, что пройдут долгие годы, прежде чем придет долгожданная победа, а ведь именно горы уносят в прошлое все настоящее, хотя разум твой не хочет смириться с этим. Там, в горах, от прошлого остались у тебя вещи, предметы, которые ты носишь в своем рюкзаке и которые питают воспоминания, что роятся в твоем мозгу. Бывает порой, что вещи теряются, и тогда ты готов прийти в отчаяние, потому что понимаешь: это было то, что связывало тебя с прошлым…

По мере того как теряются вещи, постепенно начинают нарушаться твои материальные связи, но гораздо страшнее, когда нарушаются связи духовные. Время ничего не прощает, оно безжалостно, оно неизменно проходит, и тогда ты теряешь все… и тогда ты теряешь память. Меняешься ты сам, меняются и твои вкусы и привычки: теперь ты носишь рубашку с длинными рукавами, никогда не видишь солнца, скрытого густой кроной деревьев, не видишь неба, так похожего, наверное, на небо Леона. В горах не видно ни луны, ни солнца, ни звезд — кругом лишь одна зелень. Кожа на твоем теле страшно бледнеет, исцарапанные руки уже не похожи на руки; они становятся грубыми и шершавыми оттого, что ты их не моешь, кожа грубеет, потому что ты часто держишь в руках мачете или топор, постоянно подтягиваешь лямки на рюкзаке, или вешаешь гамак, или снимаешь горячий котел с огня. Там, в горах, ты не увидишь своего отражения в зеркале; впервые я увидел свое лицо в зеркале примерно через пять месяцев после того, как ушел в горы. Я просто не узнал себя. У меня выросли усы, начала отрастать борода, а ведь раньше я и не собирался отпускать ее. Выражение моих глаз тоже изменилось. На лице появились глубокие морщины. Брови мои были сильно нахмурены, челюсти крепко сжаты, потому что человек плотно сжимает губы, когда он поднимается в горы… Так вот, когда ты смотришь в зеркало, то понимаешь, что ты уже не тот, что был раньше. Теперь ты находишься по ту сторону воспоминаний, ты уже стал другим. Тебя постоянно преследует тревога, ты чувствуешь, как врастаешь в среду, которая повелевает тобой. У тебя как у личности ничего не остается, кроме воспоминаний. Ты бережно относишься к ним, лелеешь и хранишь их в самой глубине души, и они придают тебе силы, поддерживают в тебе огонь.

Воспоминания — это самое интимное, что есть у тебя. Ты стараешься дать пищу своим воспоминаниям, освежаешь их в памяти, лежа ночью в гамаке и беспокойно ворочаясь.

А когда ты получаешь письмо, подобное тому, что написала

Клаудия, воспоминания блекнут, разрываются на части, словно рвется единственная, невидимая нить, которая связывала тебя с прошлым. Получив письмо, я почувствовал себя страшно одиноким. И прошло какое-то время, прежде чем я нашел в себе силы отправить Клаудии письмо, которое закончил стихами о том, что не собирался умирать в связи с тем, что произошло, что сегодня наша борьба — главное дело жизни, что, если бы не «СВОРИС» (начальные буквы нашего лозунга «Свободная родина или смерть»), моя жизнь не стоила бы и ломаного гроша. Если бы смыслом моей жизни не была бы борьба за освобождение Никарагуа, я бы просто превратился в дерьмо.

20

К счастью, этого не произошло. Однажды рано утром я вышел из амбара и отправился на кофейную плантацию, чтобы умыться в овражке. Я умылся, причесался, уселся под апельсиновым деревом и стал высасывать сок из апельсина. Ножом я снимал кожуру, и ее кусочки падали на землю. Меня вдруг охватило странное ощущение — показалось, что подобно кожуре с апельсинов от моих пальцев отделяются кусочки кожи. Об этом страшно было и думать. И только когда я закончил очищать апельсин, я почувствовал некоторое облегчение, почувствовал, что мне становилось легче. Мне даже показалось, что будущее замаячило впереди, замелькало на кончиках пальцев, что достаточно лишь сжать руку в кулак, чтобы ухватить его, это будущее. Я сказал себе: у меня теперь все в будущем, я построю новую жизнь и окрашу всю историю своей жизни в свой любимый цвет. Мы попросили. Хильберто найти Моисея Кордобу и передать ему, что вечером мы придем к нему. Местные жители в какой-то степени уже привыкли к нашему присутствию, поняли, наверное, что это не так уж опасно. В эту ночь мы добрались до скалы, удобной для ночлега. На следующий день нам принесли горячей фасоли, лепешек, курицу. Разумеется, мы долго говорили с Моисеем. Я просил Моисея отвести меня к его отцу, старому сандинисту. Пока Моисей обдумывал, как лучше это сделать, я устанавливал контакты с другими людьми, с которыми познакомил меня Моисей. Кордоба испытывал меньше страха, чем другие, а может, он лучше других представлял себе, что мы за люди, к тому же он прекрасно понимал, о чем идет речь, потому что еще до нашего прибытия отец рассказывал ему о борьбе Сандино.

В тех местах я побывал в трех домах, познакомился со многими людьми. Объем моей политической работы значительно возрос. Семья Моисея Кордобы пользовалась особым уважением среди населения, и то, что они меня приняли в свой дом, привело к тому, что другие люди меньше стали бояться меня. Если уж семья Кордобы сделала так, то и другим, значит, можно было поступать так же. Днем я находился на скале, на краю ущелья, а когда темнело, спускался в дом Кордобы. Ночами на ранчо за несколькими чашечками кофе, за длинными разговорами мы решали наши будничные проблемы, и одновременно с этим крепла наша дружба. Укрепив отношения с местными жителями, я все чаще направлял разговор в политическое русло. Сначала я спрашивал людей, принадлежит ли им земля, на которой они

живут, и ответ всегда был отрицательным. Они отвечали, что земля принадлежит богатым людям, или просто смеялись над моими вопросами, воспринимая их как шутку, а порой низко опускали головы — ведь владение землей для крестьян оставалось несбыточной мечтой. Об этом мечтали их отцы, деды и прадеды, но никогда земля не принадлежала ни им, ни их отцам, ни их дедам. И мы вели среди крестьян серьезную политическую работу, стараясь популярно и доходчиво разъяснять им, в чем причина такого положения и можно ли добиться каких-либо прав. Помещики, их отцы, деды и прадеды постепенно отбирали у крестьян землю, и нынешнее поколение крестьян уже не имело права на земли, которыми когда-то владели их предки. Помещики захватили все земли. Теперь крестьяне вынуждены были засевать земли, арендуемые ими у помещиков, и продавать тем же помещикам урожай. Разумеется, соль, материалы, мачете, лекарства и прочее крестьяне также вынуждены были покупать у помещика.

Я брал крестьян за руки — а руки у них были тяжелые, сильные и грубые — и спрашивал их: «Отчего у вас эти мозоли?» И они отвечали, что мозоли от мачете, от постоянного соприкосновения с землей, работать на которой им приходилось денно и нощно. Я пытался заставить их поверить в то, что и от них зависит воплотить в жизнь свои мечты, а для этого нужно бороться не щадя жизни и постоянно подвергая себя риску.

У нас иногда от горечи душа просто разрывалась, когда мы слушали, с какой болью и любовью говорит крестьянин о земле, с которой неразрывно связан. Не всякий городской житель поймет и оценит эту любовь. А крестьянин и земля — это единое целое. Он говорит о ней как о чем-то святом, как о любимой женщине: «Она у меня обязательно будет рожать; я ее обязательно возьму…» С большой любовью относится крестьянин к тому клочку земли, который помещик выделил ему для обработки… Он старательно ухаживает за землей, очищает ее от корней, засеивает, собирает урожай…

Просто так, на словах, мы никогда крестьянам не обещали земельной реформы, мы никогда этого не делали! Мы призывали крестьян самих активно бороться за проведение земельной реформы. Мы призывали их бороться за землю, а для крестьян это было самым большим утешением. Отказаться от этой борьбы крестьянину, если он всем своим существом понял необходимость такой борьбы, было невозможно.

В крестьянине, как мы часто говорили, удается развить повышенную чувствительность, в особенности применительно к земле. Самое страшное преступление, которое совершила

диктатура, состояло в том, что она лишила крестьянина земли. Без земли крестьянин — ничто, это просто живой труп. Без земли он мучительно страдает.

Именно поэтому жена и дети, земля и животные в поле — это все неделимое целое для крестьянина, это его вселенная. Поэтому-то я и говорю, что крестьянин без земли — это человек без души. Душа крестьянина — это земля, а земля — это его жизнь.

После продолжительных бесед с людьми, часов в девять вечера, я возвращался на скалу, где обычно ночевал, и ложился спать. Конечно, сразу же заснуть мне не удавалось — мешали собственные мысли, ночные шумы, иногда лай собак на ближайших ранчо, музыка по радио… Помнится, в одну из ночей, проведенных на скале, с особой грустью я подумал о матери. Как-то ей живется? Наверное, думает вот так же обо мне, и, может быть, тоска сжимает ей сердце. Когда я находился на подпольной работе в Леоне, помню, меня вдруг охватило страшное желание узнать, как живет моя семья. Я спросил у товарищей, что они знают о ней. Но кто мог ответить на этот вопрос? В голове моей крепко засела мысль навестить мать, ведь «убежище» мое находилось примерно в пятнадцати кварталах от моего дома. Пятнадцать кварталов на машине — это примерно пять минут, от силы десять. Желание увидеть дом, маму становилось все сильнее. Моя маленькая комнатка, постель, кухня, столовая, деревянные стулья, дворик и собака — это было то, чего мне сейчас так не хватало. Мои родные и близкие, мой дом — все это было совсем рядом, и мне казалось, что я могу спокойно зайти к себе домой; если бы я попросил разрешения у руководства, мне обязательно разрешили бы это сделать и даже постарались бы организовать эту встречу. Но я понимал, что не должен, не имею права просить разрешения на это. Зачем навлекать опасность на родных, на товарищей?! И все же… Как-то вечером, когда Ивану Монтенегро, Хорхе Браво и мне предстояло выполнить одно поручение в горах, я сказал Ивану: «Послушай, давай проедем мимо моего дома». «Да, конечно, — ответил он. — Проедем на обратном пути, не останавливаясь». Я занервничал. Мысли о доме не выходили у меня из головы, а в горах я потерял всякую надежду снова оказаться возле моего дома. Мы уже и не думали, что нам вообще удастся вернуться… И вот выехали мы на нашу улицу, и я увидел знакомые дома с облезлыми стенами и дверями… «Боже мой, — сказал я себе, — именно здесь остановилась диалектика, и остановилась, как видно, навсегда». Когда мы ехали мимо моего дома, через окна я заметил знакомую мебель, и странное ощущение нереальности охватило меня.

Порой тебе кажется, что в твоем сознании преобразуется целый мир и сам ты меняешься в этом мире; а иногда кажется, что там, где тебя нет, жизнь вообще останавливается. Одно было очевидно — мой дом в Леоне и сам город существовали независимо от меня; моя мать и братья продолжали жить, есть, спать, работать, но уже без меня… Только бы все они были живы! Ведь с тех пор как я ушел в подполье, миновал год. Правда, внешне дом совсем не изменился, остался таким же, как и прежде. Именно это и сбивало с толку, нарушало восприятие и не давало возможности определиться во времени и пространстве. Я пытался заглянуть в себя, чтобы разобраться во всем. Казалось странным — мой дом с той же мебелью, те же самые бобовые деревья, те же знакомые лица жителей квартала нисколько не изменились и вместе с тем стали иными — какими-то неземными, странными, словно они находились в совершенно другом измерении. Что они могли знать обо всем, происходящем за пределами их дома? Могли ли они понять, какие страдания приходилось испытывать нам, борцам за свободу?! Что они вообще знали о нас? Настоящее и будущее словно смешались во мне. Мне было совершенно неясно, в каком времени находился я сам. Если это прошлое, то передо мной действительно стоял мой старый дом, а если это настоящее, то как я мог видеть перед собой свой старый дом, ведь я не жил там, я находился в совершенно другом мире и решал совершенно другие проблемы. Постичь этого я никак не мог, но все мои чувства и ощущения были просто нелепостью, потому что два времени — прошлое и настоящее — не могли слиться воедино…

Машина ехала без остановки, и я почувствовал, как что-то цеплялось сзади, пыталось остановить меня. До моего сознания дошло, что это мое настоящее, которое уже не могло быть настоящим и превратилось в прошлое. Но возвращаться в прошлое я не собирался, потому что это уже был не мой мир, не моя жизнь. Какую же боль я внезапно почувствовал в сердце! Никогда прежде я не подозревал, что это неожиданное и мощное столкновение настоящего с прошлым, этот разрыв, в котором как бы начинаешь постепенно понимать, что в тебе пробуждаются новые качества, вызовут такую боль. Помню, я молчал всю дорогу, стараясь понять все эти противоречия, иными словами — всю абсурдность этой ситуации. Вот тогда-то во мне проснулась особая ненависть к буржуазии, к американскому империализму, к гвардейцам Сомосы, потому что они были причиной всего абсурдного, что теперь происходило со мной. Мы жили в обществе абсурда, и сама жизнь была абсурдом, и мы были вынуждены делать вещи, которых в обычных обстоятельствах

никогда бы не делали. Иными словами, общество абсурда вынуждало нас совершать абсурдные поступки. Поглощенный этими мыслями, я в ту ночь сразу же заснул, забыв выключить радиоприемник.

Утром появился Моисей Кордоба и принес нам завтрак. Он обычно приходил один, но на сей раз мне показалось, что с ним кто-то идет. Мы с Андресом забеспокоились и, положив рядом с собой пистолеты и гранаты, приготовились оказать сопротивление, но когда я хорошенько присмотрелся, то увидел, что следом за Моисеем шел какой-то старичок. «Это, наверное, отец Моисея», — догадался я. И действительно, Моисей подошел ближе и сказал: «Хуан Хосе, вот мой папа…» Старичок улыбнулся и протянул мне руку. Теперь я хорошо разглядел его: худенький, невысокого роста, с вьющимися волосами, загорелое лицо в морщинах. Одет он был, наверное, в одну из самых лучших своих одежд, словно шел на праздник. «Как поживаете?» — спросил я. «Я болен и очень стар, — ответил он. — Знали бы вы, как болит у меня желудок, к тому же и видеть я стал плохо. Чувствую я себя ужасно, без палки ходить не могу, а если иду на кукурузное поле, то не задерживаюсь там надолго, а очень быстро возвращаюсь домой… А что это за оружие? — вдруг спросил он. — Пистолеты?» «Это очень надежные пистолеты», — ответил я. Он уверенно и со знанием дела заявил: «Эти штуки прекрасно стреляют, просто прекрасно…» Старик становился все более разговорчивым, а я подумал о том, что он, наверное, испытывает особое чувство радости по поводу своей сопричастности делам Сандино, созиданию истории. Старик начал рассказывать о том, как был связным у Сандино, о Пабло Умансоре, генерале Эстраде, Педро Альтамирано, Хосе Леоне Диасе, Хуане Грегорио Колиндресе; он много говорил о том, что воевал вместе с ними, вспоминал даже некоторые подробности, а я очень сожалел, что в тот момент у меня не было под рукой магнитофона, чтобы записать этот интересный разговор. Потом старик сказал: «Послушай, Хуан Хосе, я не могу сопровождать вас. Я уже стар и ни на что не гожусь. Сам я просто не выдержу даже легкого перехода, но у меня много детей и племянников, и я отправляю их с вами, потому что у нас должна быть большая сила и нельзя позволить гвардейцам расправиться с нами». Слушая его, я испытывал разные ощущения: мне вдруг становилось то горько, то радостно, то просто грустно. Я отчетливо представлял себе, как трудна дорога, по которой мы шли: гвардейцы постоянно преследовали нас, жестоко расправлялись с нашими людьми. Одним словом, времена были очень тяжелые, много наших людей погибло в районе Окоталя, все радиостанции сообщали о гибели

партизан, гвардейцы располагали самолетами, вертолетами, тысячами солдат, а этот вот далеко не молодой человек собирается участвовать в предприятии, которое в тот момент казалось просто опасной авантюрой, справедливой, но довольно рискованной! Трудно было себе вообразить, что после всех репрессий, гибели множества людей, после стольких неудач и поражений, выпавших на долю партизан в борьбе, которую вели сандинисты во главе с Сандино, этот старик мог сказать, что если бы он не был стар, то обязательно пошел бы со мной к партизанам!

Аугусто Салинас Пинель рассказал мне недавно, что дона Бачо Монтойю гвардейцы убили по доносу одного негодяя. Они схватили дона Бачо рано утром. Жена его в это время варила кофе, и, когда лейтенант крикнул ей: «Эй, старая дура, выходи на улицу!» — старушка ответила ему: «Вы сами подойдите, негодяй!» Затем она схватила кувшин с кипящей водой и вылила воду на лейтенанта, ошпарив его с головы до ног. Гвардейцы жестоко избили дона Бачо и его жену, разгромили ранчо, затем выволокли из-под развалин дома трехмесячного ребенка и стали подкидывать его кверху, а когда ребенок падал на землю, они подставляли штыки. Это был настоящий пир стервятников. Дон Бачо (какой же радостью светилось его лицо, когда мы с ним встретились в первый раз!) навсегда остался в нашей памяти — мужественный, добрый, красивый, непримиримый. Настоящий сандинист!

И теперь, слушая старого Леандро Кордобу, я сразу же вспомнил дона Бачо и подумал, что дон Леандро и дон Бачо очень похожи. Оба они — участники борьбы сандинистов против эксплуататоров, против господства американского империализма. После гибели генерала свободного народа Сандино сандинисты оказались в изоляции, но они стали воспитывать своих детей в лучших традициях Сандино, культивировать в них ненависть к янки, захватившим нашу территорию и унижавшим население. В этих босых и нищих людях, какими были простые жители Никарагуа, было потрясающе развито чувство национального достоинства и любви к своей родине. Сандинистский фронт национального освобождения воспитывал в своих членах революционную решимость, твердость, чувство собственного достоинства и желание борьбы. Это было историческое наследие, то самое сокровище, которое нам удалось обнаружить в недрах нашей истории. Именно так поступил и Карлос Фонсека: он взял за основу нашу историю, решимость народа, его страстное стремление к свободе и справедливости. Именно этот исторический опыт и передавал Карлос Фонсека новым

сандинистам. Ведя с нами и с молодыми сандинистами политическую работу, наши руководители стремились научно обосновать исторические традиции борьбы Никарагуа за свое освобождение, пытались определить истоки решимости народа Никарагуа и сильно развитого в нем чувства собственного достоинства.

Не знаю, как это произошло, но, когда дон Леандро начал говорить об этом, о Сандино, о борьбе сандинистов, мне подумалось, что дон Бачо и дон Леандро — отцы моей родины. Я почувствовал сыновнюю привязанность к сандинизму, сыновнюю любовь к Никарагуа. Совсем недавно я был всего-навсего студентом, знакомым с Сандино только по книгам. О Сандино я узнал, изучая историю сандинистского движения, но до самых корней нашей истории мне добраться тогда не удалось. А теперь, когда я встретился с таким человеком, как дон Леандро, у меня проснулись к нему сыновние чувства и я почувствовал себя сыном сандинизма, сыном истории, я понял, что теперь у меня есть настоящая родина, ради освобождения которой я иду на борьбу. У меня появилось страстное желание обнять дона Леандро и расцеловать, потому что благодаря ему я ближе познакомился с историей своей страны, с ее традициями. Никогда раньше я не осознавал с такой остротой и ясностью, какие крепкие узы связывали меня с Сандино. Я нежно обнял дона Леандро и почувствовал, что теперь прочно стою на земле и больше не витаю в облаках, что я пускаю в нашей земле, в нашей истории глубокие корни. Я почувствовал себя непобедимым. Прощаясь, мы крепко пожали друг другу руки. Помню, я двумя руками взял его руку и сказал: «Мы скоро встретимся». Тогда он ответил мне: «Да, конечно. Правда, я уже очень стар, но с вами будут мои дети».

Август — ноябрь 1981 года.

Перевод В. Г. Максимова.

Манлио Аргета
ДЕНЬ ИЗ ЕЕ ЖИЗНИ
Повесть

ПОЛОВИНА ШЕСТОГО УТРА

Каждый божий день в пять утра я уже на ногах. С петухами просыпаюсь. А услышу, как пичуга со свистом по темному небу скользнет, — встаю.

Это кларинеро[2] пролетает над ранчо и будто подает сигнал: «Пора-пора!» Меня-то будить не надо. Но кларинеро — птаха ранняя, шумливая — кого хочешь поднимет.

Когда мне вставать, я и сама знаю, но на всякий случай могу и проверить себя. Стены моего ранчо из тиуилотовых жердей; этих деревьев, тиуилоте, у нас растет много, стволы у них длинные, но жерди из них очень ломкие, а потому в стенах всегда много щелей. И все же материал хорош: прожорливые термиты-комехены его не едят. Иное дерево насквозь источат, никак от них не избавишься, в одном месте выведешь — они в другом тут как тут. Так и жрут, пока не погубят балки и столбы. Без крыши над головой недолго остаться.

Вот в щели между жердями я и подглядываю за ночью.

Когда долгое время спать ложишься под одной и той же крышей, все вокруг, что бы это ни было, становится каким-то близким, родным. Люблю смотреть на рассвете в небо, когда ночь уходит, а день ее настигает. Вот в одну из щелочек заглянет первая утренняя звездочка. Робкая, но игривая. Блеснет и тотчас же исчезнет, а затем уже заиграет вовсю. Но пока до щелочки не доберется, ее не увидишь. Утренние звезды, словно луна или солнце, по небу гуляют.

Вот свет приблизился к хорошо знакомой мне щелке. Значит, четыре, и я, понятно, уже проснулась, хотя вставать не хочется, рано. Обычно лежу в полудреме, прижавшись к Хосе грудью, если холодно, или спиной, если жарко, и смотрю, как по небу плывут облачка, похожие то на скорпиона, то на плуг, то на красивые белые цветы — глаза святой Лусии, то еще на всякую всячину.

Вот снова птичка летит. Опять кларинеро. Сам себя выдает: «пио-пио». И в лучах зари перышки у него так и горят, переливаются. Люблю на кларинеро глядеть, когда он летит и посвистывает. Много всяких птиц пролетает на рассвете, но кларинеро ни с одной не спутаешь — выделяется среди других своими иссиня-черными сверкающими перьями.

Но вот небо алеть начинает, словно разлилась кровь убитой птицы. Из-за холма поднимаются первые солнечные лучи. Яркие, они сначала искрятся, словно головешки в темноте. Ну как тут не скажешь: «Красота-то какая! Получше мантии пресвятой девы!» Понемногу небо светлеет, делается прозрачным, как вода в

колодце, когда в ней отражается полуденное солнце. Как на ладони все видно. А в самой глубине облака плывут.

Каждый день любуюсь я такими картинами. Запомнились они с самого раннего детства, когда мне еще лет восемь или десять было. В ту пору я про Хосе узнала.

Меняли в стенах жерди, а небо не менялось, не менялись и щели между жердями, и утренняя звездочка, за которой я всегда слежу. Да и сама я все такая же.

Как сейчас помню, сижу я за плетнем, разглядываю свои остренькие, будто птичьи клювы, грудки и слышу: «Донья Рубения! Лупе-то у тебя с каждым днем все краше!»

Он на меня обратил внимание, когда я совсем глупенькой девчонкой была.

«Поздоровайся с доном Хосе. Ну не будь дурочкой. Ты что, язык проглотила?»

Вот с тех пор я и начала рано просыпаться и, вглядываясь в страшную ночную темень, думать о Хосе.

А когда развиднеется, мне веселее становится, кажется, будто листочки на дереве светятся. На самом-то деле я грустить не люблю. Правда, пугаюсь очень, когда мне про сумерки или про ночь говорят.

И вот эти слова тоже хорошо помню: «Я подумал, пусть мне подарят Лупе, она жалеть не будет. А мне поможет, одному трудно».

Помню, я вся зарделась от стыда, уже тогда я поняла, что значит «пусть мне подарят Лупе».

«Иди, иди, дочка. Не видишь, взрослые меж собой разговаривают», — сказала мама.

И я убежала в коридор, откуда было почти все слышно.

«Знаю, молоденькая она еще, но потому-то она мне и нравится. Хотя еще и девчонка, а уже как большая. Я ее не обижу».

И опять перед глазами встают знакомые картинки: взглянешь наверх — яркие точечки, словно искорки, как от петушка, когда его опаливаешь, летают. Облака все ярче алеют, будто раны кровью наливаются. Рана — она и есть рана. А ночь никак уходить не хочет, и от ее сырости я начинаю дрожать. Точно так же, как дрожат покрытые холодной росой листья тамаринда. Известно ведь: если холод заставляет дрожать другого, то и тебя забирает. Зубы начинают стучать, по коже мурашки бегают, в озноб кидает. Прочтешь молитву — глядишь, и приободришься немножко. А куда деваться-то? Страхов и есть страх.

В ту пору ты первый вставал. Я слышала, как ты по малой нужде шел под манговое дерево, как перед уходом доставал

мачете из чехла и, поплевав на пальцы, проводил ими по острию, пробуя, годится ли оно для работы.

А трусливой я все же была немножко, наверное, потому, что семья у нас такая. Росла я одна среди братьев. Опекая меня, они, сами того не желая, только страху на меня нагоняли. То и дело я от них слышала: «Смотри не ходи туда, не лазай сюда, вечером не выходи». Одним словом, нянчились со мной, ведь была я в семье единственной девочкой.

Вот и получилось — как увижу улитку, так в комок и сожмусь, особенно если она с рожками на голове и вся в зеленых пупырышках. На огород ночью и то заглянуть опасалась, так и чудилось, что из травы всякая нечисть вылезает…

Люблю я вставать на рассвете. На душе как-то весело. Это, наверное, потому, что я свет очень люблю, а особенно ранние сверкающие лучи солнца, которое в шесть утра выходит из-за зарослей, взмывает вверх по горам воздушным змеем и зажигает фонарики на зеленых листочках лимонных деревьев и тамариндов.

Здравствуй, день!

Надеваю темное платье — я все еще ношу траур по матери. Вообще-то мне нравится рисунок из черных горошин или цветочков на белом фоне, только обязательно черных. Такой обет я дала, когда мама умирала. У меня всего-то три платья. А черную юбку я ношу еще и потому, что грязь от поросят на ней не так заметна. Они ведь жмутся к тебе, когда их кормишь. Хотите верьте, хотите нет, но поросята — самая прожорливая животина; когда подкладываешь им корм, они толкаются, так и норовят пролезть один вперед другого.

Ну что ж, теперь к колодцу пора. С десяток ведер вытянуть надо: самим помыться, пойло сделать, ачиоте[3], которое в патио посажено, полить. С водой нам здорово повезло. У себя во дворе нашли, и совсем неглубоко. Колодец у нас одних только и есть. Остальные за водой на речку или в ущелье ходят, а на рытье колодца не хотят тратиться. Нам тоже было бы это не под силу, если бы не Хосе. Заметил он, что во дворе один клочок земли всегда сырой и травка тут круглый год зеленая, и говорит мне:

«Здесь вода, Лупе. Я зря болтать не буду».

А мне тогда еще подумалось: «Ну и пусть вода. Все равно на колодец денег нет». В нашем Чалате иметь воду во дворе вовсе не обязательно, река недалеко, а если из реки не хочешь брать, иди в ущелье.

«Тебе полегче будет. Ходить не придется».

Что верно, то верно. За водой тащиться все же порядочно, побольше километра будет.

«Мужское это дело», — говорила я ему раньше, когда приходила с кувшином за спиной от реки. Правда, ущелье ближе, но вода в нем не всегда чистая, особенно когда дожди начинаются. Да и опасно — вода с гор потоками катится.

«А чем ты мастеру за колодец платить будешь?»

Но Хосе сделал все сам, своими руками. Вода была совсем неглубоко, потому травка и зеленела круглый год.

«Поросятам с водой раздолье. Летом от жары не подохнут».

Уж если про воду, кстати и о мыле. Чего-чего, а мыла самодельного из плодов хабонсильо — мыльного дерева — у меня вдосталь. Мыло что маис, без него не проживешь. Не только вши, но и перхоть от него пропадает. Волосы мягкие, шелковые становятся. Гребешок легко скользит по ним, не ломается.

Раньше, бывало, Хосе говорил:

«В воскресенье я помогу тебе натаскать воды из ущелья».

Так вот мы вместе и наполняли врытую у очага бочку. А теперь я одна справляюсь. Работа не тяжелая. Четыре раза перехватишь веревку — и ведро наверху. Десять ведер вытянешь, и хоть бы что. Одним словом, с водой нам повезло здорово.

«Ну вот, а ты еще не хотела, чтобы колодец был».

Да разве я не хотела?!

А вот и кларинеро опять черной стрелой пронесся по золотистому небу. «Пио-пио», — кричит. Значит, уже половина шестого. Звездочки на небе в это время гаснут, остаются только самые большие и круглые.

Пора уж и кофе ставить, совсем рассвело. Куры с насеста попрыгали. Разгуливают по двору, камушки и скорлупу поклевывают. Кудахчут — маисовые зернышки просят. У петушков зобы надуваются. Все ожило под солнечными лучами. Из дома доносятся голоса проснувшихся ребят. Это они тебя вспоминают, в это время ты всегда их будил, пошлепывая легонько…

Съедят они по маисовой лепешке, запьют кофе и в новых сомбреро, которые Хосе им на рождество подарил, отправятся, захватив мачете, на работу в поместье. Даже нашу песенку запоют: «С насеста курочка сошла, на работу нам пора».

Такая вот и есть жизнь наша. Другой не ведаем. Потому и говорят, что мы счастливые. Не знаю. Слово «счастье» слышала, а что это такое? Откуда мне знать? Иногда мы веселимся, правда, но это совсем другое дело.

Принимаюсь за поливку. Хожу с ведром по огороду, поливаю лимон, горошек, перец, фасоль. А вот и побег сапоте. Никто это дерево не сажал, видно, семечко случайно обронили.

Теперь поросят накормить пора. Поросята — наша копилка к

рождеству, когда ребят приодеть надо. Поэтому всегда весь приплод и держим. Возни, конечно, с ними хватает, зато подработать можно. Особенно если дону Себастьяну, который на развилке живет, продать. Он тамали[4] со свининой делает.

«Упрямая ты, Лупе, поросята все кругом изроют, весь двор загадят…»

Хорошо еще, он не знает, что они в дом лезут, ларь с маисом взломать пытаются. Прожорливая скотина, что и говорить. Да ведь только на них и надеешься, когда придет день и попросят ребятишки рубашку или штаны праздничные купить. Отказать-то им не откажешь. На рождественской неделе все приодеваются. Каждый ждет подарка.

«Мое это дело. Я за ними хожу. А если туго приходится, так от этого никуда не денешься. Все равно ребятам что-нибудь да купить надо. Хотя бы свистульку глиняную».

И правда, покупаем мы им только свистульки. Дешевые они. А все равно сколько радости! Все рождество только и слышно: «фьють, фьють».

«Ну, дело твое, раз, по-твоему, без поросят не обойтись».

Это уж верно — дело мое. В ноябре по хорошей цене продать мясо можно. Часть выручки идет на игрушки. Другая — на книжки, тетрадки и карандаши тем, которые в школу пойдут. А старшим надо одежду купить, чтобы они как люди в воскресенье по улице пройти могли. Они уже тоже гордые, их в лохмотьях на улицу не выгонишь. Тем более, что они уже сами зарабатывают и все до последнего сентаво мне отдают.

Попозже, когда солнце выше поднимется, иной день я хожу на развилку за покупками. Всегда чего-то надо купить: то соли, то кофе, то гостинец какой вроде леденца, молока кокосового или пастилок. Ребята любят это, особенно когда усталые после работы приходят. Только маис нам покупать не надо. Своего на год хватает и даже остается несколько фунтов соседям на продажу.

От дома до развилки, наверное, с километр будет. Там у дона Себастьяна лавка. Он нам в долг дает, и цены у него поменьше, чем в городе. Хосе каждый месяц ездит в город, чтобы купить то, чего нет в лавке у дона Себастьяна: соду — маис варить, лекарство от живота какое. Одним словом, что нужно и что лучше привезти из города.

Перед тем как уйти, я ставлю фасоль на огонь и на всякий случай набираю еще несколько ведер воды. Днем пригодится. Все это я делаю, пока младшие еще в школе. А которые постарше — с отцом в асьенде работают или плантацию расчищают, сажают что-нибудь.

В эту летнюю пору только и работы что поля расчищать,

землю к посеву готовить. Раньше не так делали. Поджигали стерню, и все тут. Но потом приехали какие-то городские и сказали, что огонь землю губит, что лучше ее вручную очищать от сорной травы и стерни. Нам-то от этого только лучше, можно заработать побольше. В эту пору все, что убирать нужно, уже убрано и землю под новый посев пора расчищать. Дело выгодное. Асьенда рядом, да и хозяин, как говорит Хосе, подходяще платит.

«Я хочу, чтобы все наши дети обучились грамоте, чтобы им не пришлось, как нам, батрачить, чтобы они не мучились, как мы, особенно в мертвый сезон, когда малых кормить нечем, чтобы они не только на фасоль и рубашку к страстной неделе могли заработать».

Дети — наша надежда, наша опора в старости. По крайней мере будет кому руку тебе протянуть, если у тебя уже сил работать не станет и ты всем будешь помехой, только и останется, что подохнуть. Совсем другое дело — когда у тебя дети есть.

Я согласна себя не жалеть, лишь бы ребятишки могли в школу ходить, лишь бы они не остались неучами, которых все обманывают. По правде сказать, мы, родители, можем каракули выводить и даже подписаться можем, только чтобы не значиться в документе неграмотными. «Читать умеете?» — «Да». — «Писать умеете?» — «Да».

А на самом деле читаешь по складам, да и то не все разберешь. Вот уже несколько лет, кроме надписей на пакетах в лавке, я ничего не читаю. А эти надписи я наизусть знаю. Бывает, конечно, взгляну на цифры и буквы, которые ребята пишут, когда уроки делают.

А вот Хосе, который дома почти не бывает, наверное, и по слогам не прочитает. Но я его даже не спрашивала, не разучился ли он читать. Да и надо ли ему это? Ему бы только мачете в руки. Так вот он и живет.

Мои родители только в первый класс меня в школу и посылали. Не потому, что не хотели, нет — семья большая, детей много, а девочка только я одна. Надо было маис варить, зерно молоть, лепешки печь, носить их братьям в поле, где они работали. Братья мои вместе с отцом как проклятые с утра до ночи спины гнули. То урожай собирали, то поля расчищали. А нам с мамой дела по дому оставались.

Нас всех четырнадцать было: мама с папой, одиннадцать братьев и я. Да еще трое умерли от родимчика. И до года все трое не дожили. Дети умирают маленькими. Косточки у них еще мягонькие. Чуть недосмотришь — рвота. Вот ею они и захлебываются.

Священник говорил нам, что дети в рай попадают. Мы и

успокаивались. Всегда и во всем с ним были согласны. Одна только была забота: чтобы дети один за другим не умирали.

БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ШЕСТЬ

Однажды мне камень в лягушку бросить захотелось. Тут-то я и поняла, что, такое голос совести. Хорошо все помню, двенадцать мне тогда исполнилось, и я перемену уже почувствовала в себе, женщиной стала.

Подошла я, замахнулась и хотела было бросить, как вдруг слышу голос совести: «Не кидай в лягушку камень. Что она, бедняжка, тебе сделала?»

Я так и замерла на месте. Чувствую, будто чужой это голос, откуда-то изнутри идет. Напугалась и подумала, что это, верно, наказание божье. «Это грех», — говорит мне голос. Пальцы мои ослабли, камешек выпал из руки и, чуть по затылку меня не стукнув, прокатился под платьем по спине. А рука так и осталась вверху.

Голос этот всегда с нами. Даже когда спим, он что-то говорит нам, предостерегает нас. Потому мы и всхлипываем во сне по-настоящему, словно наяву. Голос совести — это и есть сон. Вернее, не сон, он только похож на сон. Во сне мы все в розовом цвете видим. А голос совести — он суровый, приятного в нем мало. Таким голосом всегда выговаривают: «Этак не делай, делай так, это грех, нельзя».

Когда камень упал позади меня, лягушка высоко подпрыгнула и нырнула в зеленую лужу. Напугалась я, конечно. И опять слышу голос: «Бросишь камень в лягушку — она тебя молочком обольет и кожа у тебя ссохнется, будет такая же, как у лягушки, грубая, сморщенная». Выходит, голос совести советы добрые дает, даже если и не просишь.

Хорошую он мне службу сослужил, этот голос, когда Кадэхо[5] обернулся. Понадобилось мне как-то в лавку к дону Себастьяну за шнуром сходить. Гамак мы чинили, а шнур кончился.

«Сходи купи, а то я что-то устал очень, — сказал мне Хосе. — Да поспеши, поздно уже».

Промокнула я пот полотенцем и побежала на развилку.

«На ночь глядя пришла, дон Себас».

Но шнура у него не оказалось.

«Погоди, Лупе. Возьми вот этот фонарь, а завтра мне его пришлешь. Не дай бог в темноте оступиться да ногу поломать».

Я еще спросила, сколько же у него фонарей и как сам он без света останется.

«Ничего, мы уже ложиться спать собираемся», — ответил он.

Я поблагодарила и хотела скорее домой бежать, да как не

поболтать с женой дона Себастьяна? За разговорами и не заметили, что совсем стемнело.

«Как хочешь, можешь фонарь и не брать. Только потом не говори, что я жадный».

Я еще, помню, подумала: «Фонарь-то все равно потухнет».

«До свидания, Конча!» — успела я крикнуть и помчалась во всю прыть.

«С богом!» — донесся ее голос, когда я уже почти добежала до дороги.

«Вот сейчас пригляжусь к темноте, — думаю я, — и горя мне мало».

А Конча кричит мне вслед:

«Смотри с дьяволом не повстречайся!»

«Что днем, что ночью на него нарваться можно», — успела я ответить.

Тут на меня такой страх нашел, что поджилки затряслись. «Пойду-ка я по траве, — думаю, — мягко, как по ковру. Да и ямок там нет, где трава сакате конэхо растет».

И вот тут-то вижу: прямо мне навстречу — огромный зверь. И говорит он человеческим голосом: «Не ходи по сакате конэхо!» Узнала я этот голос. Тот самый, которым совесть говорит. Но по запаху апельсиновых цветков поняла, что это голос Кадэхо. Он любит под апельсиновыми деревьями валяться, потому от него и запах такой.

«И чего этой собаке надо?» — подумала я, чтобы подбодриться немного. Хорошо ведь понимала, что это вовсе не собака. Но страх прошел. «Значит, — подумала я, — это добрый Кадэхо. На людей он страх не нагоняет, ему доверять можно». Говорят, если со злым Кадэхо повстречаешься, от одного вида его можно в штаны напустить.

И опять услышала голос: «Сверни в сторону!» Конечно, я тут же свернула. Он сразу же исчез. И только я несколько шагов по голой земле ступила, чувствую — под ногой что-то холодное. К счастью, успела отскочить вовремя, и ядовитая чинчинторе — а это была она — укусить не успела. Слышу, шипит где-то поблизости.

«Сгинь, окаянная!» — прошептала я да как припустилась бежать. А позади она все шипела. Видно, гналась за мной. «У, проклятущая», — подумала я.

Так что голос совести спас меня от змеи шипучей. Он и дорогу мне указал. Он все знает. И появляется неизвестно откуда.

ШЕСТЬ ЧАСОВ

Из Чалате мы. Наше селение неподалеку от Чалатенанго[6]. Песни у нас петь любят. И смеяться даже просто так — тоже. Почти все мы бедные, но за беду это не считаем, хотя и не согласны, что заслужили такое. Мы про это и не думаем никогда, потому что давным-давно, испокон веков, люди жили здесь точно так же. Ничего не менялось. Все мы друг друга знаем и друг другу ровня: и те, у кого повозка есть, и те, у кого, кроме мачете, нет ничего.

Возьмет иногда Хосе свою гитару да запоет такие наши песенки деревенские, что прямо за сердце берет. Или корридо[7] затянет: «И что стало со мной от любви твоей». Эту он любит больше других. А может, ее одну и знает.

Мы все любим наши деревенские песенки — слова у них красивые, понятные. А что и другие песни бывают, я потом только узнала. Это когда в нашу церковь городские парни со священником приехали. Они пели песни протеста — так эти песни называются.

Да, в последнее время все переменилось.

Раньше священники, которые приезжали мессу отслужить в часовне на развилке, только и делали, что все обещали. Говорили, чтобы мы не сокрушались, что на небо обязательно все попадем, что на земле надо жить тихо и скромно, что в царствии небесном обретем счастье. А на дела земные, житейские, дескать, нечего обращать внимание.

А когда мы говорили падре, что наши дети от глистов умирают, он призывал к смирению или упрекал нас, что не прочищаем каждый год ребячьи желудки. А сколько ни давай детям слабительного, они все равно умирают. Глисты кишмя кишат в них.

Когда мы приносили этих скелетиков с горящими глазами к падре, он нам говорил:

«Смирись, раба божья, молись да церковь святую оделять не забывай».

У меня один сын тоже вот так умер. Глисты его совсем съели, и поносом он изошел. Нам еще повезло — только одного и схоронили.

«Ну, что у твоего дитяти?»

«О падресито, понос у него, одной водой ходит…»

«Может, прокисшим молоком напоила?»

«Что вы, падре! Молока он совсем не пил».

«Тогда что же с ним?»

«Глисты, падре».

«Дай ему слабительного, а потом корми хорошенько. Чем его кормишь?»

«Днем отваром маисовым, а на ночь сладкой водой».

«Сколько, Лупе, твоему младенцу?»

«Девятый месяц, падре».

«Тогда ему уже и сыру дать можно, раз он молока не пьет. Вместо молока это хорошо».

«В лавке у развилки творог продают. Это все равно что сыр, да на такое у нас денег нет. И опять же хозяин моему Хосе говорил — мы-то и так без него знаем, — что от молока животы болят и что нехорошо ребят к молоку и мясу приучать».

«Это ему хозяин сказал?»

«Ну да, все про это знают».

«Ничего не поделаешь. На все воля господня».

«Окрестите его, падре».

«Но, дочь моя, ты же без крестного отца пришла».

«Падре, может, завтра не поздно? Я думала, что вы лекарство какое мне присоветуете. Хотела настоем чернобыльника живот ему промыть, да за этой травой в ущелье надо идти, а Хосе нет дома».

«Дочь моя, я сам сходил бы за чернобыльником, но он, знаю, не поможет. В таких случаях только глистогонное надо».

«А где, падре, нам взять глистогонное?»

«Это уж твоя забота, дочь моя. Приходи завтра с крестным. Окрестим раба божьего на всякий случай».

И наставлял меня падре, чтобы я не теряла веру в святую церковь, что Христос тоже много мук принял, а если ребенка спасти не удастся, он в этом не виноват, он обязательно окрестит сына, чтобы тот прямо в рай, минуя чистилище, попал. Что нам делать оставалось? Только соглашаться со всем. На все воля господня.

Не всегда мы оплакивали наших детей, потому что сердцем понимали: лучше умереть, чем всю жизнь мучиться в этой юдоли слез. Падре нас так завораживал, что мы про все забывали и не плакали. Я тоже по сыну не плакала. Значит, так нужно. Спасибо господу богу за то, что взял к себе моего сыночка. Прав отец святой, который раз в полмесяца приезжал в Чалате и утешал нас в страданиях наших.

«Хорошо, что принесла его. Слабое дитя».

«Да, падре. Окрестите его».

«Ясное дело, для того мы и здесь, чтобы спасать души. Надо бы тебе дитя пораньше принести. Он сейчас скорее на том свете, чем на этом. Поздно ты собралась. И не пришло тебе в голову, что

он по дороге умереть мог?»

«Когда вы в последний раз, недели две назад, приезжали, он совсем здоровенький был. Я и не думала, что он так вдруг занеможет».

«Все вы на потом оставляете».

«Нет, падре. Я уже и крестного нашла».

«Ну, ладно. Подожди меня здесь. После мессы займусь. Дитя еще потерпит».

«Спасибо, падре…»

И вдруг священники какими-то другими стали. Начали нас в кооперативы зазывать, чтобы помогать друг другу и урожай делить. Большое это дело — другим помогать, жить со всеми в мире, знать всех до единого, вставать до восхода солнца и идти вместе с сыновьями на работу, поросят откармливать и яйца по хорошей цене в городе продавать, а не отдавать за бесценок дону Себастьяну. Он-то жук хороший, его не проведешь.

Все в селении повернулось к лучшему. Проповеди и те другими стали, не как раньше, на каком-то языке тарабарском. Только и запоминали: «Dominus vobiscum!»[8] Но переделывали на свой лад: «Не донимайте нас, епископы, господь-то с вами, а не с нами».

Теперь во время мессы шутить и смеяться перестали, потому как священники нам глаза на многое открыли. Один из них все время повторял: чтобы рай небесный заслужить, надо бороться за рай земной. Мы понимали, что так оно, конечно, лучше. Но все же спрашивали, почему прежние священники заставляли нас со всем мириться. «Забудьте про старых священников», — отвечали нам молодые падре.

Но самым важным было то, что дети наши больше не умирали.

Не уберечь дитя — грех смертный. Теперь, чуть малыш заболеет, сразу бегут к падре. Да и сами-то священники стали чаще к нам в Чалате приезжать. Страх перед ними пропал. Раньше мы их боялись. Думали, что это колдуны какие-то, которые, если захотят, убить всех могут. Говорили они хриплыми голосами, грозили концом света или преисподней. Так и казалось, что летают они с места на место по воздуху в своих черных сутанах. И всегда-то они у нас курочек да маис выклянчивали. Отказать им мы, конечно, не могли — отказать священнослужителю в чем-нибудь грехом считалось.

«Падре, к страстной неделе курочку для вас откармливаем».

«Спасибо, Лупе. Но лучше один раз дать, чем сто раз пообещать».

«Вот я и говорю, чтобы вы знали».

«Да не в этом дело. Или принеси цыпленка в следующий раз, или забудь, про что говорила. До страстной недели еще четыре месяца».

«Тогда на рождество я вам поросеночка принесу».

«А что я с ним делать буду, дочь моя? Ведь в дом епископский, где все мы живем, мне его принести нельзя. Курочка — дело иное. Ты же можешь дать мне ощипанную».

«Хорошо, падре. Я вам поросятинку принесу. Только поджарить останется».

«Вот это другое дело. Но сама без мяса не окажись».

«Нет, падре, нет. Мне останутся ножки, голова, потроха да и кровь еще на колбаски».

«Твое дело, дочь моя. Я не могу заставлять вас приносить мне что-то».

«Да что вы, падре, для нас это радость».

«Передай Хосе, чтобы поросят хорошенько кормил. До рождества три недели осталось, пусть жирок нагуливают…»

Раньше священники страшнее ядовитой змеи нам представлялись. Упаси господи рассердить, обозлить кого из них. Такую мягкую тебе дорожку в ад постелют. Конечно, когда им это выгодно, они и добряками бывали.

«Послушай, Лупе, скажи Хосе: если он не придет к мессе, то потом пусть лучше отпущения грехов не просит».

«На работе он».

«Работает в воскресный день?»

«Ну да, падре. Уборка началась. Нельзя время упускать, пока работа есть».

«Значит, дома его нет?»

«Нет, падре. Ушел в Санта-Теклу. Раз в две недели появляется дома».

«И вы одни остались?»

«Он нас в январе заберет, когда сыновья смогут помочь ему кофе собирать. И я тоже пойду. Нечасто такое бывает, когда еще несколько сентаво подзаработать можно».

«Хорошо, Лупе. Возьми вот карамельки своим детям. Да пусть не едят все сразу. Давай им по одной, может, и до рождества хватит».

«Спасибо большое, падре».

«Да не забудь Чепе[9] привести. Скажи ему, чтобы ходил к мессе, раз он не масон».

После какого-то конгресса (что это такое и где он был, я не знаю) молодые священники, которые теперь стали чаще появляться в Чалате, сказали нам, что церковная служба нынче уже совсем другая. И верно, священники теперь приезжали в

обычных брюках, и мы поняли, что они из такого же теста, что и мы. Только одеваются получше. И голос у них нормальный. Курочек не просят, а даже наоборот — сами дарят нам какие-нибудь городские вещицы на память. «Возьми своему малышу», — говорили они, когда бывали у нас.

Они приезжали в наше селение, ходили в ранчо посмотреть, как мы живем. А ведь прежде священники по домам никогда не ходили. Все в часовне делалось. Подъезжали к ней на джипе, служили мессу, опять садились в машину и скрывались в пыли дорожной.

А новые священники ведут себя как друзья. Хотя они тоже на джипе до развилки доезжают. Они по домам ходят, расспрашивают, как живем, сколько в семье ребят, сколько зарабатываем и хотим ли жить лучше. Сначала не понимали мы таких разговоров. И слов многих не понимали. Но это до тех пор было, пока не создали первые кооперативы.

Стали мы зарабатывать побольше. Они нас учили, как хозяйство лучше вести, как яйца, кур и поросят продавать подороже. Конечно, мы и раньше кое-что умели. И дело не в том, что мы какие-нибудь простофили, а в том, что у нас никогда ничего лишнего не было. Какие там доходы? Заработанные деньжата тут же и уплывали. Правда, к концу года удавалось скопить немножко, чтобы купить игрушки для ребят. А что еще я им могла купить? «Пускай, Лупе, они рты от зависти не разевают, — говорила я себе, — когда видят у других хорошие игрушки».

Вот в это-то время и случилось такое, чего раньше никогда не бывало. В Чалате стали наведываться гвардейцы. А если национальная гвардия появилась — беда, каждый пулю схлопотать может. Стало быть, остерегаться надо. С гвардейцами шутки плохи, они люди строгие. Нельзя, например, ходить с мачете в руке — наверняка прикладом огреют или большой штраф платить заставят. А где бедняку взять денег на штраф?

Гвардейцы говорили, что незачем все время с мачете шляться. Ну а у мужчин наших привычка такая — без мачете ни шагу. Разве убедишь их, что если не на работу идут, так мачете брать не надо. А им как-то не по себе становится, если на руке мачете не висит. Начались всякие неприятности. Особенно по воскресеньям, когда мужчины гуаро[10] хлебнут. Гвардейцы люди строгие. Не церемонятся. Если какой шустрый за мачете схватится — живо прикладом усмирят.

И тот, кто им сопротивляется, понимает, на что идет. Национальная гвардия всегда порядок наведет. А кто не подчиняется, тех саблей или пулей успокаивают. Теперь если

находили убитого, то было ясно: это дело рук гвардейцев. В нашей округе раньше никогда людей не убивали. Люди в этих местах мирные, не задиристые и даже не пьяницы. Пропустят по глотку, и довольно. Головы не теряют. Хосе тоже изредка прикладывался, но понимал, что нельзя на это тратить монету, когда дома у тебя столько ртов голодных сидит, а еще он не пил много и потому, что в руководство кооператива вошел, сам решил. Так что о такими делами у меня забот не было.

«Ты куда, Чепе, опять с мачете?»

«Дров нарубить…»

«Смотри в оба. Гвардейцам на глаза не попадись».

«Похоже, они сегодня здесь не появятся…»

«Дай-то бог!..»

«Пронесет, Лупе. Не раз я от них уходил. Я их издали чую».

«Раз на раз не приходится».

И вот гвардейцы начали говорить, что священники нас надувают, вдалбливают нам в головы чужие идеи. Если раньше гвардейцы проверяли документы и обыскивали, нет ли мачете, то теперь им этого было мало. Теперь они в первую очередь стали нас спрашивать, не к мессе ли идем, про что нам говорят священники в своих проповедях. Вначале мы ничего не понимали. Почему, за красивые глаза, что ли, мы должны выкладывать им все начистоту? Если надо, пусть сами сходят и все собственными ушами услышат. Оказалось, что они просто запугать нас решили, чтобы мы поменьше в церковь ходили.

«Вот идем к мессе. А какой у нас падре хороший, сеньор гвардеец! Вы бы только посмотрели! Совсем не такой, как прежние».

Гвардейцы, наведя на нас автоматы, начали убеждать нас, что эти сукины сыны, которые к нам приезжают, и другие, которые где-то там сидят, просто сопляки в сутанах, что они сбивают нас с пути истинного, учат властям не подчиняться, потому в часовню лучше не ходить.

А когда по воскресеньям мы стали пробираться на развилку по зарослям, они там засаду устраивали. Выскакивали неожиданно из своего укрытия, документы требовали, расспрашивали, куда идем, не на мессу ли.

«Чтобы на священника поглазеть, эти сучьи дети принаряжаются, даже рубахи белые надевают. На это у них деньги есть. А вот детей своих накормить — так на это у них денег нет», — говорили они.

А мы делали вид, будто это нас совсем не касается. Знали, с кем дело имеем. Подлюги они хорошие. Если мы молчали, дело кончалось только руганью. Нас просто запугивали, чтобы мы в

церковь не ходили.

А нам-то что? Шли как все верующие. Правда, и Чепе и я не такие уж и верующие, но в часовне всегда чисто, красиво. Почему бы не сходить туда в воскресенье? Нам нравилось, как говорил падре, мы чувствовали, что начинаем кое-что понимать.

Свою злобу к священникам гвардейцы на нас срывали. Трогать падре они не трогали, где-то в глубине души у них все же таился страх. А почему? Да потому, что гвардейцы такие же, как и мы, католики и почти все из крестьян. Разница только в том, что гвардейцы учились, а мы нет. Они в школу ходили. Попасть в гвардейцы не так-то просто, учиться нужно. Потому они такие чванливые. Учились охранять порядок, заставлять людей исполнять законы. А законы всегда суровые. Они говорят, что только так всех и можно заставить законы соблюдать. Много ведь людей есть, которые по-хорошему, мол, не понимают. Говорят, что и мы только по-плохому понимаем. Как же это так? Я, например, никогда никому ничего плохого не сделала. И Хосе, и дети мои тоже. Мы люди честные. Честные до конца. Мы можем до кровяных мозолей работать, но взять чужое — это уж нет, никогда.

А священников они, гвардейцы, боялись. Боялись, потому что те не молчали и в проповедях осуждали темные дела, которые творились на дорогах, и напоминали гвардейцам, что деньги им платят не за то, чтобы над народом измываться.

Но с гвардейцев как с гуся вода. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Облавы теперь и средь бела дня проводят. Нас за людей совсем считать перестали. А потом они на самое худое решились. Мы прямо чуть со страху не померли, когда узнали, что за нашим селением у дороги полуживого священника нашли. Лицо так изуродовано, что узнать нельзя, тело исполосовано ножами. Кто-то из наших деревенских шел по дороге и вдруг слышит стон из оврага. Посмотрел и видит: человек лежит голый, в зад палка вставлена, а рядом на кусте сутана, в клочья разодранная, висит. И стонет, бедняга, еле слышно. Узнали мы про это и бросились бежать к тому месту. Вытащили его на дорогу поскорее и с попутной машиной в больницу отправили.

Вот тогда-то я и поняла, какие мы стали сильные. Никто из нас не запричитал, не заплакал. Только про себя каждый с болью в сердце подумал: несчастный. Такое и вообразить мы никогда не могли.

ДЕСЯТЬ МИНУТ СЕДЬМОГО

От церкви мы никогда ничего не получали, только давали ей. Давали, конечно, немного. Это точно. Священники утешали нас. Но нам и в голову не приходило винить их за нашу жизнь. Если у нас умирал ребенок, мы верили, что он в царствие небесное попадет. И у нас по крайней мере на душе было спокойнее. Священники наши всегда были толстенькие, холеные. Мы никогда их не спрашивали, счастливы ли они. Какое нам дело до чужой жизни, тем более жизни священника! Обещали они нашим детям кущи райские на небесах — мы им верили. Нисколько не сомневались.

А когда появились другие священники, мы тоже стали меняться. Ведь как хорошо узнать, что есть что-то такое, что правом называется. Право лечиться, право быть сытым, не голодать, право посылать детей в школу. Если бы не священники, мы бы так и не угнали, что такое на свете бывает. Они нам прямо глаза открыли. А дальше мы сами пошли, выучились на все по-своему глядеть. Молодой священник, которого на дороге изуродовали, больше не приезжал к нам. Потом мы узнали, что он за границу уехал, потому что его убить грозились.

Нам стало лучше, а другим хуже. Особенно хозяевам асьенд. Они ведь больше всех пострадали, когда мы свои права стали требовать. Теперь они тратили больше, а получали меньше. И еще одна штука. Узнав про то, что правом называют, мы перестали перед хозяевами головы опускать, когда они нас бранили. Научились смотреть им прямо в глаза и будто на несколько сантиметров подросли. Ведь, опустив голову, человек ниже становится, а когда он ее поднимет, то и дух у него поднимается.

Через несколько месяцев приехали новые молодые священники и опять то же самое говорить стали. Мы понимали теперь все больше и больше. Когда-то набожному Хосе не стоило труда подружиться со священниками.

«Надо в кооператив вступать, легче будет», — сказал он после встречи с одним из них.

У каждого человека много всяких зеленых надежд в душе, но бывает, что они и созревают.

«А с чем вступать будем, если у нас нет ничего?»

«Ну, хотя бы с поросятами, — отвечал он. — Курочек можно побольше завести. Каждое яичко опять под курочку».

Иногда в часовню городские парни приезжали и пели песни про бедных. Мы все больше и больше понимали, что нас обманывают, что правда совсем другая. Каждый должен быть

добрым, но добрый — это не значит покорный. И в памяти вставал молодой священник, падре Луна, которого гвардейцы чуть до смерти не забили. Если сотворили такое со священником, который только перед богом держит ответ, то что они с нами могут сделать? После вечерней молитвы на улицу стало лучше не показываться и, уж конечно, не ходить на развилку. Не потому, что до нее далеко, а потому, что гвардейцы там до семи с лишним вечера сидят, пока не уйдет последний автобус в Чалатенанго.

И не дай бог стопку опрокинуть в неурочный час. Понятное дело, что и Хосе раньше тоже изредка позволял себе промочить горло. А теперь бедняга мучился оттого, что не мог сходить на развилку и поболтать там немного со своими друзьями. У дона Себастьяна торговля хуже пошла. Посетителей стало меньше. Теперь дон Себас спешил поскорее отправить по домам мужчин и пораньше закрыть лавку.

После случая с молодым священником власти не появлялись в Чалате две недели. Знала кошка, чье мясо съела. Потом снова объявились. Начали с дома дона Себастьяна.

«Приезжал ли кто-нибудь из священников, сукин сын, в часовню мессу служить?»

Дон Себастьян не спешил с ответом. А что ему было делать? Хоть он с нас за товары и брал немало, но всегда был заодно с нами, бедняками.

«Видите ли, после того случая с падре никто больше сюда не приезжал. И часовенка, вон она, запаршивела. Люди даже близко к ней не подходят».

Гвардейцы, конечно, знали, что Себастьян здешний не нами заодно, а потому не поверили ему. Они решили его подловить:

«А кто, по-твоему, палку вставил этому священнику-коммунисту?»

Дон Себастьян пошел к стойке, чтобы налить в кружки имбирного газированного из бутылок, которые он открыл, и размеренно так ответил:

«Никто не знает, чья это работа».

А они не утихомирились, продолжали ловушки ставить вроде этой:

«Надо же, воткнуть палку в зад священнику! Ну и злодеи!»

Теперь у дона Себастьяна на раздумье времени не было. К стойке за имбирным уже не надо было идти, а ответа от него ждали… Тогда он, будто зевая, сказал:

«Возможно», — и отпил глоток имбирного.

«У тебя что, язык отсох?»

Дон Себастьян засмеялся, другого выхода у него не было.

«Все утро у меня зуб болел».

Тогда они начали пиво ему предлагать. Но он ответил, что на работе не пьет. А они опять свое:

«Мы же тебя угощаем!»

(«В таких случаях, — рассказывал потом моему Чепе дон Себастьян, — лучше дурачком прикинуться».)

«Дело не в расходах, а в том, что мне как хозяину лавки нельзя пить. Могу барыши упустить. Потому угощайте не угощайте, а выпить не могу».

(«Если бы я беспокойство выказал, они сразу же поняли бы, что я их за нос вожу, — заканчивал свой рассказ дон Себастьян. — С вами — другое дело, могу я выпить, а с этой публикой нет, не мог, потому что им выспросить каждого хочется».)

Обо всем этом мне потом Хосе рассказал.

«Видишь, Лупе, до каких пакостей доходят».

«Честных людей шельмуют», — ответила я тогда Хосе.

А в другой раз, когда я в лавке была, дон Себастьян снова завел разговор:

«Говорят, что коммунизм — это когда всякие идеи, в головы вбивают и что падре Луна был из самых настоящих красных».

«Вот не подумала бы!»

«Они говорят, что самое плохое — это коммунистические идеи… да еще в церковь лезть с политикой».

«А что такое «политика» и «коммунистические идеи», дон Себастьян?»

«Это когда говорят, что сначала нужно на земле жизнь лучше сделать, а потом о рае на небесах хлопотать».

(А Чепе мне так потом сказал:

«Вот, Лупе, как раз этого-то власти и не терпят! Священники рассказывают, что во всем хозяева виноваты. Хозяева понимают, что народ бунтует потому, что священники его просвещают. Власти считают, что красный дьявол завладел душами священников и что виноват во всем этом один из пап римских, которого вовремя отравить успели. А если бы не успели, то все католики уже давно были бы коммунистами».

«Раньше, — ответила я ему, — священники нам на небесах рай сулили. Им и дела не было, что наши дети умирали. Была у нас больница — хорошо. Не было ее — тоже хорошо».)

«И подумать только, что прежде священники из хозяйских вилл да из епископского дома никогда не вылезали. Только там и сидели. Появятся к мессе — и к друзьям своим обратно».

«Про что я тебе и толкую, Лупе. Я власти не выгораживаю. Дело в том, что на другую сторону многие священники перешли. Вот власти и бесятся, что они народ просвещают. Если бы

священники не вмешивались ни во что, ничего с ними не было бы».

«Христос учил: бедным помогать надо».

«Вот и получается, что они на хозяев насели, а те их на дух переносить не могут за то, что священники изменили своим благодетелям».

«Ну, дон Себастьян, вы вроде власти защищаете».

«Нет, Лупе. Я только тебе говорю про то, что они мне рассказывают, когда заходят сюда выпить. Ты же знаешь, что в друзьях я у них по необходимости».

МАРИЯ РОМЕЛИЯ

Я была со всеми, когда мы направились к банку за ответом на наше требование снизить цены на инсектициды и удобрения. Банк оказался закрытым. Только мы начали митинг, как вдруг кто-то закричал: «Разбегайтесь!» Ну мы и бросились кто куда. За нами рванулись восемь полицейских патрульных машин. Началась стрельба. Пулей мне левую руку оцарапало.

Добежали мы до места, где свои автобусы оставили, но их там не оказалось. Полиция угнала. Сан-Сальвадора мы не знали. Со мной братишка мой двоюродный был. Артуро его зовут. Никак отвязаться от него не могла: поеду с тобой, и все тут. Еще и пятнадцати ему нет, а такой настырный. Он мне говорит: «Надо в церковь идти, которая поближе». Кажется, это была церковь святого Хасинто. Но полиция на всякий случай, чтобы мы не могли в ней укрыться, уже ее заняла. Тут вдруг откуда-то появился автобус. Брат закричал: «Глядя, «Чалате» написано!» Мы побежали к автобусу. Повезло нам. Этот автобус недалеко от нашего селения проходит. «Садимся!» — сказала я брату. В автобусе народу было много. Сели и другие наши товарищи. Когда автобус тронулся, мы услышали, что над нами летит вертолет. Автобус остановится — и вертолет тоже повиснет. Через окошечки это хорошо было видно.

На каждой остановке какая-то компаньера высаживала группы людей. Она сказала, чтобы мы с Артуро выходили на следующей. Когда автобус затормозил, мы увидели полицейский патруль сзади, а впереди — кордон из охранников асьенды. Всем приказали выйти для обыска. А когда мы вышли, нас сначала поставили лицом к кузову, а потом велели поднять руки над головой в расставить ноги. Но обыскивать не стали. Начала стрелять. Мы бросились под автобус. Рядом засвистели пули. Когда стрельба поутихла, мы кинулись в автобус. Тогда полицейские закрыли дверь и застрелили водителя. Около автобуса с автоматом в руках стоял полицейский. Мы попадали на пол и на сиденья. Полицейские орали, чтобы мы не шевелились, иначе убьют. Потом они спять открыли стрельбу, на этот раз по окнам. На нас посыпались осколки стекол. Помню, мой братишка Артуро лежал ни жив ни мертв. Тут я почувствовала, что по правой моей руке течет кровь, и сказала компаньере: «Нам, пожалуй, лучше из автобуса выйти». Привстали мы на глазах у охранников и вместе с ней выскочили из автобуса. Почему-то по нас стрелять не стали. Оказавшись на дороге, мы увидели, что за автобусом по-прежнему стоит

полицейская машина, и услышали, что охранники из асьенды просят у сидящих в ней полицейских вызвать по радио другой вертолет. В это время с вертолета, который висел в воздухе, сделали по автобусу несколько выстрелов.

Вот тут я и увидела, что по обочинам дороги лежат в засаде люди с винтовками, нацеленными на автобус. Мы отбежали в сторону и, наткнувшись на охранника, сказали ему, что нам домой ехать надо, а сумку мы потеряли. Он спросил у меня, сколько мне лет. «Тринадцать», — ответила я. «А тебе?» — спросил он у компаньеры. «Пятнадцать», — ответила она ему.

Как раз в эту минуту подошел полицейский, схватил компаньеру за волосы и потащил к автобусу. Там еще двое стояли. Втроем они подняли ее и бросили через разбитое окно в автобус. К счастью, она каким-то чудом не поранилась о стекла. Вдруг она выскочила из автобуса и кинулась к обочине. И тут я увидела, что полицейские бросают в автобус гранаты, а из него валит дым. Наверное, это был слезоточивый газ. Потом в автобус швырнули еще одну гранату, и он начал гореть. Но люди из него не выскакивали, боялись угодить под пули. Тогда полицейские сами полезли в автобус. Опять затрещали выстрелы, из автобуса послышались крики. Я побежала к тому месту, где укрылась компаньера. Я все время окликала ее, но никто мне не отвечал.

Добежала я так до дороги, вижу — развилка рядом и ранчо вдалеке. Направилась прямо к нему и примерно через час была уже там. Встретила меня совсем седая старушка и спрашивает: «Что с тобой, доченька? Почему все платье в крови?» Тут я увидела, что на куче маисовых стеблей девочка спит. Присмотрелась, а это та самая компаньера. Представляете, как я удивилась и обрадовалась!

«Тише, не буди ее. Она все плакала, пока не заснула, — сказала мне старушка. — Хочешь, снимай свое платье, я его постираю, а пока прикройся вот этим». — И она подала мне шерстяное покрывало. Завернулась я в него и тоже прилегла на маисовые стебли. Только успела чуть задремать, вдруг слышу разговор. Старик рассказывает хозяйке, что здесь неподалеку яму копают, что два вертолета около выезда из Апопы расстреляли автобус, и что автобус загорелся, и что теперь останки погибших захоронить хотят в ямах.

На следующее утро компаньера сказала, что домой мне ехать нельзя, потому что так и руку потерять можно, рана-то ведь опасная. Вот она и решила отвезти меня в больницу. Я ей только ответила: «Тебе видней». А все потому, что уж очень я в нее поверила, будто в мать родную.

Оставила она меня в больнице и уехала. Только и успела я ее

спросить перед отъездом, откуда она, да еще про братишку Артуро спросила. О себе она ничего не сказала, а насчет Артуро ответила: нашли, дескать, труп пятнадцатилетнего мальчика.

Один из моих братьев тоже ходил к банку. Обратно он ехал на другом автобусе и видел, как горел наш. Конечно, он сразу же про меня подумал.

Домашние мои меня повсюду разыскивали, хотя это и трудно было. И в конце концов узнали, что я в больнице. Спрашивали и у брата: не видел ли он меня и Артуро. Он ответил, что нет, потому что ездил не с нами.

В больнице я десять дней лежала, мои домашние долго меня не навещали. Боялись. Все больницы и другие медицинские учреждения были под наблюдением. Власти хотели выявить родственников раненых. Только на восьмой день мои осмелились в больницу прийти. От них я узнала, что моего двоюродного брата Артуро не оказалось ни среди живых, ни среди мертвых.

Окрепла я немного, и мама взяла меня домой. Лежу в кровати, а она подходит и говорит:

— И за что, доченька, нам, беднякам, страдания такие? Работаешь, работаешь, а на кусок хлеба и чашку фасоли не заработаешь. Про одежду уж и говорить нечего.

А я ей отвечаю:

— Не горюй, мама. Мы боремся — значит, чего-то добьемся. По крайней мере, чтобы семена для посева нам давали и удобрения тоже, тогда и урожай хороший мы собрать сможем.

А она мне:

— Знать бы, сколько за это выстрадать придется. Не верится, что нам чего-то дадут. Все обман один. Сроду нам ничего не давали. Только тем и живем, что своим горбом заработаем.

Я ей возражаю:

— Не просить надо, а своих прав добиваться. Ведь правительство заявило, что банки должны нам кредиты давать на закупку семян и удобрений.

— Послушай, — говорит она мне, — ты такая маленькая еще, совсем ребенок, и пятнадцати нет, а тебе уже так тяжко приходится. Лучше бы я сама отправилась на эту чертову демонстрацию в Сан-Сальвадор. Что ни говори, а я уже старая, и ничего не случилось бы, если б я пулю схватила. А вот ты еще и не пожила на этой земле. Я думаю, единственное, что мы можем выпросить у правительства, так это жить на земле. Ведь бог нас для чего-то создал…

— Зря ты так волнуешься, — говорю я.

А она сердито:

— Вовсе не зря! Еще неизвестно, с рукой ли останешься.

— Не беспокойся. Всего-то царапина. Раз из больницы выписали, значит, опасности нет.

— А если бы без правой осталась, как бы на кусок хлеба заработала?

Мама уже ни во что не верит. Такой она стала с тех пор, как забрали отца. Он уехал в Илобаско работу искать. Там много работы, особенно когда ананасы поспевают. За это хорошо платят. Отца моего никогда дома нет. Он за работой гоняется. Где работа, там и он. Мы его почти и не видим, потому как он кормилец наш. Да и все мы только на еду и работаем. Каким-то чудом живы еще. Бывает, отец появляется раз в полмесяца. Последний раз, когда уезжал убирать ананасы, он сказал нам, что его не будет целый месяц, и добавил, обращаясь ко мне: «Веди себя хорошо и маме помогай. Постараюсь тебе отрез на платье привезти».

Никогда еще он так долго не отсутствовал. Потом сказали, что гвардейцы забрали его за то, что он возглавил группу крестьян, которые на демонстрацию к банку в Сан-Сальвадоре ходили. Но я его там не видела. Народу-то ведь сколько было! Где там увидеть?!

Мой отец состоял в крестьянской федерации. И однажды он сказал мне, что я, хоть еще и не доросла, все же могу в эту федерацию вступить — ума набираться. Ну я и вступила. Но на собрания ходила редко. Все больше помогала маме нянчить моих маленьких братьев. Мама нанялась в асьенду прачкой. Кому, кроме меня, дома за малышами присматривать? А все другие дела по дому? Вот и получилось, что, когда по воскресеньям из федерации приходили звать меня на собрание, мне всегда отказываться приходилось, потому что в этот день у мамы дел много было.

Случалось, что приходили очень хорошие компаньеры. Они говорили: «Пойдем с нами. Мы тебе поможем. Давай заберем всех малышей с собой».

Посадим мы их за спину и идем. Так вот мне и удалось вместе с малышами на собраниях бывать. Иногда они разревутся, людям слушать мешают. Неловко мне перед товарищами. Хоть плачь! Прошу, чтобы не брали меня. Объясняю, что ребята дома спят когда и сколько хотят, а здесь им не заснуть, потому и плачут. А товарищи свое: «Уложи их тут на полу». И сооружают что-нибудь вроде постели. Я даже прославилась тем, что с тремя малышами на собрания ходила. Одному было восемь месяцев, второму — два года. А старшей девочке пять лет. Она была спокойная и уже помогала мне. Носила тряпочки с вареным ячменем, которые малышам сосать давали.

Мама решила наложить на мою простреленную руку повязку

с листьями гуарумо. Накручивает она тряпку, а я ей говорю:

— Ой, мама, берегите себя с папой, одной мне по дому не управиться.

В это время кто-то постучал в дверь. Подошла мама в двери и оттуда кричит:

— Мария Ромелия, это тебя спрашивают!

— Пусть заходят, — отвечаю. И вдруг вижу компаньеру, с которой в автобусе ехала. Обрадовалась я.

— Каким ветром тебя в наши края занесло? — спрашиваю.

— У бабушки была. Она-то мне и сказала, что в селении есть одна раненная в руку. Конечно, я про тебя сразу подумала.

— Ты не представляешь, как нам досталось, — говорю я ей, а сама думаю, что, наверное, хватит про это, и продолжаю: — Моего двоюродного брата Артуро мы в покойники записали.

— Бедняга, — говорит она, — я даже не знала, как его зовут.

Тогда я ее спрашиваю:

— А как тебя зовут?

Выкладывает она апельсины и фигурные галетки, которые мне принесла, и говорит:

— Зовут меня Адольфина. Я внучка Гуадалупе Фуэнтес.

Тогда мама моя в разговор вступила, спрашивает:

— Чья ты будешь?

Компаньера ответила:

— Я дочка Марии Пии.

Предложила я ей галетку, но она отказалась:

— Нет-нет, спасибо, это же я тебе пачку принесла. Бабушка для меня их припасла. Но когда я поняла, что ты та самая, что со мной в автобусе ехала, то подумала: уж лучше тебе отнести. Ну и еще сбила с дерева на бабушкином дворе вот эти апельсины. Последние.

Мама ей сказала:

— Всем достается. Не одно, так другое. Видишь, что с твоим дядей Хустино случилось.

— На нас они особенно злы, потому что мы глаза людям открываем, — сказала Адольфина.

— Круто приходится твоим бабушке с дедушкой, — вставила я.

— Кому больше всех достается, так это бабушке Лупе, — ответила Адольфина. — Одна она сейчас. Дедушка Чепе в горах, с тех пор как пригрозили убить его.

— И что только в нашем департаменте творится! Скоро без мужчин останемся, — сказала мама.

— Трусить нельзя, — вставила Адольфина.

— Вот именно! — подхватила я, подбодренная ее словами.

— Когда-нибудь кончатся наши страдания? — вздохнула мама. — Всех мужчин изведут. Какой хороший человек Хосе, а и ему в горах прятаться приходится.

— А твой отец тоже в горах? — спросила меня Адольфина.

— Нет, его гвардейцы схватили. А где он, не говорят. Пропал.

— А как зовут твоего отца?

— Эмилио Рамирес.

— Я слышала про него, — сказала Адольфина.

— Ты что-нибудь знаешь? — спросила мама.

— Да. Его взяли вместе с моим отцом недалеко от Илобаско.

— Мы уже и спрашивать про него боимся. Оскорбляют нас, издеваются, — сказала мама. Она умолкла на некоторое время, а затем добавила: — Так ты дочка Марии Пии? Давненько она к матери не приезжала. Я-то ее недавно видела.

— Из-за малышей ей сюда трудно выбраться. Только мне иногда удается приехать. Когда я маленькая была, меня сюда на несколько месяцев привозили. Родители в это время на весь сезон уходили в Санта-Теклу кофе собирать. Бабушка за мной присматривала. Можно сказать, я у нее и выросла. Знаете, как я по ней скучаю, когда не удается побывать у нее!

— Я, наверное, тебя видела у дона Себастьяна. Но только мы никогда не разговаривали, — сказала я Адольфине.

А потом вот какой разговор повела мама:

— И подумать только, где вам познакомиться довелось! Я про автобус. Хорошо, что живы остались. А вот мой племянник Артуро там, наверное, и смерть свою нашел. Нам даже и труп не отдали. И похоронить не смогли, заупокойную отслужить. И на могилку помолиться не сходишь. А может, так и лучше. У родных все еще надежда теплится, что посочувствуют горю человеческому и отпустят детей, если они еще живы. — Так говорила моя бедная мама — с болью и надеждой. Мысли ее уходили все дальше и дальше. — Наверное, конец света скоро придет. Столько зла кругом. Видела, что сделали с твоим дядей Хустино? Звери! Чем Лупе только держится? Говорят, она даже не заплакала. Ну и сила у твоей бабушки! Ни у кого такой нет. Я всегда ей по-хорошему завидовала. Да и правда! Ну что тут сделаешь? Остается только терпеть да терпеть… и надеяться, что вам по крайней мере будет хорошо, что вы будете жить спокойно, что ваши дети не будут голодать.

Когда мама расчувствуется, ее остановить трудно. А если ей что против сказать — она рассердится. Но мы ее слушали внимательно. «Бедная мама», — пронеслось у меня в голове, а в глазах компаньеры заблестели слезы.

Адольфина, воспользовавшись паузой, сказала:

— Я узнала, что ты состоишь в федерации. Это правильно. Наша сила в организации. Я тоже состою в союзе сельскохозяйственных рабочих.

Потом опять про мою руку заговорили. Мама сказала:

— Слава богу, в больнице подлечили ее неплохо.

А когда через некоторое время Адольфина собралась уходить, у меня к горлу комок подступил.

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО

Хорошее у меня сегодня настроение. Хосе ночевал дома. Часов в пять утра он ушел. Наверное, потому я так ранехонько проснулась и все вспоминаю, вспоминаю… Как спала я, тесно к нему прижавшись, как тепло с ним было, как пахнет его рубашка, как он меня рукой по щеке гладил, словно малого ребенка ласкал.

Появился он из-за банановых зарослей. Пихириче, собака наша, как всегда, чего-то вынюхивала, потом вдруг забеспокоилась и кубарем покатилась в глубину двора.

— Не лезь к курам, Пихириче! — закричала я.

Куда там! Она только сильнее завертела своим обрубком, как виноватая. Я прикрикнула на нее:

— Вон оттуда, кур распугаешь!

И вдруг увидела, что собака прыгает и визжит от удовольствия. Такая она у нас. Увидит Чепе — конца нет радости. А тот словно из-под земли вырос и к дому направился.

— Ну, знаешь! Хоть бы камешек бросил, чтобы я поняла, что это ты. Напугал меня до смерти!

Он сказал мне, что удивить хотел, потому и подошел задами. Он и раньше не раз так делал. Но вчера перепугалась я очень, потому что не ждала его. Хосе, как почти все мужчины округи, дома не ночует. Они на ночь в горы уходят. Днем я его тоже не вижу — он работает. С гор они спускаются на плантации. После гибели Хустино угрожать стали и Хосе: хочешь жить — дома не появляйся.

А что бедняку оставалось делать? Его уговорили уйти, это точно. Сам по себе он никогда бы не ушел. Но и оставаться одному, когда все остальные мужчины ушли, ему никак нельзя. Потому и подался в горы. Я тоже его уговаривала:

«Уходи, ради детей наших уходи! Трое ведь, совсем маленькие».

«Ну, так и быть, ладно», — сказал он.

По всему было видно, что он не очень уверен, правильно ли поступает. Я еще сказала ему тогда:

«За нас не беспокойся. Одни справимся. Без тебя нас никто не тронет».

В ответ он только буркнул: «Угу-угу». Это означало, что он не был в том уверен.

«Да хоть пару дней там побудь. Я тебя и ждать не буду».

«Да-да, конечно», — ответил он.

Но не видеть долго ребятишек он не мог. Вот потому и

пришел в воскресенье и на целый день дома остался.

— Днем не опасно, — сказал он.

— Это верно. Полицейские что вампиры — только ночью нападают.

Понимаю я, что в горах ему без меня несладко приходится. Конечно, и мне без него здесь холодно. Но у меня есть гватемальское цветное покрывало. Его мне Хосе на рождество подарил. «Смотри, красота какая!» — сказал он мне тогда. И мы радовались, как малые дети. По ночам в ранчо холодно, хотя жерди вроде и плотно пригнаны. Днем жарко, особенно летом.

С той поры как Хосе пришлось уйти в горы, домой он начал заходить раненько утром, когда ребята еще спят. Съест пару лепешек с фасолью, выпьет кружку кофе, поглядит на малышей и отправляется на работу.

А вчера на ночь пришел. И, чтобы на глаза никому не попадаться, пробрался задами. Первым его учуяла Пихириче. А я-то подумала, что собачонка за курами погналась.

Спать, конечно, не пришлось. В четыре я уже небо разглядывала. По утренней звездочке время узнать хотелось. Блеснет она для меня между жердочек, и я ей в ответ тоже подмигиваю. Увидеть утреннюю звездочку — к удаче. Она весточку шлет: пора маис на огонь ставить. Лучше на нее прямо смотреть, когда лучики ее мерцают, словно сама звездочка то загорается, то гаснет. Говорят, она счастье приносит. Эх, если бы это была правда, я бы самая счастливая всегда была! Люблю смотреть на нее. Дня не проходит, чтобы, проснувшись, я с ней не поздоровалась.

Хосе говорит, что я чудная. Не знаю. С самого детства я такая.

Мои мама и папа говорили мне:

«Всегда, как увидишь эту звездочку, здоровайся с ней. Она счастье приносит».

Вот потому я так и делаю. И звездочка в долгу не остается. А разве нет? Хосе пришел и на ночь не ушел, не побоялся, и все было хорошо. Выпил он утром свою кружечку кофе и собрался на работу.

Пока я ему про то да се толковала, он поглядывал на меня при свете фонаря. Темно еще на дворе было. В эту пору солнышко поздно встает. В пять утра темно, хоть глаз выколи. Огонь приходится зажигать.

— Куда это я спички засунула? — сказала я, роясь в кармане передника.

— Не надо огонь зажигать, скоро рассветет, — ответил мне он.

А я ему:

— Все равно огонь развести надо. Кофе сварить, фасоль разогреть. Иначе так и уйдешь без горячего.

— Да не беспокойся ты ни о чем! Тебе за день с ребятами еще достанется.

Вот такой он у меня. Все по нему. Никогда «нет» не скажет. Раньше погрубее был, а теперь изменился. Ест он, а я вглядываюсь в его лицо. Так мы и попрощались.

— Дня три не приду, — сказал ой и потом добавил: — Потому на ночь и остался.

Я его ни о чем не спросила. Только было подумала спросить, а тут самый маленький заплакал.

— Слышишь, как плачет?

— Глисты, должно быть, — сказал он.

— Надо бы змеиного порошка достать, — сказала я.

Тут он рассердился:

— Опять ты за свое! Знаешь же хорошо, что только лекарства помогают.

— Ну да! Давала я ему порошки, которые недавно покупала, а толку никакого.

— Давай и дальше, пока не помогут.

— Дорогие они, лекарства-то. Раньше были по десять сентаво, сейчас за пару надо двадцать пять отдать. Купила четыре порошка, уже только один остался, — ответила я.

— Я тебе дам песету; деньги там мне совсем ни к чему. Купишь еще два порошка.

— А сам с чем останешься?

— Не нужно мне. На что мне тратить, если мы с работы сразу в горы уходим?

— Ну ладно, — согласилась я и протянула руку…

Умолкла я, залюбовавшись, как он за обе щеки уплетает. После него сковородку мыть не надо.

Нехорошо в темноте. Я люблю, когда солнце светит.

А жизнь становится все труднее и труднее. Говорят, что нас слишком много в этой стране. Что правда, то правда — кого много, так это бедняков. Десятки, сотни тысяч бедняков. Они везде, куда ни глянь. А что сделаешь, если жизнь такая? Потому столько голодных в нашем проклятом краю. Думается мне, что жизнь не должна быть такой. Чепе мне все время твердит: «Нам осознать нужно, что мы бедняки». «А зачем это нужно?» — спрашиваю я его. И он отвечает: «Только так мы наберем силу и сможем своих прав добиваться. Остальное пустое. Мы должны добиваться наших прав, прав бедняков».

Жители нашего Чалате всегда хорошо все понимали, хотя,

конечно, как и везде, есть здесь и несознательные.

Управляющие в асьендах — вот это гады настоящие. Вечно все подслушивают и своим хозяевам доносят.

Асьенды нам работу дают, но и пакости всякие тоже оттуда идут.

Недалеко от нас, меньше пол-лиги[11] будет, есть одна асьенда. Она-то нас и кормит.. Работу дает, это правда. Но ведь и то правда, что нашим трудом она в гору пошла. Раньше даже мощеной дороги к ней не было. Летом пыль столбом стояла, а зимой — грязь непролазная. В дожди, особенно в сентябре, даже на муле и то туда проехать было нельзя.

А теперь какими асьенды стали? Дорогами асфальтовыми друг с другом соединились. Хозяева с ветерком по ним на автомобилях гоняют.

Завистливыми мы никогда не были. Сколько себя помню, такого греха в наших душах не замечалось. А если малым детям и говорят, что от зависти человек коростой покрывается, так это все ерунда. Дело не в зависти, а в справедливости.

Землевладельцы забывают, что без наших рук не вспашешь, не посеешь, не прополешь и урожая не соберешь. Мачете сами по себе не работают. Работают руки крестьянские.

С огромным трудом только некоторым из нас удается обзавестись парой быков, чтобы в город можно было отвезти что-нибудь на продажу или купить там чего-то. Хозяева же носятся как бешеные на своих джипах да лимузинах, а на тех, кто пешком ходит, и смотреть не хотят. Про все про это мы не раз с Хосе говорили. Теперь мы не боимся говорить про что хотим. А раньше как? Подумать и то страшно было. Греха боялись. Нас ведь адом пугали, геенной огненной. Вот и держали язык за зубами. Нам говорили, что дорога в ад грешниками вымощена. А у грешников и мысли грешные. Мы же всегда хотели праведниками быть. Верили мы, что праведник — это тот, кто со всем согласен, ничему не противится, ничего не требует, никогда не злится. Никто нам ничего не объяснял. Только все время рай обещали в награду за добрые дела на земле.

«Возлюби ближнего» на деле означало «возлюби хозяина». А возлюбить хозяина означало никогда ему не перечить, делать то, что он прикажет. Если за работу в асьенде не давали фасоли, значит, ты должен понимать, что хозяину дать нечего, у него урожай плохой. Если хозяин не ставил навесов, где рабочим отдохнуть можно, ты должен понимать, что у него времени в сезон уборки не хватило, чтобы навесы поставить.

Вот и работали мы голодные от зари до зари. А вечером или ночью домой поесть бегали. А то и голодными ложились спать

прямо на плантации под кофейными деревьями.

Добродетель с покорностью мы смешивали. Мы с Хосе как раз вчера про это говорили. Теперь ведь и времени поговорить нет. Мужчины даже ночевать дома не имеют права. Разве не жестоко нас, женщин, в тревоге и страхе держать? И кто их, богатых, такими злыми сделал?

Тесно прижавшись друг к другу и укрывшись гватемальским покрывалом, мы почти всю ночь проговорили.

— Помолчи, ребят разбудишь.

— Спят как убитые, даже громом их не разбудишь.

И опять мы говорим, говорим. Только теперь совсем тихонечко, почти шепотом.

— Поздно уже, — сказала я.

— Да нет еще, — ответил он.

— Сверчки и те уже поутихли.

Замолкли и мы в темноте, раздумывая о себе, о посапывавших в углу детях. Конечно, в первую очередь про малышей думаешь, потому как взрослые уже живут отдельно своими семьями. Об этих душа меньше болит. Как ни говори, а они свою жизнь уже устроили. Нас изредка навещают.

У меня было двое взрослых детей. Хустино, пока с ним беда не приключилась, жил неподалеку от Сан-Мартино. С той поры мы все никак в себя не придем… И мученица Мария Пия — в Илобаско. Хустино по крайней мере уже отмучился. Нет его в живых. А был опорой нашей. Каждые полмесяца приносил несколько сентаво. «Мама, вот тебе немного». — «Ой, сынок, пожалей себя, сколько можешь, столько и дай». — «За меня, мама, не беспокойся».

И все в нем радовало сердце родительское.

С разницей в пять лет он шел за Марией Пией, Марукой. Наверное, бог не пожелал нам дать дитя в те годы. Еще один был, но месяцев девяти умер. Теперь ему было бы уже лет двадцать шесть; он на полтора года старше Хустино и на четыре года младше Маруки. Это так давно было, что как во сне вспоминаю.

Соседи были очень добрые. Дали нам кусок крепа, чтобы прикрыть головы ребятам, которые пошли проводить Мануэля де Хесуса до его последней обители. Назвали младенца Мануэлем де Хесусом, чтобы отпеть можно было и чтобы безымянным среди ангелов не появился и не опечалил бы их… После Хустино бог, видно, опять не хотел нам давать детей. Но потом еще трое малюток на свет появились. Вот теперь, к старости, они со мной, одному семь, второму четыре и последышу два годика. О них больше всего сердце и болит.

Взрослый может обойтись без фасоли и лепешки, а малышей

без еды оставить нельзя, по крайней мере простокваши или творогу дать надо. Чего для них не сделаешь? На любые страдания пойдешь. А вот когда нечем накормить, то хоть в петлю полезай. А уж если заболеют, то и говорить нечего. Хорошо, если быстро поправятся. А если нет? Как они, бедняжечки, мучаются! Хуже всего то, что лекарств здесь не бывает, а чаще денег нет, чтобы порошок или пилюлю купить. Потому и получается, что люди домашние снадобья предпочитают: кто куриный помет, кто жир игуаны, кто змеиный порошок, кто листья гуарумо. Одним словом, все, что может помочь, хотя нам и твердят постоянно, что лучше отвыкать от этой привычки и пользоваться только аптекой. Так священники говорят, вот мы их и слушаемся. Потому что все равно докторов нет.

Хосе говорит мне однажды:

«Если бы у ребят доктор был и лечил бы их, наверняка они бы не умирали».

«Нас никто не лечил, никогда», — отвечаю я, а сама думаю: «Ну а если бы здесь был доктор, откуда деньги взять, чтобы заплатить ему? Говорят, что они много берут». Это я про себя так думаю, а не спрашиваю его. А когда я ответа не нахожу, опять же к Хосе обращаюсь.

«Дело в том, что медицинская помощь должна быть бесплатной», — говорит Хосе.

«Ого, да ведь это невозможно! Люди работают, чтобы денег на жизнь заработать».

«Дело в том, что бесплатная медицина — это совсем другое, ну вроде как в больницах», — объясняет он.

Я не хочу показать, что ему так легко удалось меня убедить, и потому возражаю:

«Да, но за больницы взносы всю жизнь платить надо. Потому многие и не ложатся в больницу, а предпочитают умирать у себя дома, а не в городе. Тратиться надо не только на автобус, но и на взносы. А откуда взять деньги, если их нет? А еще говорят, что трупы из больниц в морг увозят, что там их режут и сами доктора на них учатся». Спорю я с Хосе, а он мне спокойно так все объясняет. Теперь я, как раньше, на судьбу столько не жалуюсь. Потому что становлюсь, как говорит Хосе, сознательной. Не полено же я, чтобы не понять. Надо уметь за себя постоять, когда на нас наговаривают. Чтобы жить с открытыми глазами, нам многое понять надо. Мы должны сами себя освободить.

В последнее время я кое в чем разобралась — бедняку всегда интересно, чем община живет. Я так говорю, потому что знаю: как бы тяжело ни работал человек, ему всегда интересно, как другие

живут.

«Надо помочь людям, чтобы они сами разобрались в своих проблемах», — говорит Хосе.

Люблю я Чепе за это. И люди его тоже за это любят. Они знают, что он не себе, а всем добро делает. А когда надо сказать, он не смолчит. Я иногда думаю: «Дай бог, чтобы с Чепе ничего не случилось. Разве мало, что мы Хустино потеряли? Разве мало мучений у Марии Пии? Муж пропал без вести, одна осталась».

А Хосе, бывало, будто читает мои думы, говорит:

«Не переживай. Если мы, которые понимаем, ничего не будем делать, то жизнь нас задавит».

И, чтобы не добавлять ему еще моих забот, я отвечаю:

«Да я и не переживаю».

Вот я и говорю: человек не каменный. Смерть Хустино меня надломила, чего уж там скрывать. Словно небо надо мной почернело. Только и надежды, что Элио, муж Марии Пии, вернется, если еще в живых ходит. Да и внучка Адольфина радует.

Она иногда из Илобаско приезжает. Умная девочка. Училась немного, едва пять классов окончила, а прямо диву даешься, откуда она так много знает. Огонь девчонка! Приезжает и все мне по дому делать помогает. И воду из колодца натаскает. И маис вместе с моими малышами налущит. Как будто играют, а смотришь, корзина полна. Очень Адольфина к нам привязана. Не забывает бабушку с дедушкой. После смерти Хустино ее к нам прислали. Сидит, маис лущит и все рассказывает, рассказывает. А слова такие же, как у Чепе.

— Не переживай, бабушка. В один прекрасный день мы свое возьмем, и мы, бедняки, так страдать больше не будем.

И откуда она это берет в свои пятнадцать лет, прямо не знаю. Единственное, что мне не нравится, так это то, что очень, быстро она оформилась, уже совсем взрослая. Какой-нибудь нехороший мужчина позариться может. У нас-то здесь не опасно — все друг друга знаем. Но ведь едет она издалека, от самого Илобаско. В таком возрасте, а особенно если девчонка смазливая — как мне не бояться за нее? А когда я ей говорю про это мое беспокойство, она только смеется. Такая уж нынче молодежь. Ее понимать надо.

— Слушай, бабушка, я приехала не только чтобы помочь тебе воду таскать и маис лущить, но и, поверь, чтобы тебе повеселее было. Ты ведь теперь никуда не ходишь. И мама тоже приехать не может. Так что пусть хоть внучка с вами побудет.

Вот такая она у нас, Адольфина.

— Да это я так, это я за тебя и твою маму переживаю. Хоть бы такого горя, как тогда, у нее больше не было. Ты же знаешь, что

радуюсь я не столько тому, что ты нам помогаешь, сколько тому, что ты с нами. Больше ни слова о горе не скажу. Ныне всякое случиться может, никому не заказано, даже в своем собственном доме.

И пока я это говорю, она сидит себе на камушке, поджав ножонки так, чтобы юбочка их прикрывала. И все лущит и лущит маис, а сама улыбается, совсем как ребенок. Ну прямо майский цветочек на стебельке зелененьком. По взгляду и по манере разговаривать Адольфина на Хосе похожа. В словах ее слышится уверенность, и чувствуется, что характер у нее сильный.

— Бабушка, хочу когда-нибудь взять тебя в Илобаско, чтобы ты другим воздухом подышала. Как тебе кажется, нужно с дочкой и внуками повидаться? Вот заработаю на уборке кофе и увезу тебя.

Всегда она шутит. В жизни своей я дальше Чалате не была. Помилуй господи.

СЕМЬ УТРА

С тех пор как я себя помню, наше Чалате всегда было таким. Тихое селение без больших, если не считать домашних, забот. Воровства, а тем более преступлений тоже не было. Моя мама, Рубения Фуэнтес, говорила, что местечко это спокойное, что последний раз здесь человека убили сорок лет назад, когда она еще девочкой была маленькой.

«Поехал сюда один паренек работу искать. А какая у нас тут работа? — рассказывала мама. — Наконец ему что-то удалось подыскать. Начал он работать, но не прошло и месяца, как нагрянули власти и схватили его. Сказали: враг демократии. Интересно, что они имели в виду, если человек этот вел себя тихо, никогда ни с кем не ругался. Единственно, к чему они могли придраться, так это к тому, что у него было ружье и что он охотился на голубей и телескуинтле[12]».

Моя мама хорошо помнила этого белокурого, высокого, как кокосовая пальма, человека, у которого из-за спины постоянно выглядывал ствол ружья. Ну а поскольку документов у этого человека не оказалось да он еще и не подчинился, сопротивлялся, его тут же и прикончили.

«Никогда не забуду, как били его остервенело, будто душу отводили», — говорила моя мама.

«Почему же они такие злые, мама?» — спросила я.

«Об этом знает лишь Иуда. Верно только то, что и ты понимаешь: с властями шутки плохи», — вздохнула она.

«Но вы же мне говорили, что он никому ничего плохого не сделал? Только охотился?» — продолжала я спрашивать.

«Вот в том-то и дело, что властям и такой зацепки нельзя давать. Они должны бдеть, им за это платят, А жалованье оправдывать нужно».

«Но им платят не за то, чтобы честных людей убивали, и не за то, чтобы из-за каждого пустяка стреляли!» — возразила я.

«Ох, доченька, тогда для чего же им дают эти здоровенные, будто колья, винтовки? Чтобы стрелять из них, дочка, чтобы стрелять! Вот для чего! Если они стрелять не будут, то молва пойдет, что власти ни на что, кроме парадов, не годятся…»

Говорят, что тот человек тут же и скончался. Точно известно, что жители селения в это дело не вмешались, потому как в то время власти зверствовали — слишком много недовольства было.

«Индейцы восставали, а этого власти не хотели допустить, даже если бы пришлось перебить здесь всех до единого, — говорила мне мама. — Это было сразу же после тридцать второго

года[13]. Ты не представляешь, какое страшное то было время! Даже открытку со святым нельзя было иметь. Считали, что на обратной стороне не молитва, а коммунистические лозунги напечатаны. Вот и пришлось нам сжечь пресвятую богородицу, святого младенца из Аточи и даже самого Христа Спасителя».

Помню, я согласилась тогда, что, действительно, жуткое было время.

«Всхлипнуть боялись, — продолжала она. — Не поверили бы, что просто по человеку плачешь. Тут же заподозрили бы, что это убит твой родственник-коммунист. Больше сорока тысяч христиан погибло в те времена».

Я ее спросила: а как же удалось спастись ей и моему отцу? И она объяснила мне, что в Чалате не было кофейных плантаций, рабочих мало, потому и не было выступлений и никто в этих краях не бунтовал. Тогда я сказала, что им повезло.

«Боже упаси, чтобы ты без отца осталась! Тогда ведь каждого мужчину только за то, что он мужчина, коммунистом считали, — ответила она мне тихо и продолжала: — Здесь нет больших кофейных плантаций, потому и жизнь спокойнее, а бедность наша от бога вроде. Сыты, и ладно».

«Страшное дело. Правда?» — сказала я.

Они утащили того беднягу на развилку, потому что там у них стояли мулы, на которых они приехали. Груза никакого не увозили. Значит, где-то поблизости они его и закопали. А может, стервятники его склевали.

В глазах палачей светилось веселье, когда они уезжали на своих мулах. Ни улыбаться, ни смеяться они не могут, им это запрещено. По крайней мере громко. Они на то и есть, чтобы требовать, спрашивать, забирать. Смеяться — значит слабость выказывать. Сами они говорят, что только дураки смеются. Власть не должна проявлять слабость. Она должна действовать. Только так они и могут защитить собственность, а это — дело святое. Вот потому многие из них хозяевам и служат, а те им платят. Если хорошо служат, дают побольше, особенно те хозяева, которые здесь не живут и на землях которых только и растет, что трава для выпаса.

Здешние асьенды большие. Даже и не знаешь, докуда их земля тянется. Если на ограду или на высокий камень залезть, то сколько глаз хватит — все земля одного хозяина. До самого горизонта все ихнее. И небо тоже. Власти стерегут эти земли. Если кому своровать захочется чего-нибудь, то в этих краях поживиться нечем, разве что засохшей травой. Правда, есть маис. Но гром нас разрази, если кто-нибудь из наших решится украсть початок.

Власти остаются за хозяина асьенды. Я никогда и не видела хозяина, а вот власти постоянно здесь. Хозяин к асьенде даже близко не подъезжает. Со свистом они пролетают через развилку в своих лимузинах или на джипах. Но боже упаси, если кто отважится тайком клочок земли засеять или дерево срубить. Без разрешения не имеешь права взять стручок тамаринда, простого тамаринда, который вообще ничего не стоит. Зачастую человек ни души не видит на дороге, и ему может захотеться просто так под деревья зайти и поднять упавший плод манго или агуакате. Но это очень опасно, власти могут появиться неизвестно откуда. Эти зверюги издалека точно попадают. Они в кустах или за камнями прячутся. Иногда на манговые деревья залезают. Наедятся манго да там же и отсыпаются.

Они всегда все охраняют, потому что, как говорится, и праведник согрешить может. Вот они и следят за нами, как бы не утащили чего. А честнее нас в мире никого нет.

Не буду врать, иногда они нам дрова разрешали собирать в асьенде.

Нет, видно, несчастная душа белокурого горемыки до сих пор скитается в этих местах, ведь останки его даже не захоронили, а если их стервятники склевали, все равно хоть кости, зарыть бы надо было. А может, его собаки сожрали? Говорила же мне мама, что в тридцать втором году собаки трупы ели. Такой голод был, что зверю и тому нечего поесть было. Даже авокадо, которое собаки так любят, и то нельзя было найти. А еще хуже, что люди, которые поросят откармливали, свинину продать не могли: поросята тоже трупы ели, и люди боялись есть свинину. Все это было в Санта-Текле, рассказывала мама.

Да, так о чем я говорила-то? Ах да! Значит, смерть того белокурого была здесь последней. Это почти сорок лет тому назад.

Может, потому мы и смирились со смертью Хустино? Свершилась воля божья и воля этих бандитов.

Не люблю вспоминать про это. Совсем недавно его не стало.

МАРИЯ ПИЯ

Я тоже здешняя, из этих краев. Я жена Элио Эрнандеса, которого власти схватили. Досталось ему крепко, когда его брали. Били прикладами и по спине, и по голове.

Он вернулся с гор, хотел дома поспать и на них напоролся. Вместе с Эмилио Рамиресом они пришли. Этого тут же и сцапали, а Элио бросился бежать. Но запутался в лианах и упал. Вот тут-то они впятером на него навалились и давай бить прикладами по чему попало, пока он замертво не упал. Я кричала:

— Убийцы, не трогайте его!

— Почему ты, мерзавец, побежал? Ну куда ты убежишь?

Когда они повели захваченных, мы все на улицу высыпали. Я с полуторагодовалым ребенком на руках. Полицейские по дороге срезали себе по палке гуайабо[14], а когда поравнялись с толпой, бросились на нас и начали лупить всех подряд. Избитые Элио и Эмилио шли со связанными сзади руками и видели все это. Потом нас стали бить ногами.

— Шлюхи, — кричали полицейские, — всех вас прикончим!

А мы в ответ:

— Что мы вам сделали?

Потом их увели к автобусной остановке, где стояли другие мужчины. Но полицейские тут же вернулись. И за то, что мы все еще не разошлись по домам, опять принялись нас дубасить. У меня отняли ребенка и так ударили его по голове, что чуть не убили. Потом стали меня палками бить по спине, по голове, по рукам. Всю синяками разукрасили. Били до тех пор, пока сами не устали. Бросили меня и пошли туда, где лежали в крови Эмилио и Элио. Кто-то успел прикрыть их головы тряпкой. А может, это сами полицейские сделали, чтобы схваченные не видели ничего, хотя полицейским наплевать, видит кто или нет их «подвиги». Подняли они несчастных на ноги, потащили в селение и давай снова бить — прикладами, ногами, руками. Удары сыпались градом куда попало. Даже пена на губах полицейских выступила. Элио после очередного удара прикладом по голове упал как подкошенный.

Тогда полицейский сказал Эмилио:

— Если он твой дружок, подними его, не будь тряпкой.

Эмилио повернулся, чтобы взглянуть на Элио, но не мог даже руки ему протянуть, руки-то за спиной были связаны.

Элио в это время пришел в себя и, опираясь на локоть, попытался встать. И когда это ему с трудом удалось, его опять начали бить прикладами.

На наши крики, а орали мы так, что во всем селении слышно было, народу на улице много собралось. Люди спрашивали, что тут происходит. Потом задержанных снова потащили на автобусную остановку, теперь уж почти волоком. Мы двинулись следом. Бросили полицейские наших мужчин на землю — и к нам:

— А вам, шлюхи, чего надо?

— Муж это мой, Элио.

— Вот оно что, стерва! Как тебя зовут?

Старший над, ними, капрал, достал записную книжечку.

В капрале я узнала Мартинеса, сына старой Тичи. Видно, он боялся, что его признают, потому в селение не пошел, а поджидал на остановке. К счастью, Адольфину мы в другой дом еще раньше отвели, а потом передали ей, чтобы она шла к моей маме. Хорошо, что ее не было.

— Ты Мария Пия…

— Ты же знаешь меня!

А другой замахнулся палкой и прошипел:

— Я тебе, шлюха, покажу!

Тогда капрал Мартинес сказал:

— Брось, не бей, ей и так уже хорошо прописали.

Вмешался еще один:

— Никак нет, капрал! Если с ними церемониться, толку не будет.

— Так-то оно так, но ведь им уже хорошо вложили. Давай лучше этих ублюдков увезем, пока заваруха не началась.

В это время из селения к остановке подходили люди, и каждый спрашивал, что такого сделали Элио и Эмилио. И я им отвечала:

— Да они домой поспать с гор пришли.

А в горах они скрывались потому, что кто-то донес, будто они к банку на демонстрацию ездили просить скидку на удобрения и семена. Их дважды пытались схватить. Вот они и решили в горы уйти. Власти всегда по ночам рыщут. Хватают людей дома, а не в асьенде, чтобы хозяев не беспокоить.

А ведь сам хозяин асьенды и донес, что они в Сан-Сальвадоре были. В тот день многие, прикинувшись больными, отпросились с работы. Управляющий составил список тех, кого не было на работе, и передал властям…

Вчера я ездила в Илобаско навестить наших. Попросила разрешения поговорить с этим самым капралом Мартинесом, сыном Тичи. Но мне сказали, что он в отъезде, и спросили, кто я такая. Я ответила, что разыскиваю Элио Эрнандеса, которого забрали две недели назад. Гвардеец нудно и долго меня

расспрашивал и все записывал в книжку.

Потом я пошла в сквер напротив тюрьмы и села на скамеечку отдохнуть. Тут и увидела, что из ворот вышел Вильям, парнишка, который всегда непонятно почему около полиции вертится. Он вроде их любимчика. Я его давно знала, потому что он часто в селении появлялся вместе с полицейскими. Может, он у них на обучении? Бог его знает!

Я ему закричала:

— Вильям! Вильям!

Может, через него что-нибудь передать удастся, думаю. И живет он при тюрьме в Илобаско. Все его знали, и потому я решила рассказать ему все как есть. Когда он подошел, я спросила:

— Вильям, ты видел Элио?

Он засмеялся и ответил:

— А как же!

Я опять его спросила:

— Он здесь, Вильям?

Тогда он мне ответил:

— Где же ему быть еще?

Я привстала от волнения со скамейки и опять спросила:

— Правда, Вильям, ты его видел?

Он мне ответил:

— А почему бы и нет?..

Я еще больше разволновалась. Какой он добрый, этот Вильям, дитя тюрьмы.

— Вильям, с ним ничего не случилось?

Он сказал мне, не переставая ухмыляться:

— Первые дни ничего. Их в чан с наперченной водой посадили. Сама понимаешь, каким огнем у них раны пылали. Потом били по-сумасшедшему, а потом натерли зубную щетку перцем и между ягодиц мазали. А после сунули эту щетку им в рот, чтобы зубы чистить.

Я спросила:

— Вильям, нельзя ли их повидать?..

А он продолжал, не слушая меня:

— Жара страшная была, и им несколько дней не давали воды. Тогда начальник спросил, не хотят ли они квакерского прохладительного, которое в бутылке стояло. Они ответили, что хотят.

Я уже не могла его дальше слушать и чуть не закричала:

— Живы они, Вильям?

— Конечно. Почему они должны быть мертвыми?

— Потому что свидания не дают с ними, будто их нет уже!..

А он продолжал:

— Элио умирал от жажды. Он схватил бутылку и начал жадно пить. Но тут почувствовал, что рот словно пламенем обожгло. Квакерская водица была с малатионом — это яд такой, который животным дают, когда чума. Мы все захохотали, увидев, как Элио прохладительного хватанул…

Я поняла, что он издевается надо мной, и попыталась его остановить:

— Вильям, бога ради, что с Элио?

А он, не переставая ухмыляться, ответил:

— Последний раз ему кость в плече выбили, кажется, ключицей ее называют. А вот Эмилио, наверное, отбросил копыта, не выдержал…

Тут и я не выдержала:

— Изверги вы! Отдайте хоть тело. Мать Эмилио умирает с горя. Элио в больницу надо, может, не поздно, я…

Но он отбежал от меня и, конечно, уже не слышал, что я кричала. А я поплелась на автобусную остановку, чтобы уехать домой…

А что дальше? А дальше… приехала я домой примерно в полвосьмого и тут же свалилась: жар поднялся, голову ломить стало. А около девяти в дверь постучали, Я спросила:

— Кто там?

— Открывай! — раздался снаружи чей-то голос.

Я переспросила:

— Кто там? Мне ответили:

— Открывай дверь, не то утопим в дерьме! Это власти!

Узнала я голос капрала Мартинеса, сына Тичи, и, собравшись с силой, крикнула ему:

— Сеньор капрал, мне не подняться, больна я!

Они опять свое:

— Открывай, Пия, открой, курочка, пио, пио, пио!

Это был Вильям, дитя тюрьмы.

Меня всю трясло от жара, но я собралась с силами и сказала своему десятилетнему сыну:

— Встань, сынок.

Но он мне ответил, что боится. Тогда я крикнула им:

— Погодите, я оденусь!

А они:

— Еще чего, так и будем ждать, пока ты, дрянь, оденешься!

Я схватила платье и в темноте надела его наизнанку.

— Подождите, — сказала я, зажигая фонарь.

— Не тяни. Или ты сейчас же откроешь, или дверь в щепки разнесем. Сколько можно ждать?

Поправила я платье и вижу, что дверь чуть не на меня валится. Едва успела к кровати отскочить, на которой с тремя ребятишками спала: девочкой семи лет, с тем, которому десять, и еще с грудным пятнадцати или, вернее, шестнадцати месяцев. Тогда они перевернули кровать, и я вместе со всеми ребятами очутилась в ларе с маисом.

Они орали:

— Дура, почему не открывала нам?

Сидя все еще на маисе с кричащими от страха ребятами, я ответила:

— Больна я, не трогайте меня.

— Вот теперь будет чему болеть! — заорал полицейский и ударил меня прикладом. Мне показалось, что глаз вылетел. А потом они били меня по ребрам, по спине и все ругались. Моя доченька закричала:

— Не бейте маму! — В отчаянии она бросилась на них. — Пустите ее!

Тогда полицейский замахнулся, чтобы ударить девочку по лицу, но я успела подставить руку, по руке он и стукнул. Боль была такая, словно руку перебили. Подскочил еще один и прошелся по моим ребрам.

Потом сын Тичи заорал:

— Если будешь властям сопротивляться, не то еще покажем! Мало тебе?

Мой шестнадцатимесячный сынок громко плакал у меня на руках. Я его держала, чтобы меня не убили, надеялась, что в ребенка стрелять не станут. А десятилетнего не было и слышно. От страха он замер, лежа на маисе.

— Получай еще! — кричал сын Тичи и колотил меня по спине. Колотил долго, а под конец так по ноге дал, что я до сих пор хромаю.

Потом капрал забрался на кровать и начал прыгать на ней, пока она не развалилась. Сетку из веревок разрубил, подушки распорол. На полу у меня стоял большой кувшин с очищенным маисом. Когда они покончили с кроватью, капрал Мартинес подошел и разбил его. Маис рассыпался по всему полу. Забрали новый отрез, который я купила детям на рубашонки, библию и со всем этим направились к дому моего свекра. Там они принялись стучать в дверь, а Вильям орал:

— Эй, хрыч старый! Сейчас мы тебе кое-что отрубим!

Свекор ответил:

— За что, Вильям?

А тот ему:

— Скажи спасибо еще, что пришли отрубить тебе твою

круглую башку, и только!

Свекор открыл дверь, и они набросились на него, стали избивать. А Вильям смотрел и хихикал.

С тех пор я боюсь ночевать дома. Они мне сказали, что если на этот раз меня не застрелили, то в следующий обязательно повесят. И еще мне сказали, что я должна выбрать одно из трех: или продать дом, или убраться отсюда, ничего не продав, или остаться здесь, но тогда они прикончат всех женщин, которые сидят одни без мужей в своих ранчо. Ну а так как все мужчины уходят спать в горы, то ночью нас, женщин, защитить некому. Теперь, без Элио, мне страшно и днем, и ночью. Я тоже на ночь буду в горы уходить. Помолюсь, заберу детей и пойду в горы. Возьму им что-нибудь поесть и чем от холода укрыться, хоть не одна там буду — все мужчины там ночуют. Правда, москиты и холод не дадут уснуть, и все же в горах лучше. Только бы Элио объявился, тогда не будет так тяжко.

Хочешь не хочешь, а начинаешь задумываться: и что это за штука такая — жизнь? Вильяму ведь едва двенадцать исполнилось, а он уже бандит. Я его знала, когда он был совсем маленьким мальчиком, помогал покупателям в одной лавке в Илобаско товары выносить. Был к клиентам очень внимательный, пока не пошел в тюрьму прислуживать.

Страшная неделя была. Больше всего я за старшую дочку боялась. Хорошо, что соседи уговорили ее уйти в Чалате, где моя мама живет. Я не знаю, что могло бы с ней быть. Даже думать об этом не хочу.

АДОЛЬФИНА

Дорога, которая к северному шоссе ведет, совсем плохая. Наш старый автобус-развалюха в горы еле тянет, дымит, будто паровоз, поднимает огромный столб пыли. Моя прабабушка Рубения говорила, что сам дьявол в такой пыли живет. Наверное, и мама моя в это немного верит. И вот, чтобы дьявола прогнать, мы, по старому обычаю, повторяем такие слова: «Твоя теща идет, твоя теща идет». Дорожная пыль садится на ветки деревьев, на листья так густо, что они становятся серыми, хотя зимой такие зелененькие-зелененькие, даже блестят после дождя. «Пуф-пуф-пуф» — отдувается наш автобус, будто задыхаясь пылью. Мы подпрыгиваем на своих сиденьях всякий раз, когда под колесо попадает камень. Нелегкое это дело — ехать в субботу. Теснота, пылища. И вдруг автобус останавливается. Что-то с колесом. Только этого еще не хватало! Умираю от усталости и духоты. Автобус набит пассажирами, словно банка сардинами.

— Останови на минутку! — кричит сероволосый кондуктор сероволосому шоферу, и из автобуса выходят сероволосые люди — на каждом толстенный слой пыли.

К счастью, такой дороги всего несколько километров. Потом выедем на асфальтированную, по которой наш автобус полетит словно на крыльях.

По этой дороге приехали компаньерос и сказали, что мне на несколько дней лучше исчезнуть из дому. И я подумала, что удачнее места, чем у бабушки, не найти. Но маме я сказала:

— Да нет, мама, наверное, не надо.

— Надо уходить. Не зря же говорят…

— Мы же ничего плохого не сделали, мама.

— После того что около банка было, власти обязательно заявятся. Я в этом даже уверена. И отец согласен, чтобы ты на неделю к бабушке Лупе уехала.

— Ну хорошо.

Вот так я и оказалась на дороге, которая вьется впереди. Она в этих краях на серпантин похожа. На подъеме к Чалате по обеим сторонам ее громоздятся огромные скалы. Сверху к побережью спускаются грузовики, везущие сборщиков хлопка. Сколько здесь высохшей земли! Серые столбы пыли поднимаются к небу. «Твоя теща идет, твоя теща идет».

Мы сами из этой пыли сотворены. Прах мы в этом мире и в прах обратимся, говорит священник. Плоть наша в прах превратится, а душа вознесется. В этих местах даже небо не голубое, а какое-то серое, пыльное.

— Жаль, что некому с тобой поехать.

— А зачем? Одна поеду.

— Не опасно ли, доченька?

— И похуже приходилось, мама. Это уж точно. Умею за себя постоять, ничего страшного.

— Пожалуй, страшнее будет, если ты здесь останешься.

«Чалатенанго, земля моя благословенная, сад цветущий Кускатлан[15]» — эту песню я в школе выучила. И хотя отец говорит, что это самая дурацкая песня, которую можно сложить про Чалатенанго и Кускатлан, мне она по душе. Отец мой грубоват немного, ему никогда не нравились школьные песни. А может, он и прав.

Банан съесть в нашем автобусе — все равно что комок грязи проглотить. Смотрю и удивляюсь, как это люди апельсины сосут. Может, жажда одолевает и другого выхода нет? В моей сумке лежат бананы для бабушки. Я всегда, когда к ней еду, везу несколько штук ароматных гинеос, потому что в ее краях такие не растут. Там только карликовые, толстые махончо да яблочные. Или беру пару крупных бананов, которые жарить можно. Такие там тоже не растут.

Всегда будто чудом появляется птичка. Это гуис[16]. «Куио-куио-куио» — издалека доносится его резкий голос, до того как ему прилететь. Бабушка говорит, что он и смерть тоже предвещает. А мой отец говорит совсем другое:

— Гуис кричит не просто «куио-куио-куио», а «Христос нас покинул». Разве ты не замечала, что гуис заливается на страстной неделе или накануне ее?

А я думаю, что эти птички поют, когда пить просят. Но никто им не дает. Между тем гуис взлетает и садится на самый кончик ветки гуанакасте, и, если бы он не пел, вряд ли бы его увидели. В чем я уверена, так это в том, что гуисы гостя предвещают. Не раз в этом убеждалась. Если мама чего-то готовит и слышит гуиса, она говорит, что, похоже, придет кто-то. И правда, всегда кто-то заходит. Ну чем не доказательство?

— Целую неделю у бабушки с дедушкой — это много.

— Послушай меня, уходи и не возвращайся до следующего воскресенья. Вот тебе отец деньги на билет оставил. Разве ты не видишь, что он сам не ночует? Беречься надо, доченька.

— Да разве я против, я только говорю, что долго…

— Ну ладно, ладно! Не упрямься, я уже сказала последнее слово.

Гуис — отважная птица. Гуис даже с ястребом дерется, сядет на него, будто оседлает, и тот, сколько бы ни крутился, никак сбросить его не может. Интересно смотреть, когда гуисы с

ястребом дерутся. Какие они фигуры в воздухе выписывают! А как сядет гуис ястребу на спину, ястреб кричать начинает, а гуис, верхом на нем, поет: «Куио-куио-куио, Христос нас покинул». И не желает слетать со своего «коня».

Обливаюсь потом, грязные струйки скатываются по телу. Пот, перемешанный с пылью. Как только приеду, сразу же вымоюсь. Кругом одна пыль: и на платье, и на платке, и на руках.

— Выходите, влипли мы с нашим автобусом, — сказал кондуктор. — Все выходите.

Лучше было ехать в Сан-Сальвадор, а оттуда другим автобусом в Чалате. Дороже, зато надежнее. Чтобы подогнать нас и быстрее освободить автобус, шофер продолжает кричать:

— Выходите все!

— Тише, тише, — говорят пассажиры.

Моя соседка по сиденью держит ребенка на руках.

— Пить хочу!

— А, заговорила! Помолчи, осталось недолго. Ну что за девчонка! Вот приедем на развилку, тамариндовой куплю тебе, прохладительной, — говорит она девочке.

— Может, дать ей глоток воды? — спрашиваю я.

— Капризничает. Были бы дома, не просила бы. Перед дорогой я ее специально водой накачала, чтобы спокойной была, а она — на́ тебе!

— Да уж такие они, дети, — говорю я. — Чем больше с ними возишься, тем больше они куксятся.

— Сил прямо нет никаких, — говорит она.

— Если хотите, дайте ей этот банан.

Она взяла банан, очистила его и протянула девочке. Та быстренько его съела. Мы присели на камень отдохнуть. А я опять увидела гуиса. Должно быть, это тот же самый следом за мной летит. Он раньше меня до Чалате долетит и пропоет моей бабушке. А бабушка тогда скажет: «Слышите гуиса, кто-то приедет». Гуис наподобие гонца вести приносит.

От жары меня в дрему клонить стало. И девочка тоже уснула.

Проснулась я от крика кондуктора:

— Заходите!

— Спасибо за помощь, — сказала мне соседка.

ПОЛОВИНА ДЕСЯТОГО

Я давно заметила, что Пихириче сама не своя бегает. Что с собакой такое?

— Пошла отсюда! — прикрикнула я, надоело визг слушать.

Она забилась под табуретку, но вскоре выскочила оттуда и опять прямо места себе не находит, дрожит вся. Не блохи ли ее донимают? Я-то знаю, что не блохи, потому что несколько дней назад в воде с порошком ДДТ ее выкупала. Хотела было палку взять да стукнуть хорошенько, но как раз в это время власти и появились. Это их собака почуяла.

Разрешения войти они не спрашивают. Слышу, дверь заскрипела — и они тут как тут. «Чего им надо?» — успела я подумать. А они спрашивают:

— Здесь живет Адольфина Гуардадо? Это дом Адольфины Гуардадо? Мы ее разыскиваем.

— Никакая Адольфина Гуардадо здесь не живет… Пошла отсюда, Пихириче!.. Здесь живет Гуадалупе Фуэнтес. Чем могу служить?

А они вынули книжечку и читают глухим, словно из пещеры, полной вампиров, или из глубокого темного колодца, голосом диктора, который в полдень последние известия передает.

— …Здесь все записано точно. Это ее дом.

Если бы собаки со мной не было, у меня коленки бы от страха подломились. Фамилия Адольфины — Эрнандес.

— Лучше не пытайтесь нас за нос водить.

— Я и не вожу вас за нос. У моей внучки фамилия Фуэнтес. Адольфина Фуэнтес.

Обуты они в высокие, до икр, кожаные ботинки. Грудь ремнем через плечо перехвачена. А хуже всего то, что на плечах у каждого висят железяки здоровенные — это и есть те самые автоматы, которые трещать умеют. На головах стальные каски, как у фашистов в кино. А на спине штуковина какая-то вроде радио. Сами такие серьезные, будто на президента обучаются. Как Хосе говорит: посмеет ли кто им противиться, если железяки ихние за минуту кучу свинца выплевывают? Попадет в ногу — нога отлетает, попадет в руку — и рука долой. Сила есть — ума не надо. Давно известно, что у этих умом и не пахнет. Умные люди в полицию не идут, это нам хорошо известно — на собственной шкуре испытали. Из нашей округи кое-кто подался в полицию. Конечно, самая шваль. Это так же точно, как то, что меня зовут Гуадалупе Фуэнтес де Гуардадо, жена Хосе, Чепе.

— Нас не интересует ее настоящая фамилия. Мы ищем твою

родственницу по имени Адольфина. Вы же имена меняете.

«Говорят, что винтовки у них — лучшие в мире. Даже в кино, Лупе, даже в кино таких не увидишь. Эти самые новые. А кинофильмы, которые сюда привозят, старее нас с тобой», — говорил мне Хосе.

Моя внучка Адольфина — дочь Марии Пии Гуардадо Фуэнтес, моей дочки, которая вышла замуж за Элио Эрнандеса. Я знаю, что врать грешно, а эти люди за грех берут дорого. Так что, если назвали верно, придется правду говорить. Теперь ведь не только бог, но и эти люди карают. Лучше притвориться, что не понимаю. Что с такой взять?.. А может, все это во сне? Почему эти люди спрашивают про мою внучку?

— Это, наверное, ошибка, сеньор полицейский. Она внучка моя. Маленькая. Совсем ребенок.

Лучше спросили бы про меня или про Хосе, В конце концов, взрослые люди могут быть плохими, а дети — нет. С каких это пор им пришло в голову связываться с малолетними? Скорпион и тот не дает своих детенышей на съедение. А внуки? Они тоже наши дети.

«Раз они мне говорят, что ошибки нет, что именно мою родственницу Адольфину спрашивают, придется выкручиваться», — подумала я и ответила:

— Она ушла на развилку, соли купить и малышу чего-нибудь поесть.

— Какую развилку?

— В лавку к дону Себасу.

И как иначе разговаривать с ними? Может, предложить перекусить горячей лепешечкой? Жаль, что огонь уже погас и теста сегодня я не ставила. Закусят — про все забудут. А времени хватит и огонь разжечь, и комаль[17] нагреть.

А они вспотели на солнышке. Печет здорово. Пешком шли бог знает откуда. Они всегда джип оставляют далеко. Такая у них привычка. Разглядываю я их — рослые фигуры в форме цвета бычьего дерьма, в крагах и с автоматическими железяками на плечах. Ребята крепки, упитанные. И не случайно это. Кормят их как на убой. Их двое, но там, у джипа, должно быть, сидят остальные. Вот один взял штуковину, которая похожа на радио, и слушает. Должно быть, с теми, у джипа, говорить будет.

— Тогда мы подождем ее.

— Пожалуйста.

Они остались стоять в коридорчике. Один достал свой пропахший потом грязный платок и начал отирать лоб. Другой разглядывал стены и видневшееся через дверь банановое дерево, будто пытался что-то обнаружить под его ветвями и сухими

листьями.

— Садитесь, если хотите.

Но они отказались. А у меня комок в горле встал. Словно я крючок проглотила и кто-то снаружи его тянет. И не за себя испугалась. Нет. В своей жизни я и не такое видела. Страшно стало за Адольфину.

Они всегда ссылаются на законы, а сами убивают — и концы в воду. Не простая это штука — закон.

— Может, воды вам принести?

Но они меня не слышат. Делают вид, что не понимают. А вода свеженькая, только что из колодца, холодная, даже кувшин запотел. Не отвечают, будто оглохли. В таких случаях лучше всего на бога положиться. От волнения я чуть окурок не проглотила, но тут же выплюнула его вместе с черной от табака слюной. Эти люди всегда беду приносят. Воду я им предложила, чтобы беду немного отпугнуть. Да к тому же в воде никому отказать нельзя.

Попыталась огонь разжечь, но ничего не получилось. Ветками никак не обойтись. Ливану-ка я немного керосинчику на поленья. Они не хотят от меня ничего принять, чтобы потом не чувствовать себя обязанными, неблагодарными. В долгу, значит, не хотят оставаться… Хворостинки, охваченные огнем, затрещали, словно тысячи хлопушек. Пламя становится все больше и больше. Начинают гореть толстые поленья. Теперь и на скамеечку присесть можно. Есть у меня такая: гладкая доска из какаового дерева на четырех ножках.

Вот они о чем-то вполголоса заговорили, и я расслышала:

— Нет ее еще.

Какое мне дело, знают они или нет, что мне все слышно, обращают они на меня внимание или нет. Но, пожалуй, лучше объяснить им.

— Она пошла с тремя ребятишками, один грудной, на руках. Так что девочке несладко приходится, — сказала я, а у самой поджилки затряслись и горло снова точно узлом перехватило. И не помню, не то я сказала так, не то подумала. Все как-то смешалось в голове. Страха настоящего не чувствую. Чего бояться, если я ничего такого не сделала? Просто за девочку страшно. Она ведь еще совсем маленькая.

Адольфина рис любит, и всегда к ее приезду мы стараемся его купить. Ей ведь не так просто добраться от дома до Чалате. Так что стоит ее порадовать. Приятно, когда над сковородкой белый дым над рисом, будто в Ватикане[18], поднимается. Пепел летит до закопченных стропил, на которых крыша крепится. Домишко уже больше пятнадцати лет стоит. Чудом еще держится. Вот так и люди седеют раньше времени. Рис без воды тоже

сохнет. А руки морщинистыми делаются, будто пауки с пятью лапками. Заботы людей подтачивают. Только и живешь что заботами да налетами.

Не подумав, поднимаю руку, чтобы перекреститься. Еще решат, что я ненормальная или крещусь, потому что боюсь их. Но в этом возрасте уже не боятся. А если правду говорить, то не такая уж я и старая. Дело в том, что мы рожать начинаем с детства. Я от Хосе понесла в пятнадцать лет. Никто не скажет, что мне всего сорок пять будет. Жизнь сильно меня потрепала.

«Может, они воды хотят?» — снова мелькает у меня в голове.

Нет, этим мерзавцам лучше ничего не предлагать. Слезы глаза застилают и все катятся и катятся по щекам. А этим грязным передником даже вытереться нельзя — года два назад его мне Хосе подарил — да, наверное, и незачем. Все равно заметят, что глаза от слез красные.

Кого они из себя корчат? Да нет, не корчат. Они просто хлюсты от роду. По их глазам это видно. И кто только выдумал эти власти? Осатанели они. Это точно. Хотя и упитанные все, а кожа-то сухая какая-то. Вероятно, невеселая жизнь у них. А у нас — чего уж там зря говорить, хотя и бедно мы живем, но веселиться умеем. Ясное дело, нужно уметь хвост держать кверху.

— Нет-нет, не хотим, — ответили они, когда я им воды предложила. А что сталось бы, если б попили? Вода — дело святое. Никогда от нее нельзя отказываться, хоть сам дьявол подает. — У нас фляги есть с водой.

— Да я так, на всякий случай.

Ну и пусть, как хотят. Одно дело — страх перед ними, а другое — внимание.

Тут я увидела, что Пихириче, повиливая хвостом, направляется ко мне.

— Пошла отсюда! — прикрикнула я. Не скажу, что она у нас умная, нет. Но хорошо, что молчит. Другая давно бы уже гостей облаяла. Только я это подумала, а она как зальется. — Сказала тебе, пошла вон!

— Откуда взялась эта псина?

— Вот видишь, дуреха, тебя уже псиной называют.

Раз облаяла, значит, теперь пристукнут. А Пихириче между тем спокойно направилась к одному из полицейских. Я не выдержала и что было мочи крикнула:

— Стой!

Но было поздно. Слышу грубый, хриплый голос:

— Ах ты шелудивая! Прямо на ботинок напрудила! Гадина паршивая!

Пинок ногой, и полетела моя собачонка будто мячик. Так я и

думала, что этим дело кончится. Иди отсюда, пока ребра тебе не поломали. За дело. Так тебе и надо. Вот какая глупость может приключиться. А я еще говорила, что собачка умная. Смотрю, полицейский ногой в ботинке трясет, стараясь собачью мочу смахнуть, и смех меня разбирает. Не могу удержаться от смеха, да и все тут. «Что это с ней, со старой дурой?» — наверное, подумали они. Молодец собачка, отомстила за меня. Ну и сукин сын тоже хорош. А по правде сказать, смех меня одолел не потому, что собака на человека помочилась, а потому, что вспомнила я шутку, которую мне Хосе рассказывал.

К знаменитому генералу Гомесу приходит гость. Генерал возлежит в гамаке. Посетитель садится на табуретку, под которой устроилась генеральская собака. Неожиданно посетитель издает непотребный звук. Чтобы как-то выйти из неловкого положения, он, делая вид, что это произошло с собакой, бросает с упреком: «Ну и песик!» — и заглядывает под табуретку. Генерал, дымя сигарой, покачивается в гамаке. А посетитель неожиданно еще раз издает тот же звук, снова нагибается к собаке и повторяет: «Что ты, песик?» Генерал продолжает спокойно раскачиваться в гамаке. А когда то же самое случилось и в третий раз, генерал, обращаясь к собаке, говорит: «Убирайся поскорей, не то на тебя еще и напакостят».

Любимая шутка Чепе Гуардадо.

— А старуха, видать, чокнутая.

Видите, что можно заработать из-за твари неразумной?! Моя мама всегда мне говорила: «Дурочка ты, все хохочешь и хохочешь». Это правда. Когда маленькая была, смеялась просто так, без всякой причины. «Зубы у тебя от смеха вылетят», — говорила мне мама. Или еще: «Когда девчонка начинает слишком часто смеяться, парня ей надо».

Но мне тогда еще лет десять только было, и ничего я такого не понимала. И надо же тому случиться, что через четыре года я за Чепе замуж сразу вышла без всякого там ухаживания. Он старше меня был, и мама все сама уладила. Мне едва пятнадцатый пошел, когда Хосе взял меня к себе. Мне и погулять-то в девушках нисколько не пришлось: выходишь замуж — про все забыть должна. А я еще и забеременела Марией Пией сразу. Хочешь не хочешь, а серьезной будешь, если детей растить надо и забот все больше и больше становится. Мы, взрослые, можем и поголодать, а дети — совсем другое дело.

А потом, когда первая девочка моя чуть окрепла, стала я ее за спиной на работу таскать. Вместе с Хосе мы на кофейные плантации в Санта-Теклу ходили. Потом второй ребенок появился. Такая вот жизнь.

Несколько раз мне все же довелось улыбнуться Хосе до замужества. Так что нельзя сказать, что я его не привораживала. Помню, я вплетала в волосы цветы, а когда он приходил, быстренько снимала их и рвала. Он мне очень нравился с самого начала, хотя и был старше меня. Я и вообразить, конечно, не могла тогда, что все кончится тем, что мы поженимся. Разве о таком можно было подумать? Когда он приходил к нам, я искоса на него поглядывала, или чего-то рисовала рукой в воздухе, или прохаживалась перед ним, пока мама не скажет: «Дочка, тебя что, муравьи кусают, чего ты дергаешься?»

А Чепе все глядел и глядел на меня. И я на него тоже.

Конечно, это потом на человека усталость наваливается. Не до смеха ему, не до улыбок. Дети появляются. А как подойдет сезон кофе собирать, так подымайся всей семьей, с малышами. На всех одна циновка и один шалаш. Переодеться не во что, ходишь все в одном и том же. В чем смеешься, в том и плачешь. Недаром сочинили песню «На тебе все то же платье».

Ну а что можно сделать, коли живешь бедно? И ни в чем-то разобраться не можешь. Только и остается, что на судьбу жаловаться. Оно так и бывает, пока у человека нет ясности. А сколько пакостей власти могут тебе сделать! После того как я однажды спросила у Хосе, что значит быть сознательным или что-то в этом роде, он и объяснил мне. И стало понятно, откуда всякие пакости идут и почему власти так нагло ведут себя.

Надо знать, почему это все так. Наверное, больше всего меня смех разбирает потому, что я понимаю: им-то хочется, чтобы я тряслась перед ними, места себе не находила. Конечно, за девочку я боюсь. Жизнь бы за нее отдала. Но трястись перед ними — ни за что!

Хосе не раз мне советовал: с властями, пока можно, надо быть уважительной. Не надо открыто вражду выказывать, дразнить не надо и убегать от них тоже не надо — они стрелять начинают. Если ты видишь, что цепляются к тебе, значит, чего-то хотят. Значит, смотрят, как ты отвечать будешь, и думают, как бы тебе голову свернуть. Не надо самой поддаваться на их уловки. Своего можно добиться и без того, чтобы трястись перед ними. Так меня учил Хосе.

ВЛАСТИ

Видишь ли, раньше мы не знали ни вилок, ни ложек, которые блестят, будто серебряные или золотые. Миски у нас были из высушенной тыквы, ложки из хикаро[19]. Металлические, «будто серебряные», рот обжигают, а из хикаро — нет. Ешь горячую похлебку, и хоть бы что. На скатерти есть тоже не приходилось, ну, это вроде тех, в которые маисовые лепешки-тортильи заворачивают, только побольше и с цветочками по краям, из материи наподобие шелковой, тонкой такой, мягкой, как бархат или голубиное перышко. А тут еще и стулья появились. Прямо рай настал. Чего нам еще не хватает?

Хоть, правда, этот умник, чертов гринго[20] — инструктор, нас за людей не считает, но все равно — боже упаси, чтобы эту жизнь я на другую променял.

Мясо каждый день едим. Вначале без привычки мне даже тяжело было, живот болел. Тортильи больше не едим, и к этому не так легко было привыкнуть. Дают хлеб, намазанный чем-то, что маргарином или чесночным маслом называют. Да чего там говорить! Все равно не поймете.

Другой инструктор — китаец, по-испански очень плохо говорит, что-то все тараторит, но как преподаватель — да, он дело знает.

Скажу про пюре, например. Такого я не знал раньше. А теперь могу объяснить: что-то вроде маисовой каши, но только из картошки. Вы не поверите, просто протертая картошка на воде. Поначалу тошнит от него, есть не хочется, невкусно, да еще поверх несколько стебельков петрушки положено. А потом привыкаешь. Жратва богов.

Можно было бы принести вам немного на пробу, но у нас на выходе каждого обыскивают. Только мне не хватало, чтобы у меня пюре нашли! Я даже не представляю, почему оно так называется. Как на духу говорю, на дерьмо оно, это пюре, похоже. И воняет. Вот и поймите, как его через силу есть приходится. В конце концов привыкнуть можно. Говорят, что это во Франции выдумали. Не знаю. В тех странах народ горазд на выдумки.

По утрам нам дают стакан апельсинового сока и стакан молока, которое югуром называют. Сок — штука хорошая, но зато этот югур — блевотина, простите за слово. И приходится его как касторку глотать. Вначале я ради предосторожности нос затыкал. А теперь стоит мне только подумать, что это хорошо, и ничего, идет. Югур надо пить как наше гуаро — не смакуя, а то все назад пойдет. И уже тогда верняком накажут. Так оно и случилось

однажды. И зачем тому бедняге это было нужно? Начальник сказал нам тогда: «Ну и мерзавцы вы все. Больше ни видеть, ни слышать не хочу про ваши штучки. Имейте в виду».

И действительно, ведь живем мы будто принцы.

— Чтобы вы могли родину защищать, — говорит гринго, — вам нужно хорошо питаться.

За такое довольство мы не можем людей подводить. Каждый должен быть готов защищать родину от врагов, не щадя ни брата, ни свата. Да что там — мать родную не щадя. Может, подумаете, слишком загибаю, но, поверьте, Запад в опасности. И мы знаем, что самая большая опасность для западного мира — это то, что наши инструктора называют «народом», Инструктор громко спрашивает:

— Кто наш злейший враг?

А мы хором кричим:

— Народ!

И дальше в таком же духе:

— Кто злейший враг демократии?

Мы дружно отвечаем:

— Народ.

— Громче! — приказывает он нам, и мы орем что есть мочи:

— На-род! На-род! На-род!

Сами понимаете, что это я вам все по секрету говорю. Нас называют «особыми», «специальными». Стараются, чтобы каждый из нас хорошо это понял. Конечно, мы особые. Если бы это было не так, зачем тогда на нас столько денег тратить, такую шикарную житуху нам устраивать?

Даже сыр и тот нам дают особый. Сверху он красный, а внутри желтый, будто золото.

Да чего там говорить! Мог ли я, католик, в моей сволочной жизни мечтать когда-нибудь о таком? Нет, это не для всех. Это только для особых. Наши инструктора — все иностранцы, кроме начальника. А того почти и не бывает. Изредка придет спросить, как наша учеба, как дисциплина. Мы хором должны ему отвечать:

— Ради родины стараемся!

Все это я вам, кум, по секрету рассказываю. Смотрите, никому ни гугу.

Есть у нас инструктора по таким делам, что вам даже и не снилось. Например, по искусству, ну да, так у нас называют военное дело. А еще нас сихологии учат, сказать по-другому — как можно одними словами заставить людей раскалываться. Вы же знаете, что не все физической силой выжать из человека можно. Есть люди, которые и со слов все понимают. Этой сихологией да еще электрическими аппаратами всего можно

добиться.

Спасти от опасности демократию мы сможем, если будем крепкими. Но берегитесь, ежели проболтаетесь, кум. Давно известно, какая цена тому, что по пьянке говорится. Да я могу заявить, что вы специально меня пригласили, чтобы споить и выведать кое-что. Да нет, нет, не бойтесь! Ну, еще по последней. Я, кум, угощаю, не кисни. И чтоб не дрыхнуть!

Ну так вот, значит… Гринго говорит, что нашему народу душу отравили. Нужно промыть ему мозги. Это по-ученому. Мы этого не понимаем, потому как мы — страны отсталые. Не в том дело, что мы глупые, а в том, что мы неграмотные. Как кто-то говорит: лодыри мы, лень родилась прежде нас.

Нам не повезло, что нас испанцы завоевали. Выпивохи они были хорошие. А туда, на север, англичане пришли. Эти знают дело. Англичане покончили с индейцами, а испанцы нет. В этом их большая ошибка. Вы же знаете, я не к тому, чтобы ругать, а к тому, что мы, индейцы, ленивые и очень хотим, чтобы нам все с неба упало. Мы всегда на все согласны. Вот я, например. Если бы у меня не хватило духу в город уйти, был бы я такой же, как вы. Не в обиду будь сказано. Жил бы, с маиса на фасоль перебивался. То, что вы едите, разве можно едой назвать? Например, в Соединенных Штатах маисом только поросят и лошадей кормят, а для вас здесь маисовая тортилья с солью — радость.

Вот я и говорю, что не повезло нам. Даже насчет веры и то плохо обернулось. Туда, повыше, в Соединенные Штаты, настоящий Христос являлся. У них — белые культурные пастыри, которые и слово божье несут, и науку сихологию понимают, и каратэ тоже. А нам испанцы принесли сифилис и веру католическую, которая чистейшим коммунизмом отравлена. Ясное дело, испанцы не убивали индейцев, наоборот, даже спали с индианками. Вот откуда и пошла наша раса. Да что там говорить! Поглядите на свой цвет кожи. Если бы мы в Соединенные Штаты поехали, нас бы там за негров приняли, ни в гостиницу, ни в автобусы для белых не пустили бы. Больше того, хуже, чем с неграми, обращались бы. Говорят, что, хотя цвет негров и подводит всегда, их все же считают американцами, а мы, латинцы, с нашим цветом кожи ни то ни се, ни чича[21], ни лимонад.

Лучше бы мы были неграми или белыми, а не болтались бы где-то посередине. Надо, кум, определяться. А испанцы нас под монастырь подвели даже с религией, как я говорил. Вот и получилось, что священники стали хуже, чем миряне. Теперь сам видишь, как их берут в узду, а то и вообще в расход пускают. Знаете уже, что мы сделали с теми, которых убрать надо было? А

хуже всего, что от этого нам не легче. Вдруг еще какой-нибудь красный епископ приедет и отлучит нас от церкви? А если по правде сказать, то мы не знаем, есть ли ад, нет ли его — об этом узнают, когда ноги протягивают. Но знать хотелось бы. А может, вовсе и не отправляют человека в котел огненный.

Гринго нам говорил, что подлинная вера Христова — это ихняя вера, но священники опоганили ее с тех пор, когда папой был коммунист; им пришлось отравить его, а потом посадили другого папу — антикоммуниста, говорят, что этот еще хуже. Но даже если все так и есть, все равно верить нельзя, потому что католики с нечистой силой заодно. Так гринго нам говорит.

Вы, кум, мне не верите, потому что думаете, что я не соображаю. Но коммунисты и священники кое-что выиграли. Потому нам и трудно, что столько сволочей перестрелять надо. Раньше все было здорово. Никто не бунтовал. Никто не болтал про такие вещи, как «минимальный заработок». Почему сразу не просить максимальный, и делу конец?! До чего дошли! Не боятся сыр требовать! Когда это вы в своей вонючей католической жизни сыры разъедали? Пузо заболит ведь, если чего-нибудь кроме тортилий да фасоли поедите.

Много на земле сволочей развелось! Подбивают нас требовать у богатых то, чего сами не могут нам дать.

Вот так, кум. Не серди меня. Если я ем то, про что говорил, то не тебе меня упрекать. Я должен хорошо питаться. Потому и не хотел ничего вам рассказывать. Мне за работу мою дают. Я в божьей армии состою. Мы цивилизацию спасаем, и не еретическими идеями, взятыми из книжек, а каждый божий день на деле. В нашем распоряжении средства самой цивилизованной страны в мире. На бога надейся, а сам не плошай… Давай, кум, еще по одной пропустим. Но только заплачу я, чтобы не сказали, что я в армии испортился. Дело в том, что вы, штатские, думаете, что мы тупые. Только и умеем стрелять. Но ты теперь знаешь, что у нас свои идеи есть. Так вот, мы гарантируем, что наши мозги никому промыть не удастся.

Не надо, кум, этих штучек. Я же двойную выпил и хоть бы что. А вы уже окосели, не в обиду вам будь сказано. Не надо на меня сердиться, как положено дело сделаем.

Давай, кум, еще по кружке пива, чтобы гуаро хорошо осело. Вы, кум, думаете, если я пью стаканами, то не вижу, что вы только пригубливаете? Хотите, чтобы я нализался, а люди потом сказали, что я, мол, от одной бутылки свалился? Уважать перестанете? Ну да ладно! Не буду больше ругаться. Пейте пиво.

Но видите ли, кум, насчет промывания мозгов я спросил у гринго. Вначале я думал, что мозги действительно моют с мылом

и водой. Все так и покатились со смеху. Кроме гринго. Он человек серьезный, даже слишком серьезный. Никогда и ни с кем не шутит. Он ответил мне тогда:

— Ты прав. Это действительно как водой с мылом, неважно каким. Для вас и этого вполне достаточно.

Дело в том, кум, что это очень сложная научная проблема. Вот так-то. К тому же страна наша отсталая, а мы люди темные.

Больше я не спрашивал. А мои приятели продолжали смеяться. Тогда гринго скомандовал:

— Молчать, сукины дети!

Эти слова он произнес четко по-нашему. Как он сам однажды признавался, эти слова были первые, которые он заучил, потому что был уверен, что ему придется их часто повторять. В тот раз насчет «часто повторять» мы не поняли. А потом разобрались, что все начальники иначе как сукиными детьми нас не называют. Затем гринго объяснил нам, что все это входит в программу обучения, чтобы мы привыкли к этим словам и потом, когда надо, сами их употребляли.

Если гринго из себя выйдет, то разве его остановишь? Взбеленится — и никакого удержу. Начальник с первых дней нас предупредил, что у гринго, да и у других инструкторов права неограниченные, могут даже нам пинка дать под зад, если мы чего-то не понимаем. Чтобы ты знал, я говорю все начистоту. И такое бывает. Сразу ко всему не привыкнешь. С гринго, кум, да и с другими шутки плохи. Они здесь для того, чтобы из нас настоящих мужчин сделать и чтобы мы поняли проблемы борьбы с коммунизмом в этой отсталой стране. Хотел бы я поглядеть на вас, когда вам под зад дадут или когда китаец приемом каратэ по затылку с ног сшибет. Стоит кому-нибудь на занятиях отвлечься или задремать — будь спокоен, он тут же сзади окажется и — трах палкой по затылку. Могу сказать, что не один прямо в госпиталь после этого попадал и не возвращался оттуда. Вот так-то, кум. А вы как хотели? Но дерьмом питаться и вкалывать от зари до зари за гроши, на которые и поесть досыта нельзя, еще хуже. По-вашему, так и должно быть. Для того вы и на свет божий появились. Если бы вас хоть чему-нибудь научили, вы бы мне такие вещи не говорили. А если я вам все прощаю, так только потому, что вы ни черта не смыслите. Но зато не сомневайтесь, захочу — могу связать вас и отправить куда надо. Для того и прохожу специальные курсы.

Ни мать, ни отца не пожалею. А тебя, кум, тем более.

Дело в том, кум, что все вы, штатские, дерьмо. И никуда вы от этого не уйдете. Вы завидуете нашей военной форме и тому, что мы в люди вышли.

Потому, когда до дела дойдет, никому пощады не будет. Понял, кум?

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ УТРА

Начну-ка я готовить, чтобы не видеть и не слышать, как Пихириче жалобно под банановым деревом скулит. Не на все глаза спокойно смотреть могут, да и сердце не каменное. Конечно, жалко, но получила она за дело. Чего это ей вдруг помочиться захотелось? Да и где?

Ну ладно, сейчас возьму тебя, раз ты сама не выходишь. Наверное, больное место зализываешь. А можно ли отойти от этого проклятого очага? Лучше бы, конечно, спросить разрешения у гостей незваных. Хотя они и в чужом доме теперь хозяева. Да и зачем их злить без надобности, выказывать свое неуважение к ним? Давно известно, что, если они и не говорят ни слова, все равно надо с ними быть повежливее. Правда и то, что ей за дело попало. Вот и вертит теперь своим обрубком, как змея.

Вернулась я с Пихириче на руках. Бедненькая моя. А солдат так и сидит, будто окаменел, будто и не ему совсем на ботинок собака надула. Больше четырех лет собачка со мной не расставалась. Как я могу ее не жалеть? Она, как хвостик, всюду за мной тянется. Она и сторож, и для детей забава.

Потом я, будто нехотя, направилась к калитке, чтобы посмотреть, не показалась ли Адольфина с ребятишками. Нелегко ей с тремя идти, к тому же самый младший ходить не любит. Да он и не может еще ходить, хоть и старается. И, будто обращаясь к собаке, говорю:

— Сейчас вон оттуда появятся. — Тень на плетень навожу. На самом-то деле они придут не скоро. И еще раз повторяю: — Вот-вот вернутся.

Они делают вид, будто не понимают. Наверное, решили ждать, сколько ни придется. Терпения у них хватает, потому что в силе своей крепко уверены. А я ведь так просто, хотела только, чтобы не так тяжко было. Все равно, когда придет Адольфина, нового ничего не произойдет. Должно быть, им нужно что-нибудь проверить.

Разве разберешься, когда нынче такое кругом творится! Даже неповинных людей и тех хватают. А Адольфина ни в чем не виновата. Все мы ни в чем не виноваты. Если кто и виноват в худых делах, так это только власти. Это все из-за того, что они такие.

И единственно, кого в тюрьму сажают, в кого стреляют и убивают на дорогах, — это бедняков. Все потому, что власти не любят нас, досадить нам хотят. Для того власти и есть, чтобы порядок среди бедных наводить, командовать бедняками, бить

бедняков, как скотину, увозить. Но когда-нибудь кончится для властей праздник. А хорошего они не заслуживают. Им никогда не приходилось туго. Вот потому они такие и важные. Напялят форму и думают, что они боги. Сами же хвастаются: чего захотим, то и сделаем. Оно так и есть, чего уж там говорить! А по мне, ладно, пускай сидят, хоть и одна я одинешенька с ними. Но не подумайте, что душа покойна, когда видишь перед собой эти ихние фляги, ножи, автоматы. Им даже наши собачонки мешают, они так и норовят их пристукнуть. С такими ничего не поделаешь. Но когда-нибудь все по-другому будет. Хосе говорит, что этот день недалек. Я не очень хорошо во всем разбираюсь, но с Чепе согласна. Мне это нравится. Особенно нравятся люди, которые взялись наши права добывать. Иногда и я им немного помогаю. Но, по правде сказать, все это Хосе делает, а я сижу с малышами. Оставить их одних нельзя. Вот почему я и говорю, что помогаю, как могу. На то мы и есть, чтобы самих себя защищать, потому что нас защищать некому. Каждый должен за других беспокоиться. Вот потому я за крестьянскую федерацию…

— Если она вскоре не появится, нам придется привести ее.

Разве им объяснишь? Да и зачем? Звери, а не люди. Не понимают, что девочка с тремя малышками пошла и что летать, как птица, она не может.

— Подождем еще немного.

Говорят они негромко, но мне понятно, что им хочется, чтобы я услышала и напугалась.

Думаете, моя внучка взрослая? Ей всего-то пятнадцать. Когда время подошло, она вытянулась и оформилась, прямо как женщина. Бедра округлились, волосы длинные, почти до колен, стройная до невозможности. Такая красивая! Про нее ничего плохого не только не скажешь, а даже подумать нельзя. Это наша кровь. Кровь Марии Пии.

Дело совсем не в том, что я трушу. Ни-ни. Но еще не зарубцевавшаяся рана на сердце после смерти сына разве может не болеть? Я тогда сказала себе: довольно! Хустино я потеряла. Он знал, за что борется. Он мне говорил про это, может быть, даже больше, чем Хосе. Но как я ни стараюсь не думать о родной кровинушке, все равно при упоминании имени его горло петлей перехватывает и слезы ручьем льются. Хоть я и не из тех, кто плачет. Лишний раз не доставлю нашим врагам радости увидеть мои слезы. Они еще поплатятся. Так я говорила себе. Ни с одним христианином не сделали такого, что сделали с моим сыном эти убийцы проклятые. Никто бы такого натворить не смог, так я себе говорила.

Как бы там ни было, хотя они и не жалуют моего

гостеприимства и даже от воды отказались, я все же решила предложить такое, от чего они не откажутся: ананасную чичу. Пусть хоть чем-нибудь займутся.

— Ну ладно, если водички не хотите, может, по кружечке чичи выпьете? Это не контрабандное гуаро.

При этом я улыбнулась. Зачем? И сама не знаю. Глупая, просто так, чтобы зубы показать. Но лучше, если они будут ждать Адольфину здесь. Она вернется только к вечеру.

— Свеженькая, вкусная.

Ну и дура же я! А в глубине души у самой все же теплится надежда, что сумею смягчить их сердца. Но боже сохрани на это надеяться. Ничего нельзя дарить корысти ради. От этого правила нельзя отступать. И все же надо их ублажить, чтобы они не отправились за ней сами.

И они ответили:

— Ну что ж, давай.

Я с радостью налила в кружки до самых краев чичу, а они с опаской, словно боясь обжечься, протянули руки. Сначала сержант несмело протянул свою, а за ним солдат. Ну и люди, никому не верят.

Я знала, что от чичи они не откажутся. Она ведь такая вкусная.

— Недурно, наливай еще.

— Смотрите не пролейте на форму…

«Хитрая старуха, — наверное, думают они, поднося к губам кружки. — Она нас этим дерьмом купить хочет».

— Крепкая!

— Точно, мой сержант.

— Выпей, не бойся. Тебя не свалит. Чистая ананасная.

После первой они повеселели и за разговором не заметили, как кувшинчик прикончили. От чичи не пьянеют, только голова слегка кружится. Чича вкусная. Чепе Гуардадо мне часто говорил, что жаждущему всегда надо дать напиться. Гостю прежде всего предлагают воду. Особенно у нас, в Чалате. Здесь от жары деваться некуда. Так и хочется все с себя скинуть. Иногда под вечер, примерно после четырех, северный ветерок подует со стороны Гондураса. А с одиннадцати утра, вернее после одиннадцати, до трех — прямо пекло адово. Чепе как-то мне сделал веер из пальмовых ветвей. Им и освежиться можно, и огонь раздуть.

В жару никто не откажется от кружки перебродившего за неделю сока. Но самое главное, я для того, любимый Чепе, напитка не пожалела, чтобы они забыли про девочку. Чтобы они от безделья не остервенели. Конечно, если бы они захотели, они

могли бы за ней сходить. Это же ведь недалеко, полтора километра. Но по всему видно, что идти им уже не хотелось. Тем лучше…

К счастью, Хосе не придет обедать. Даже подумать страшно. Хорошо бы, если бы он и ночевать не приходил. Лучше ему в лесу остаться.

МАРИЯ РОМЕЛИЯ

Моя мама рассказала, что на бедную Лупе большое горе обрушилось. С тех пор и трех недель еще не прошло. Ей тогда сказали, что видели убитого, изуродованного человека, и все подумали, что это Хустино.

Набросила она платок на голову, быстро надела черное платье и, сама себя не помня, побежала туда, где нашли человека. «Нет-нет. Это не мой сын. Он в Илобаско работает». А в глазах слезы. Наверное, сердцем почувствовала, что это он, ее сын. Опознать его не опознали. Убитый лежал без головы. «Ну и что ж, что люди подумали? Дай бог, не Хустино это. Мало ли что скажут! И чего это вам взбрело в голову, что моего сына убили?»

Лучше было бы обмануть ее и сказать, что Хустино тяжело ранен, но правду уже выпалили, и весть быстро облетела все селение. С Хустино и на самом деле жуть что сделали. Тело нашли в одном месте, а насаженную на кол голову — в другом. Раненько утром, часов в шесть, шли люди на работу и увидели что-то круглое на колу. Кто мог подумать, что это голова человеческая? Мыслимо ли такое злодейство?!

Потом заметили, что к дому Гуадалупе люди бегут. А когда спросили, что случилось, они нам и рассказали да еще спросили у нас, как лучше сказать об этом Лупе, чтобы не сразить ее на месте. Моя мама посоветовала не спешить и добавила, что лучше, если Лупе своими глазами увидит и сама все поймет, ей не так больно будет, в еще — что нужно сходить в асьенду и сообщить Чепе. А потом мама сказала, что пугать Чепе не надо и что она сама сходит и скажет ему. А пока пусть он спокойно работает.

Один рассказал вот что:

— Видишь ли, дело какое. Работал я тут неподалеку. Вижу висит на колу что-то. Но мне вроде бы и ни к чему как-то, пока не заметил, что люди останавливаются в разговаривают. Я-то давно уже видел, что висит что-то. Но что? Разобрать трудно, темновато еще было. Я ведь на работу до свету прихожу…

Потом какие-то люди, одетые в штатское, понесли его домой. Первой их увидела жена Хустино. Она в патио была одна, без ребят. Ребят не было, они ушли, вернее, их увели — малы еще. Наверняка власти пронюхали, что несколько недель назад Хустино собирал в округе народ на демонстрацию к банку. И жена Хустино подумала, что власти ведут расследование, а потому на всякий случай спряталась — так и Хустино ей раньше советовал — за стволами пальм, которые принесли несколько дней назад, чтобы уборную сделать. Дом-то их у дороги стоит. А

по дороге постоянно с раннего утра народ ходит. И все видно, что в патио делается, а есть такие, что любят еще и подглядывать.

— Семь пуль в него всадили.

— Толкуют, одной такой пулей пальму свалить можно.

— Какое зверство-то!

— Говорят, когда тетушка Лупе пришла на место, где был ее сын, она только глаза закрыла…

— Ни одной слезинки не проронила…

— Могут подумать, что сердце у нее каменное. Но только те, кто этих людей не знает…

— На остаток жизни силы бережет…

— Мертвые уже отмучились, а мы, живые, все еще ползаем в этой юдоли горя и слез.

— Все знают, как Лупе и Хосе всю свою жизнь трудились, да так ничего и не сумели добиться, никакой радости не видели. Только работа и работа.

— Трудно на поденщину жить.

— Даже на девятый день за него не молилась…

— Нечего нам в чужое горе лезть.

— И священник не захотел вступиться…

— Хосе пошел на работу, как будто ничего не случилось, а Лупе дома закрылась, не показывалась несколько дней.

— Я иногда к ней заглядывала, хотела помочь, с ребятами посидеть. Про свое горе она ни слова. Зачем раны бередишь?

— В таком разе лучше помолчать…

— Чем горю поможешь?..

— Живым помогать надо…

— Не приведи господи такое пережить!

Каждому хотелось выразить Лупе свое сочувствие. Сегодня тебе, завтра мне. Горе тетушки Лупе стало нашим горем.

После этого властей какое-то время в селении совсем не было видно. Понимали, что натворили. Дальше развилки носа не совали. Приедут туда, зайдут к Дону Себастьяну, прохладительного выпьют, спросят про новости, но не потому, что на самом деле их что-то интересует, а так, чтобы не молчать. Дон Себастьян отвечал им, что все тихо. «Скорее уйдут, сволочиться не будут».

Люди стали бояться ходить на развилку. Никому не хочется с властями связываться. Особенно тем, кто дела делал. Они на глаза властям не лезли. От властей пощады не жди.

А народ говорил:

— Молодец Лупе…

— Как можно такое выдержать?..

— Не думай, такое даром не проходит. Полжизни потеряешь,

поседеешь раньше времени.

Так судили соседи.

И Хосе под стать Лупе. Настоящий индеец своего сына про себя оплакивать должен. Перед нами он крепкий, как сейба. Никто не знал, что у него на душе, как он страдает. Обо всех он заботился, почти не отдыхал, дела общины решал. Мы подмечали, сколько он сердца в них вкладывает. Туда, сюда — все время в делах и заботах. Душа кооператива. Выдержки у него, как у сеньора, на все хватает. Есть у него слабости, но не такие, как у других. Например, он не разрешает называть себя доном Чепе. Когда мы собираемся в кооперативе, он как бы в шутку говорит нам:

— Называйте меня просто Чепе, никаких даров[22] мне не надо.

А мы ему в ответ:

— Ну, дон Чепе, выходит, что и молодым свое уважение к тебе нельзя выказывать?

И он:

— Для меня все друзья. Если в кооператив вступил, значит, компаньеро, и неважно, молодой ты или пожилой.

Вот так мы и привыкли называть его: Хосе или ласково — Чепе.

Мы не оставляли Чепе в горе, вместе с ним переживали утрату, но говорить о ней можно было только с Лупе. Он сам сказал нам:

— Мне никаких утешений не надо. И поминок на девятый день тоже. У священника попрошу прощения.

И даже священник понял, что только так Чепе может заглушить свою боль по Хустино. Мы все уважаем Чепе.

— Жизнь продолжается, — говорит он.

ПОЛОВИНА ОДИННАДЦАТОГО

Собачонка мне все одно что родная. Она меня охраняет, когда я остаюсь с ребятами. Она со мной, когда ночь черным пологом нависает и тебя охватывает страх, что больше уже никогда не рассветет. Посапывает она себе под повозкой, и нам вроде веселее становится. Иногда вынюхивает что-то, а то вдруг, задрав морду к небу, лаять принимается.

Веки вечные собаки около человека. В евангелии же говорится, что, когда миропомазанник вместе с бедным людом шествовал, собаки вокруг него резвились и подпрыгивали, стараясь за тунику зубами ухватить. Божьи твари.

Вот потому я и говорю, что моя собачка для меня вроде дочки, сестры, тетки родной, бабушки, племянницы, внучки, правнучки, праправнучки. Собачка лает, когда о себе напомнить хочет, или дать знать, что поесть хорошо бы, или когда озябла. Правильно говорят, что без собаки и дом не дом.

Когда души умерших бродят неприкаянные, собаку лучше привязать к дереву — хокоте или какаовому, иначе собаке может достаться. А если ее привязать, то души принимают собаку за собрата по несчастью и не нападают на нее. Только обязательно к хокоте или какаовому.

Бедненькая моя собачка-авокадочка! Так их называют за то, что они паданцы авокадо едят в асьендах, тем только и живы. Но я-то своей голодать не даю. Всегда кинешь ей лепешку. Она, как и мы, с солью любит. Правда, иногда уходит искать чего-нибудь своего, собачьего, а то и авокадо наестся. Откуда мне знать?

А теперь собачка лежит побитая, глаза такие жалостливые, полные слез, хочет вымолвить что-то языком, которого я не понимаю — труднее английского. Все глядит и глядит на меня, будто старается объяснить, чтоб я поняла.

Говорят: научить человека лаской, а собаку — таской. Но это только так говорят. А иногда и совсем наоборот бывает: собаку ласкают, а человека бьют. Собака — хозяйка наша. Красивая, кофейной масти, шерстка мягонькая, головка словно свеколка, а глаза будто искорки. Кто же тебе ребрышки посчитал?

У собак есть что-то от нас, а что-то от бога. Они тоже или в ад, или в рай попадают. Что заслужат. Им тоже выпадают то милости, то наказания. Так со всякой домашней скотиной бывает. Мне тяжко смотреть на тебя, моя собачка, видеть, как ты ворочаешься, чтобы улечься поудобней, чтоб не так больно было. Собаки лают на луну. А какое у собак чутье? За лигу опасность чуют. «Уаа, уаа» — голосят они, словно новорожденные дети.

Стоит услышать где-то далеко собачий вой, как нас страх начинает одолевать. Значит, смерть близко бродит.

У нас постоянно было две собаки. Одна всегда в бегах, а вторая — вот эта кофейная — с нами. Недавно та, которая все время убегала, околела. Заводить взамен ее новую что-то не захотелось.

Каждую собаку, которая в доме у вас жила и потом подохла, зарывать в землю надо. Зачем бросать на съедение стервятникам? Вдруг у собаки тоже душа есть? Значит, лучше захоронить.

В селении нашем собак больше, чем людей.

А в семье нашей? На первом месте дети, потом двоюродные братья, дедушки, бабушки, родители, а уж потом собака. Как же без нее?

АДОЛЬФИНА

Я только на минуточку задумалась о том, что вам рассказать. Этих людей я повстречала на дороге. Они были одеты в пеструю желто-зеленую военную форму, хорошо вооружены. Только я с дороги свернула: вижу — идут навстречу. Своими ножами срубают и чистят стебли сахарного тростника, сосут их, весело разговаривают между собой о чем-то, громко смеются, будто они одни и кругом никого нет. Я шла с детишками, самого малого за спиной несла и все подгоняла:

— Поживей, а ну поживей!

Так вот, значит, идут они, стебли тростника свежего посасывают. Ясное дело, на плантацию чью-то залезли да и срубили. Вижу, веселые они, смеются. А ведь смеяться на людях им нельзя. Я решила, что лучше сделать вид, будто не замечаю их. Какое мне дело до этих бандитов?

Мама мне всегда твердила, что я отчаянная бунтарка. А папа говорил, что это не бунтарство, а характер. Я на дух не переношу эту публику, которую властью называют. И как бы я маму ни любила, я все равно с ней не согласна, когда она говорит, что они выполняют свой долг и за это им платят. Это неправильно. Им платят за то, что они убивают. Вот какой у них долг.

— Значит, убивать — их долг? — пристала я как-то к отцу.

Он ответил:

— Примерно. — И добавил: — Они режим защищают, потому и убивают.

Тогда я ему и говорю:

— Но это же нехорошо!

— А разве я тебе сказал, что это хорошо? Сколько себя помню, власти всегда так делали: сначала стреляют, а потом выясняют. Потому я и понимать их научился.

Так что мало ругать — ненавидеть их надо! Вот и я стала кое в чем разбираться. А маме отец сказал:

— Это сознательность, а не бунтарство.

Мой отец состоял в федерации. Он туда одним из первых записался. Мне он частенько говорил:

— Единственный способ защитить наши интересы — это объединиться и стать, таким образом, еще сильнее.

Так он меня учил. А еще говорил, что я у него умная родилась и что он знает почему.

— Конечно, сам-то я невелик грамотей. Только пять классов кончил, но все же кое-что соображаю. А все это из-за бедности нашей. Да и сейчас много чего еще понять не могу.

Отец мой — человек откровенный. И хотя уже старый, но бодрый. Постепенно мне становилась понятнее наша жизнь и то, почему мы бедные.

— Вот я тебе и говорю, — учил отец, — у тебя это не от бунтарства, а от сознания идет.

Я очень люблю своего отца. Он мне так нужен, мы столько с ним переговорили! Я чувствую, что ему нравится больше со мной разговаривать, чем с мамой. Со мной он говорит про все серьезное, а с мамой, конечно, про дела житейские, вроде того, что тортильи надо потоньше делать, что от фасоли и маиса ума не прибавится. Хотя сыт от них и будешь, но все равно трудно человеку всю жизнь с пеленок до последнего вздоха есть только тортильи да фасоль: утром лепешки с фасолью, днем фасоль с лепешками, а вечером опять лепешки с фасолью.

Мне очень нужен мой отец. Но власти не хотят нам его отдавать. Как же мне после этого спокойно смотреть на этих бандитов?

Они заявили нам, что нашего отца у них никогда не было, что они ничего не знают, что они на днях его отпустили и что он наверняка уже не любит маму и ушел к другой женщине.

Эти пакости они говорят просто для того, чтобы поиздеваться над нами. А ведь тяжело все это слушать, но уши не заткнешь. Это еще не все. Сегодня, например, дон Себас говорит мне:

— Послушай, Адольфина, только что власти заезжали, про тебя спрашивали. Я им сказал: «Эта девочка — внучка Чепе Гуардадо, она еще маленькая». А сам думаю: «Может, ошибка вышла. Даст бог, она в этих делах не замешана». А они мне говорят: «О ней и речь». «Она нездешняя, — отвечаю. — Иногда приезжает к бабушке Лупе». «А где дом Лупе?» Туда они и пошли. Должны были тебе навстречу попасться.

— Да, да, видела я их. Тростниковые палки сосали. На меня и внимания не обратили даже.

— Они тебя в лицо не знают, потому и спрашивали, знаю ли я тебя. Строгие!

— Бабушка одна дома осталась, вот я и пришла с ребятишками.

— А старший спросил: «И часто она сюда приезжает?» «Раз в месяц, сержант». «Тогда мы пойдем за ней». Я-то не знал, здесь ты или нет, и старался им втолковать, что приезжаешь ты по воскресеньям, да и то не каждый раз. «Мы пойдем потихоньку», — сказали они.

— А я бегом побегу, дон Себас, отпустите меня поскорее. Надо узнать, что там такое. Дайте по конфетке каждому из тех, что по три на пятак.

— Должно быть, ничего особенного.

«Мне еще за лепешками надо забежать», — пронеслось у меня в голове.

— Бабушка Лупе одна там.

— К счастью, ни про нее, ни про Чепе не спрашивали. А ты — девочка, тебя не тронут.

— Посмотрим.

— Правда, от властей чего хочешь можно ждать.

В это время в лавку забежала соседская девочка:

— Тетушка Лупе сказать велела, чтобы ты по дороге не разгуливала много, потому что колбасники[23] тебя ищут. И еще сказала она, что к ним с уважением обязательно надо, чтобы, не дай бог, какая беда не вышла.

«Бабуля ты моя милая», — подумалось мне.

— И что еще сказала?

— Чтобы ты на завтрашний день помидоров купила, а то рис дома приправить нечем.

«Ну и молодец девочка, — думаю, — все запомнила».

— Тут внизу они два джипа оставили. Я своими главами видел, что к ранчо Лупе только двое пошли, — сказал дон Себас.

Я подумала: «Чему быть, того не миновать».

Дон Себас заворчал:

— Да не дави ты их так сильно, а не то мне самому их есть придется.

— Ну что вы, дон Себас, я их только чуть потрогала. Дайте мне на десять сентаво, которые покраснев.

— Бери вот эти, спелые. Лупе всегда любит немного перезрелые.

— Вы что, хотите, чтобы я не глядя взяла?

— Верно Лупе говорит, что ты девочка с характером.

— Ну разве так можно, дон Себас?

— Посмотри на этот пакет.

— Я вижу, что на нем написано: «Если меня не берешь, не надо меня давить». Это ко мне, дон Себас, не относится. Я, конечно, куплю. Дайте мне вон те, совсем красные.

— Да поспеши, доченька, узнать, чего этим людям нужно.

— Ладно, не бежать же мне бегом с малышами!

— Да я из-за Лупе. Она ведь беспокоится. Мы все за нее переживаем. После того что с Хустино случилось, она совсем переменилась.

Сердце заколотилось. Будь что будет.

— А ну, ребята, живо! — И я пошла, разглядывая маленьких ящериц, высовывавших головки из листьев тиуилоте. «Если не спрячешься, голову оторву». А ящерица шустрая, обманывает

меня, меняя свой цвет. Мне нравится, когда у них отрывается хвостик и словно живой подпрыгивает. Говорят, что ящерицы потом на то же место приходят и своей слюной хвосты обратно приклеивают. Как игуаны. Сколько им хвост ни отрывай, никогда без хвоста не увидишь.

— Лови вот этого, — говорю я своему дяде Бенхамину. И подумать только: эти малыши — мои дяди и тети! Мончо всего два года. Мой дядя Мончо. Моей тете Эстер — четыре. — Поспешим, ребятки. Шагайте, шагайте, дяди и тети. — Бедняжечки. В такую-то жару! Солнце палит нещадно. — Идите лучше в тень. А не то ножонки обожжете. — Они уже привыкли ходить по горячему. А вот и тень тиуилоте. — По травке, по травке ступайте.

Как раз в эту пору цикады свои песни заводят. Говорят, что они по Иисусу Христу плачут. А бабушка, должно быть, переволновалась. Цикады звенят, когда очень сильно припекает солнце. Так они против жары протестуют. Над кустарником сплошной концерт. «Дзинь-дзинь-дзинь» несется отовсюду, будто велосипедные звонки звенят кругом.

Если кому вздумается цикад ловить, то знайте: они в ветках тиуилоте сидят и пакостят на тех, кто под деревьями укрыться от солнца хочет. Но моим малышам уже все равно, будет на них сверху что-нибудь падать или нет. Ноги больше не выдерживают раскаленной земли. Вот я и велела ребятишкам в тень под тиуилоте спрятаться.

От стона цикад на душе у меня тоскливо. А может, это потому, что страстная неделя подходит? У всех ведь так. В страстную неделю бегать не полагается, потому что это значит Христа топтать. Плевать нельзя — это все равно что на Христа плевать. На дерево забраться тоже нельзя, потому что это означает оскорбить Христа. Говорят, что только иуды плюются. А если кто-то камень бросит, то он в Иисуса Христа обязательно попадет. Даже если он и в ящерицу попадет, все равно считается, что Иисуса Христа ударил.

Все это с детства нам в голову вбивают. Мама моя не очень-то этому верит, а вот бабушка во все еще верит. «Это христианская вера», — говорит она. И люди уважают ее за эту веру.

Звенят цикады. Страстную неделю возвещают. На людей печаль нисходит. На меня-то, конечно, нет. Разве только немножечко, по-человечески, против моей воли. Эту печаль все за откровение принимают. Кто больше, кто меньше. Все это, наверное, совсем неважно.

— Дядя Бенхамин, иди в тень!

— Цикады там на меня… — И все-таки уходит в тень.

— Ну и что? Хуже, если с тобой случится то же.

— Понеси меня за спиной, — говорит, шепелявя, Мончо.

— Потерпи немного, вот дойдем до поворота.

А он возьми да зареви.

— Тетя Эстер, подержи помидоры, пока я мальчишку за спину посажу. Немножечко идти осталось. Я же вам говорила, чтобы все не ходили со мной.

С поворота я увидела открытую настежь дверь дома Марии Ромелии. «Там и куплю лепешек», — подумала.

А жара была адская. Дядя Мончо перестал плакать. Протопал он сегодня не по возрасту много. Этот поросенок, оказывается, заснул, уронив головку мне на плечо. Весь взмок, словно больной. Спи, спи, моя радость. И я вхожу в дом Марии Ромелии:

— Добрый день!

ПОЛОВИНА ДВЕНАДЦАТОГО

Туча закрыла солнышко. Она играет с ним, словно кошка с мышкой. Столб пыли поднялся чуть не до неба. За пылью ничего не видно. Но вот наконец солнце победило тучу, и все на какое-то время затихло. Подул свежий, будто росой умывшийся ветерок. Таким ветерком дышишь не надышишься. «Ветер, как мальчишка шаловливый, сумочку с тетрадочкой унес». Это единственная песенка, которую я в школе выучила. Ходила я в нее до второго класса, почти научилась читать и писать, но сумочки у меня никогда не было, потому что носить, кроме грошовой тетрадки и карандаша, было нечего.

В мое время научиться читать было не так-то легко. Пока не выучишь урок, из школы не уйдешь. Да и не только это. На колени ставили и читать заставляли. Самым обычным делом было на коленях стоять или руки кверху воздевать, будто душа неприкаянная. Учили тогда строго, зато надежно. Но в том-то и дело, что забывается все. Если не читать, можно понемногу в осла превратиться.

Сержант почесал ногу. Это я так думаю, что он сержант, на рукаве у него нашит треугольник красного цвета. Наверное, ему Пихириче в отместку блоху подбросила. А может, про деревню свою вспомнил. Наверняка он сам из селения наподобие нашего.

Вот он поскреб большим пальцем по плотной бурой штанине. Не хватало еще, чтобы он обозлился и начал кричать. Когда власти начинают на себя злиться, жди бури. Расплачиваться тебе придется. Так всегда было. Потому люди и говорят, что властей ублажать надо. Через щель между жердями я вижу, как прошмыгнула курица, вижу, где яички лежат, как цыплята снуют, где горшок с маисом стоит. Жизнь идет, не останавливается. Вижу еще и двоих солдат. И того, которого блоха кусает, сержанта. Ему на косяк опереться хочется, и потому он ерзает. Ногтем большого пальца он все еще скребет по толстой материи, но, видно, никак ему не прочесаться. Проворная блошка с нашей собачки.

Другой солдат, сидя на корточках, позевывает и палочкой чертит по земле. Потом он вдруг начинает во что-то всматриваться. Я невольно тоже в ту сторону поглядела. Оказывается, там муравей зеленую травинку на спине тащит. Солдат берет муравья и подносит к глазам. Муравей травинку не бросает. Ну не дурак ли ты муравьиный? Сколько у этой твари силы! А солдат взял да раздавил муравья пальцами. Травинку стало держать некому, и она медленно, будто нехотя, упала.

А я снова иду к очагу. Вот-вот Адольфина должна прийти. Надо бы встретить ее. Но как это сделать? Они же не позволят. Лучше и не пытаться впустую.

И я, ни к кому не обращаясь, говорю:

— Ну что за жизнь проклятая?!

Сержант посмотрел на меня. Молчат, словно воды в рот набрали. От такой тишины мне как-то не по себе стало. Хоть бы кто зашел. Не знаю, что изменилось бы, по мне — спасение. Хоть бы кума, на худой конец, заглянула. Да нет, зачем желать зла ближнему, который тебе ничего плохого не сделал? Властей уважать надо и когда они молчат.

А я опять, будто ни к кому не обращаясь, говорю:

— Все еще не идут мои ребята.

А на небе тучка с солнышком опять в кошки-мышки играет. Хорошо бы туча победила. Ребятишки ноги не обожгли бы. Наконец солнце за тучу зашло, и сразу же подул свеженький, словно ночной, ветерок. Меня будто от холода в дрожь бросило. Холодок в такое время в наших краях — это просто чудо.

Мы этот час называем часом дьявола, потому что только он и осмеливается на солнце выйти, лечь на камень и жариться, словно в пекле.

— Всего ожидать можно…

— Эта старая шлюха меня раздражать начинает.

— Может, эта собачонка — авокадница? Шума поднимать не хочется, а то с удовольствием всадил бы в нее пулю.

«Они для того и созданы, Лупе, чтобы режим защищать». Если бы не Хосе, меня давно бы в живых не было. «Стоит тебе это понять, и ты увидишь, что такие вопросы надо решать по-другому, не по прихоти одного человека, дескать, это мне нравится, а это нет, дескать, они гады. Нет, Лупе, они не гады и даже не сучьи дети. Они такие же, как и мы. Только они — на стороне врагов, на стороне своих собственных врагов, вот что интересно. Разве среди полицейских ты увидишь владельцев асьенд, двухэтажных домов или роскошных автомобилей? Эти-то ездят в джипах. Эти у богачей — слепые орудия, вроде как у нас мачете. Разве их увидишь по моде разодетыми? Нет. Когда они переодеваются в гражданское платье и идут повидаться со своими домашними, они такие же бедолаги, как и мы. Их даже не узнаешь. Они другими становятся, такими, какие на самом деле и есть. И не я это выдумал, и не кто другой. Это же ясно как божий день».

Так мне говорил Хосе. Что мы без него?!

«Вот потому и говорю, что вопрос нельзя решить так, как один того захочет. Решать нам всем угнетенным вместе нужно.

Сознательным, самое главное. Можешь быть угнетенным и не понимать, что кругом творится. Дело не в том, бедняк ты или не бедняк. Дело в том, насколько сознателен каждый, насколько сознательны все мы. Тогда и жизнь станет чистой, словно вода в горном ручье».

Что бы из меня вышло без Хосе?

«Вы не должны забывать, что в винтовке весь смысл жизни, что мы сильные, что нас боятся, когда мы как настоящие мужчины беремся за оружие и умеем стрелять, когда нужно. Пока у нас в руках оружие и пока не дрожит рука — мы живем».

А сволочная блоха все кусает.

— Похоже, идет девчонка…

— Кажется…

— Стой, не будь болваном…

Обрадовавшаяся Пихириче, виляя обрубком хвоста, проворно выскочила на улицу. Я же обрадовалась тому, что они не двинулись с места. Один все чесался, другой разглядывал муравьев. Моей девочки так долго нет, что они чуть было за ней не отправились. А она наверняка еще к куме за лепешками не заходила. Когда они поймут, что она не скоро появится, их ничем не удержишь. Вон увидели, что за забором кто-то появился, и сразу заерзали.

А она сейчас, наверное, к куме в дом заходит. «Добрый день», — говорит. Хорошо бы, если бы ей там задержаться подольше случилось. Пусть бы им от меня что нужно было. Я их, может, выпроводила бы. Но они темнят что-то насчет Адольфины, и мне страшно становится.

— И чего такого девочка могла сделать?

— Удрала же она от нас.

— Я видел их у поворота.

— Кто-то, похоже, водит нас за нос.

Мне только и остается, что играть в дурочку. Если хотят с девочкой поговорить, пускай ждут ее.

ОНИ

Все эти женщины здесь, конечно, шлюхи. Такими они и родятся. А вот мужчины на два вида делятся: мы настоящие мужчины, кто вот эту форму носит, и остальные — недоноски. А среди нас надо выделять самых-самых сильных, особую гвардию — тех, которые школы с китайцами-каратистами и белыми сихологами окончили, тех, которые, чтобы сильными быть, картофельное пюре едят.

С нашими врагами нельзя церемониться. Никакой жалости и пощады. Быть веселым и добреньким — это значит проституткой быть. Дай индейцу только палец — он руку отхватит. Стоит тебе только улыбнуться — индеец считает, что ты ему свой в доску. Вот почему полумерами с гражданскими не обойдешься. Стоит тебе глаза прикрыть, как унесет тебя течением, словно щепку. И то надо учитывать, что индеец еще с тысяча девятьсот тридцать второго года за коммунизм.

Как же нам, националистам, быть, если коммунисты толкуют, что все равны? А ведь мы совсем не такие, как все. Такого здесь быть не может. Как мы можем быть равны с гражданскими, у которых к коммунистам любовь такая? Для нас лучше чужое, иностранное, оно хоть и не свое, но почти всегда пользу приносит. Тогда как индеец думает, что имеет право наплевать на всех только потому, что он индеец. Вот мы и держим его в узде. А если его надо убивать, будем убивать, потому что сволочная натура в нем испокон веку заложена. Дело совсем не в том, что мне на свою расу наплевать, а в том, что это правда. А за правду Иисус Христос жизнь отдал.

В день когда индейцу из гражданских удастся стать президентом республики, будьте уверены, всех нас за ноги повесят. Я убежден в этом не потому, что инструктор-янки особенно много говорил нам про это. Мы сами это понимаем.

Гринго толковал нам, что самое важное для нас не высокая плата и хорошая жратва, а убеждение, что мы за веру воюем, что мы спасаем эту проклятую страну от коммунизма. В тридцать втором году, когда коммунисты еще и не победили даже, уже начали теснить богатых людей, людей с положением. Народ ненавидит богатых. Мы рождаемся с чувством зависти, мы не можем видеть счастливого взгляда у другого, поэтому все время думаем, как бы напакостить ближнему своему. Мы для того и созданы, чтобы штыком и гранатой, решительностью и силой покончить с завистью. Коммунизм на пороге. Потому мы все больше и больше готовимся.

Наши инструктора-иностранцы не дают нам ни минуты отдыха. Они говорят, что за свободу и демократию готовы умереть вместе с нами, лишь бы вырвать национализм с корнем. И я с этим согласен. Надо огнем выжечь всю нечисть. Со всей этой вонью будет покончено тогда, когда все мы, объединившись во Христе, пойдем за ним и уберем священников-коммунистов. Не думайте, у нас есть высшая религия, подлинная, та, которая с севера к нам идет! Нам предоставлено право выбирать между святыми последних дней — мормонами и иеговистами. Их вера несет человеку свет и надежду на вечное счастье. И нечего нам цацкаться с братьями и сестрами, дядями и тетями, двоюродными братьями и сестрами и даже с родителями. Если они хотят оставаться темными, это ихнее дело. Каждый из своего зада волен сделать барабан. А пуль захотят, пусть не сомневаются, получат. Любоваться не будем и слюни не распустим.

А женщины, это точно — чем старее, тем сволочнее. Ясно как божий день. Но некоторые все еще сомневаются, особенно относительно матерей. Однако гринго поясняет: сволочи те, кто с нами не согласен или мешает укреплять безопасность страны, но бывают исключения, хотя их немного. Например, я верю, что моя мама никакая не шлюха и в лагере наших врагов никогда не окажется. Инструктора нас учат: нужно помочь своим родным найти правду. Но с народом ухо держи востро, время не трать даром. Если они наши родственники, так что? Дураков среди них мало? У меня самого двоюродные братья и сестры играют в политику, будто в детские игрушки. Я их предупредил. Правда, чтобы родителей не вмешивать, сделал это потихоньку. Ведь им будто пелена глаза застлала. Инструкторам я про это говорить не буду, и не потому, что боюсь, а потому, что все равно не поймут.

А вот сестры мои — совсем другое дело. Они, как и все женщины, с малолетства мужа искать начинают, а уже в пятнадцать рожают. Потому наша страна такая и нищая. Не терпится нашим женщинам скорее ребеночка родить. Значит, они и виноваты, что нищих так много. Нас ведь больше четырех миллионов на таком маленьком кусочке земли. А еще хотят переделить землю. Только подумать: сколько же каждому достанется? Кусочек с гусиный носочек! Ногу поставить некуда. Ну как сказать, что умные? На могилу и то не хватит. Уж если делить землю, то делить надо по справедливости, всем дать по одинаковому клочку. А не лучше ли покончить со всей этой болтовней?

А сестры? Устанут от них мужья, вот они и возвращаются к родителям, оставляют им на попечение малышей, которых народили. Чего о них говорить? Отпетые они. Вот потому, когда

здесь поутихнет, то есть когда не будет столько бунтовщиков, мы их всех уничтожим, то и тогда наша работа не кончится. Правда, она другая будет. Придется, например, обучать, как поменьше детей рожать. Такая у нас задача на будущее. Родина станет великой, когда у нее сыновей будет столько, сколько надо, и таких, которые бы любили ее, чтили и готовы были умереть за нее.

И с религией у нас тоже работы будет много. Надо убедить людей вернуться к вере христовой. Всех надо под корень вырубить, чтобы в тысяча девятьсот девяностом году, как объявлено, Иисус мог на землю спуститься. И тот, кто сохранил веру, спасется. Он всех накажет, кроме тех, кто верным ему до конца остался.

Более того, возможно, господь изменит день своего пришествия, раньше придет. Так что нам поторопиться с делами надо. Действовать решительно, смело, твердо. И никаких церемоний! Будь ты мой друг, кум или брат — рассуждать нечего. Пусть ублюдки рассуждают. Или мы, или они!

Я ведь не такой уж и болван. Больше всего мне занятия сихологией по душе. Для каратэ у меня силенок маловато. Но ничего. Мне помогло то, что я шесть классов кончил, и то, что к общественным наукам у меня способности были. За это меня и отобрали в специальную часть.

Так вот я в люди и вышел. Сам я из очень бедной семьи. Моим братьям и сестрам вместо школы с семи лет пришлось с отцом на работу ходить — кофе, хлопок, какао собирать. Я тоже в семь лет работать начал, но потом меня в школу послали. Учительница сказала, что я способный и что я обязательно учиться должен, как бы трудно ни было. Одолел шесть классов. И вот теперь поглядите, кем стал. Никому не отдам того, за что так дорого заплатил.

А потом я в Сан-Сальвадор уехал. Там я достиг того, чего хотел. Мои сестры тоже в Сан-Сальвадор приехали, но толку-то что? Нарожали сразу детей. Отправили малых к родителям, а потом и сами вернулись. Вот как это бывает. А двоих из них, говорят, на авениде Индепенденсия видели. Это там, где плохие женщины собой торгуют. Раньше я стыдился про это рассказывать, а теперь нет. Инструктор гринго сказал нам, что демократия — это штука хорошая: каждый может делать что хочет. Свобода личности.

Конечно, надо честно признать, не все по справедливости делается. Но такая уж она есть, демократия. Вот что касается того, будто все мы равны, это уж точно бред. Мир потому и достиг такого развития, что мы не равны между собой. Сами

понимаете, разве я могу с китайцем-инструктором сравниться? Он — каратист, а я нет. Как моя сестра может быть ровней тем девушкам, которые на лошадях верхом скачут? Это было бы идиотизмом. Бог нас всех сотворил равными, но каждого со своими различиями.

Я помню, как всей семьей мы ходили хлопок собирать. Брали с собой всех, даже самую маленькую сестренку, которой только семь лет исполнилось. На голове — сомбреро от солнца, на плече — сумка с едой и тряпки, на которых поспать можно. Работали все от мала до велика. А в списки надсмотрщик записывал только взрослых, потому что по этим спискам фасоль и лепешки давали. Нам, ребятам, этого не полагалось. Приходилось брать с собой соль и воду, которую мы носили в пустых тыквах. Тортильи с солью да с водой — вот и вся наша еда. Но никто от голода не умирал. Правда, двоих моих братьев в живых нет, но это по недосмотру матери. Она спохватилась, когда они уже сильно запоносили и было поздно. Дизентерия их доконала.

В деревне малые дети от поносов только и умирают. Скорее всего, из-за нашей собственной серости мы бежим в аптеку и начинаем их лечить, когда уже слишком поздно. А как иначе? Врачей-то ведь нет. Зато проститутки есть настоящие. Это уж точно.

Инструктор учит нас: «Военную форму уважать должны. Уважать всегда и везде, даже когда со шлюхой ложитесь». Тут встает один шустрый и говорит, обращаясь к гринго: «Но ведь со шлюхой-то без формы ложатся». И чего ему было надо? Мы, конечно, заухмылялись потихоньку. Тогда гринго схватил штуковину такую — палку с тряпкой, которой мел с доски стирают, — и запустил ею в рожу шустрому. Разукрасил его прилично, пришлось к врачам отправить. Так что жизнь наша — не только прогулки да выпивки. В эту мою военную форму я всю жизнь вложил. Крови из-за нее немало попорчено.

Ну вот вы сами рассудите. Однажды ночью кто-то из нас громко дернул. Звук дошел до нежного слуха гринго, который что-то писал за перегородкой. Гринго вошел к нам, посмотрел и, ничего не сказав, направился через открытую дверь в сад. Мы, естественно, замерли, ни звука. Спали мы на галерее. Стен нет, только крыша. Это для того, чтобы мы к полевым условиям жизни привыкали. Ну вот и догадайтесь, зачем гринго в сад пошел. А, оказывается, вот зачем: он взял шланг, подсоединил его к крану и окатил всех водой. На мокрых подушках и простынях нам в ту ночь было не до сна. Продрогли до костей. Он нам сказал тогда: «Чтобы впредь неповадно было».

Так что понимаете, о чем речь. Хоть я его и уважаю очень, все

же он сукин сын. Я еще про тренировки не рассказываю вам, потому как это военная тайна.

Так что форма, которой я горжусь, штука не простая.

А еще говорят, что мы легко живем, только и дел у нас, что людей хватать. Так говорят те, кто ни черта не знает, или враги родины, потому как порядочный человек не станет говорить того, чего не знает.

БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ДВЕНАДЦАТЬ

Не знаю почему, но ты у меня из головы не выходишь. Скорее всего потому, что еще маленьким обещал всегда быть со мной. Я знаю, что ты не придешь уже. Тебя во второй бы раз убили. Но для меня-то ты не умер. И если хочешь прийти, приходи. Ты для меня давно, еще до того, как явился и все рассказал нам, покровитель мой, и опора, и все то, во что верит человек.

И отец твой, и я согласились с тобой, когда ты явился к нам. Конечно, я, твоя мать, не так, как отец, но все же понимала, куда дело идет: там, где Хосе и Хустино, мой сын, там буду и я.

Сын всегда в сердце у матери. А ее имя — у него на устах в час смертный. Вот потому и отправилась я к тебе по пыльной дороге. А увидев тебя, поняла, что ты не дрогнул, когда тебе вонзали штык в горло. Я долго смотрела на тебя. Даже лицо твое не было перекошено от боли. Ты знал, что в этот миг мы все с тобой, и ты не мог струсить. Тебя схватили неожиданно, когда ты в предрассветных сумерках шел проселком.

А если я им сейчас предложила кружку воды, то только для того, что дать напиться жаждущему — это святое дело в жизни. Воду нельзя не дать даже преступнику просто за то, что он преступник. И в том, что я так поступила, я ни капельки душой не покривила и не угодничала. Сам бог не отказал бы в этом дьяволу. Ты, Хустино, должен это понять. Никто свою душу не отдает здесь преступникам и убийцам. Ты сделал бы так же, и вовсе не из трусости, не из-за предательства или угодничества.

Однажды ты мне сказал: «Даже когда я умру, я приду к тебе воду из колодца таскать, и приду не тайком — мне не хочется тебя пугать, приду открыто и скажу только: «Здравствуй, мама». Тебе не придется самой воду таскать».

Но открыто никогда не приходил ты — только тень твоя.

До сих пор вижу тебя как живого, слышу твое дыхание и ощущаю запах бальзама[24].

С тобой в дом свежий ветер ворвался и пение птиц — синсонте, гуакальчии, горлицы. А ты по дому в лохмотьях бродишь.

«Значит, ты, сукин сын, в организацию вступил? Чего же они не пришли тебе на помощь? Испарились? Значит, ты собрался хозяев асьенд похоронить? Отвечай нам: где пистолет взял? Говори, дерьмо, кто тебе его дал, все равно тебя прикончим! Скажешь — сразу же кокнем, а нет — будем медленно убивать, чтобы подольше помучился. Зови твою крестьянскую федерацию, чтобы спасать тебя бежали. С властями не играют. Мы вас всех

перебьем, потому что с богатыми, которые нас кормят, шутки плохи…»

Они не могли простить тебе твоего молчания. Ты им так ничего и не сказал. Ты плевал на них. Потому они и решили тебя подольше мучить. Но сами не выдержали. Молчание для них — худшее оскорбление, это то, чего они не прощают. А самое большое оскорбление — когда они видят, что их не боятся, когда им даже ударами прикладов не удается выбить ни единого слова.

Тогда и блеснул штык. Весь ваш путь, враги нашего народа, залит кровью. Вы сеете смерть кругом. И когда вы измываетесь над народом, от вас мертвечиной несет, ладаном. За вами — могильные кресты, и вы не понимаете, что сами себе могилу роете.

И все равно я предлагаю вам воду, глоток ананасной чичи. Но вы не думайте, что это от души, из расчета или от страха. Нет. Это просто по-человечески.

Когда мертвые воскреснут, они все увидят и поймут. А еще лучше, если они смогут посмеяться вместе с нами, поесть вместе с нами тортильи с солью. Мы им хорошие и ласковые слова скажем. Но сначала надо воскреснуть.

Вы должны жить!

Это я тебе, Хустино, говорю. Говорю, чтобы ты услышал. Я знаю, что ты здесь, но ты шутник и не хочешь объявляться. И не говоришь ничего. Будто язык проглотил. Я знаю, что ты каждый день сюда приходишь, выпиваешь свою чашку воды и медленно уходишь, чтобы не напугать меня. Ты приходишь, чтобы только посмотреть, как мы тут, чтобы про себя, не вслух спросить: «Как дела?» Я знаю это. Знаю потому, что в патио я посыпаю золой дорожку к кувшину с водой, а потом во сне вижу следы твоих босых ног. Я же знаю отпечатки твоих ног. Ты ведь, чтобы поменьше шума было, всегда ботинки снимаешь. Я узнаю твои следы и запах твоего пропотевшего от работы тела. Он на запах бальзама похож. От тебя только тень осталась. Но этого хватит. Спасибо тебе за твою заботу о нас, за твой молчаливый вопрос «Как дела?», за твою невидимую тень. Мы тебя, Хустино, не видим, но чувствуем. И этого довольно.

БЕЗ ДЕСЯТИ ДВЕНАДЦАТЬ

Я люблю вспоминать. Это голос совести, про который я уже говорила. Моя мама, когда я с ней спорила или когда она мне помогала уроки повторять, а я болтала всякие там считалочки, говорила, что язык у меня без костей. Читаю, бывало, букварь: «Мой папа любит меня. Я люблю папу» — и тут же добавляю: «Па-па-пе-пе-пи-по-пу, никуда я не пойду». Или: «Пепе любит свою маму». И дальше: «Пепе, папа, пупа, пепа, в огороде растет репа».

Потом я убегала на улицу и ловила там бабочек.

До школы побольше лиги было. Я не любила ходить туда, лучше помогать дома маме тортильи печь.

Мама говорила: «Нужно научиться читать». А по мне, лучше с мамой идти кофе собирать на плантации неподалеку от нас. Если сомбреро с широкими полями надеть, то солнце вовсе и не обжигает. Конечно, в семь-то лет это не просто. Но мне нравилось больше ходить на плантацию, чем зубрить в школе: «Мою собаку зовут Фидо» или: «Фидо принес мяч своему хозяину». «Кукукнул-аукнул, кто-то пукнул» — а чтобы узнать, кто это сделал, мы писали имена на пальцах, а потом, намочив их слюной, выставляли кверху, чей палец высохнет скорее, значит, тот и виноват.

Хорошо утречком на речку сбегать.

«Можно с подружками на речку искупаться сходить?»

«Так я тебе и разрешила, негодная девчонка! Разве не знаешь, что девушки одни не ходят?! Будешь приставать, я тебе такую речку покажу!»

Кончилось тем, что я совсем перестала ходить в школу. Мама сказала, что неграмотному жить плохо — его жуликам обмануть легче, что самый несчастный человек — это неграмотный, что забросила я школу потому, что много с отцом хожу. Это верно. Отца я очень любила, гонялась за ним, словно собачонка. А маме я сказала, что не могу ходить в школу, потому что учительница очень злая и потому что в ливень меня в море унести может. Это была правда. В сезон дождей ходить было страшно, особенно по ущелью, где потоки с гор скатывались сплошной лавиной.

Мама сказала:

«Ну ладно, тебе лучше знать».

И вот я с шести утра за вертушкой, на которой отец шнурки вьет. Этим мы и жили. Он покупал волокно и из него шнурки скручивал, которые продавал в городе по хорошей цене в мастерскую, где карнавальные ракеты-шутихи делали. Верчу я вертушку, а отец с нитью в руке все отходит и отходит назад.

Клубок становится все толще и толще, отец далеко отходит. От работы руки мои окрепли. Я такая сильная стала, что могла и корзину с маисом поднять.

Мама все удивлялась: «Нет, чтобы мне помочь маисовые початки лущить, тортильи делать, постирать белье или фасоль с маисом приготовить, тебя все куда потяжелее тянет».

Как мне нравилось вернуться домой усталой! Пот в три ручья, но я довольна, оттого что дело мое мне по душе.

Мой отец с клубками на спине был похож на кокосовую пальму, на которой орехи висят. А себя я так и запомнила — у колеса вертушки. На хлеб я с малолетства зарабатывала.

«Папа, подожди меня!»

«Поскорее, дочка, уже полдень».

И помню, стою я позади отца и вижу — тени уже нет. Значит, уже двенадцать. Если тени не видно, стало быть, солнце точно над тобой.

Когда подросла немного, стали меня брать на побережье хлопок собирать. Рот у меня не закрывался от удивления: море, которое падает с неба, облака, словно белые барашки, надо мной плывут. Любила я вдаль глядеть, наблюдать, как встает рассвет. Нам учительница говорила, что морская вода, словно дымок или пар, кверху поднимается, а потом эта же вода дождем на землю падает.

Про все про это я думала, когда в сомбреро ходила по полю и собирала хлопок. А после работы просила отца сходить вместе со мной на берег ракушки пособирать. Он любил крабов искать. Иногда мы ловили хутий[25], которых продавали тем, кто приезжал на пляж.

Значит, вода поднимается по невидимой реке в небо. Вот поэтому зимой и льет как из ведра. Бывают страшные бури с ливнями, когда с неба лягушки и змеи падают. Раньше я думала, что такого не бывает. Ну а если знаешь, что вода с земли поднимается на небо, почему же этому не быть?! На побережье мы жили два, а то и три месяца. А когда возвращались домой, устраивали большой праздник, молились пресвятой богородице за то, что мы все живы и здоровы и домой добрались.

В тот же день, когда уже были дома, шли купаться на речку и отдыхали там до полудня. Мы шлепали по воде, охотились за водяными жуками. Мама в это время стирала белье. То и дело слышался ее голос:

«Убивать грешно. Довольно визжать. Не касайтесь своих глаз руками после водяного жука, а не то они слипнутся».

Она присматривала за тем, чтобы мы к омуту близко не подходили. Там водоворот был, нас могло в глубину засосать.

Наигравшись в воде, мы грелись на солнце. Смотрела я в небо и думала: «Вот по этой летящей в небо струйке дыма уходят дети, когда умирают. Ангелы не потому могут летать, что у них крылья есть, а потому, что они могут плавать в воздухе, в котором много, например, рек невидимых. Ангелочков нет на свете. Это души умерших младенцев летают, место себе подыскивают. Умирает только тело. После смерти ему не больно. Больно только перед смертью, когда человек последний вздох делает. Это душа от тела отделяется».

Наверное, люди всегда в такое верить будут. Когда умирает человек, которого ты очень любил, надежда остается. Может, души ушедших поселяются в наших головах? Потому и не можем мы забыть никогда наших близких. Неправду люди говорят, что покойника зарыли и про него забыли. В жизни так не бывает. Когда кто-нибудь от нас уходит насовсем, все равно целую вечность память о нем нас мучает, особенно если это сын, кровинушка родная. Сердце до боли сжимается, всякий раз щемит. Только мать такую боль знает. Это враки, что можно забыть покойного. Память о нем никогда тебя не покидает.

Очень я люблю туман над землей. Это и есть река, в которой души плавают, плавают ангелы, которые раньше были детками малыми. Мой отец говорил мне, что надо верить во все это, потому что только так в жизни смысл можно найти.

И вот за то, что я много про все думала и про все спрашивала, мама меня называла «почемучкой». Потом мне Хосе на многое глаза открыл. Сказал, что невидимых рек и душ не бывает. А ему я верю, он всегда прав. Но все-таки у каждого своя искорка есть, которая велит и верить и не верить до тех пор, пока кто-нибудь хорошо не объяснит непонятное.

Про отца я уж и не говорю. Он верил в домовых, ведьм, в кадэхо. И не только верил, а не раз с ними встречался. Он был немного с хитринкой и потому рассказывал про свои встречи вроде нам в назидание. Мне он о них говорил, когда мы шнурки с ним крутили или когда маис лущили. А может, он говорил, чтобы попугать нас. Иногда я начну про ведьму думать и уснуть не могу. Я ее представляла точно такой, как отец рассказывал, или такой, как Чепе потом на полном серьезе описывал.

Не знаю, почему нам приходится жить в страхе вечном. Может, потому, что искорка надежды живет в каждом из нас? Как-то еще давно Хосе мне сказал: только глупый одной надеждой живет. Я никогда в это не верила. Но поняла, что он хотел сказать. Надежда нас тоже кормит. Нет, не та надежда, которой глупый живет, а надежда человека, когда ему все ясно.

АДОЛЬФИНА РАССКАЗЫВАЕТ ПРО СОБОР

В тот день мы пошли в кафедральный собор Сан-Сальвадора. Все началось из-за убийства Хустино Гуардадо на дороге в Илобаско, где у него маленькое ранчо было. Однажды ночью к нему в дом ворвались четверо национальных гвардейцев, ну, тех, которые с автоматами ходят. Избили его дубинками, выгнали детей и жену на улицу и сожгли дом. Хустино Гуардадо — мой дядя.

Самого его куда-то увели. На следующий день люди нашли его изуродованный труп. Голова была насажена на кол, выдернутый из ограды, а тело лежало неподалеку в канаве.

Возмущению нашему не было конца, но мы не знали, что делать. Мы все любили Хустино. Такой смерти он не заслужил. Это был трудолюбивый, добрый человек, кормилец семьи и опора для моей бабушки Лупе. Он всегда ей по дому помогал.

Четверку, которая увела дядю, знали во всей округе. Чуть не все здешние мужчины поднялись.

— Хустино никогда никого пальцем не тронул, хороший человек был!

— Помог нам организовать демонстрацию у банка, где мы просили снизить цены на семена и удобрения. Только и всего, что он сделал.

— Так оставлять это нельзя! Надо что-то предпринять в память о погибшем товарище.

Сколотилась группа мужчин. Вооружившись палками и мачете, они отправились разыскивать убийц. Искали по всем домам. Вскоре одного за другим убийц нашли и под конвоем крестьян привели на место преступления. И вот они перед нами. Дрожат от страха, словно курицы мокрые.

— Мы в отличие от вас не убийцы, — заявили наши мужчины и заставили бандитов выкопать могилу для Хустино. Выкопать там же, где его убили.

И еще заставили их встать на колени, просить у покойника прощения и прочитать молитву. Мы стояли вокруг с мачете наготове, а убийцы молились под палящими лучами солнца.

— Мы — гражданская власть, — хныкали они.

— Вы власть убийц, — отвечали им наши компаньерос.

А чтобы покойник их простил, заставили каждого из них бросить в могилу хотя бы по лопате земли. После похорон мы их отпустили, еще раз сказав, что делаем это потому, что мы не убийцы какие-нибудь, а христиане.

Так мой дядя Хустино, сын бабушки Лупе, был отомщен.

Но мы и представить себе не могли, какие муки нам придется испытать за то, что мы посмели тронуть гвардейцев.

Когда власти узнали, что произошло, они сразу же послали джипы с солдатами, вертолет и даже самолет. Устроили самую настоящую бойню. Многих убили. Сжигали дома, насиловали женщин, избивали детей. Даже животным и тем досталось. Стреляли по курам и поросятам. Исполосовали штыками быков и лошадей. Некоторым мужчинам вместе с женами и детьми удалось бежать по глухим тропинкам в горы и леса.

Через пять дней голод, москиты и хищные звери заставили нас вернуться в поселок. За это время в семи департаментах прошли повальные обыски. Почти все ранчо, хозяева которых отомстили за смерть Хустино, были сожжены.

В газетах об этом не писалось. Люди не могли работать в этих условиях.

Вот тогда-то мы и решили занять кафедральный собор. Сделать так вам предложила прибывшая группа студентов и преподавателей. Мы уже были хорошо организованы и потому сразу согласились, рассчитывая на то, что о нашем положении напишут в газетах.

В назначенный день сто двадцать крестьян, а также студенты и преподаватели пошли к мессе.

Примерно в десять утра, когда месса закончилась, мы, спокойно опустив головы, остались сидеть на своих местах. Вскоре кто-то приказал закрыть двери. Тогда священник, убиравший святые чаши и вино для причастия, прекратил свое занятие, подошел к нам и спросил:

— Что вы делаете? — И добавил: — Вам лучше уйти.

Мы ответили ему, что не двинемся с места и некоторое время пробудем здесь. И попросили у него ключи, которыми запираются замки на засовах соборных дверей.

А поскольку священник не пожелал отдать нам связку ключей, нам пришлось достать заранее припасенный напильник и распилить дужки замков, которыми собор закрывался изнутри, и тут же повесить их так, чтобы снаружи двери нельзя было открыть. Незапертой оставили только маленькую дверцу, ведущую на паперть. Двое студентов и трое преподавателей встали возле этой дверцы в качестве привратников и объясняли всем приходившим крестить или на конфирмацию, что по таким-то и таким-то причинам сегодня службы в соборе не состоятся. А тех, кто заходил просто помолиться, они просили сделать это по возможности скорее и удалиться. Мы разрешали остаться в соборе только тем, кто пожелал присоединиться к нам в знак протеста против бесчинств в департаменте Чалатенанго.

Прихожане выслушивали нас, крестились и пускались наутек. Часам к двенадцати мы все, кроме наших «привратников», уже сидели внутри. Они стояли снаружи у чуть приоткрытой главной двери и через мегафон произносили речи. Это было что-то вроде митинга для толпившихся у собора зевак.

Все остальные сидели внутри в готовности наглухо закрыться, когда это потребуется. Собор сразу же окружила полиция. Появились патрульные полицейские машины.

Через некоторое время мы начали получать помощь от населения. Люди несли нам продукты, одежду, аспирин, медицинский спирт. На стены собора кто-то повесил простыни с написанными на них лозунгами.

В час дня пришел какой-то священник и попытался убедить нас покинуть помещение. Он сказал мне:

— Послушайте, вы избрали самое неподходящее место. Будет лучше, если вы уйдете. Нет необходимости подвергать себя опасности. Мы знаем, что причины вашего поведения весьма основательны, но не следует добавлять новое к тому, что уже случилось.

— Монсеньор, — обратился к нему один из студентов (хотя до сих пор мне было известно, что в городе так обращались только к архиепископу), — мы уверены, что вы и все христиане не допустите, чтобы с нами что-то случилось.

Священник ответил:

— Я вас предупредил. Если вы хотите, можете остаться. Единственное, о чем я вас прошу, так это об уважении ко всему, что здесь есть. Это вещи святые.

Один из наших ответил на это так:

— Не волнуйтесь, монсеньор, мы люди честные, и, как вы могли убедиться, наш протест носит мирный характер. Ни у кого из нас нет с собой оружия, даже мачете.

Монсеньор не сдавался:

— Да, но я вижу, что вы на все способны, вы уже сломали замки на дверных засовах.

Мы тоже настаивали:

— Да, монсеньор, но падре не пожелал отдать нам ключи, поэтому в целях безопасности и для того, чтобы можно было закрыть двери, мы так и сделали.

Монсеньор был вне себя, но постарался это скрыть и все время нервно одергивал свою красную сутану. Казалось, он вот-вот ее порвет.

Один студент сказал:

— Послушайте, монсеньор, мы ведь не виноваты.

На что тот ответил:

— Да, но вы забыли, что находитесь в святая святых сальвадорского католицизма.

Я ведь не привыкла не только с монсеньорами разговаривать, но даже и с простым пономарем. А тут вдруг откуда что взялось.

— Вот именно потому мы и здесь, монсеньор!

Вдруг появился еще один священник. Одет он был лучше первого. «Красивая смена караула», — отметила я про себя. Кто-то прошептал: «Это архиепископ». И, пока он шел, все повторяли: «Архиепископ, архиепископ».

Ходили разговоры, что он за нас. Мы про это слышали и потому встретили его аплодисментами. Он такого не ожидал и заулыбался. Потом сказал монсеньору, что все в порядке, он разрешает нам здесь остаться и надеется, что недоразумений со священным имуществом не будет.

Видимо испугавшись большого количества присутствовавших, он сказал:

— Однако вас здесь многовато. Тогда один из организаторов уточнил:

— Сеньор архиепископ, нас сто тридцать. Сто двадцать пришли из Чалатенанго. Это крестьяне. И десять местных.

Архиепископ сообщил нам, что он обо всем знает, что сегодня у него состоится встреча с властями для скорейшего решения проблемы. Нашего организатора провели по собору, чтобы показать наиболее безопасные места, где людям можно спрятаться при чрезвычайных обстоятельствах. После этого священники ушли.

В три часа дня мы устроили «обедоужин», и очень обильный. Еду нам принесли в полиэтиленовых пакетах из столовой и с рынка. Мне никогда так вкусно есть не доводилось. Чтобы продукты не испортились, пришлось съесть все. Прямо скажем, наелись до отвала.

Через некоторое время вернулся монсеньор и отобрал двоих для приготовления пищи, Он сказал, что только они могут входить в святую соборную кухню. И дальше пояснил:

— В эту кухню заходят только мои родственники и моя кухарка.

Кто-то сказал:

— Огромное спасибо, монсеньор.

Опытным взглядом он окинул нас и выделил двух бывших среди нас учительниц. Они попросили себе помощницу. На эту роль взяли меня.

— Ну вот и хорошо, — сказал монсеньор, — пожалуйста, осторожнее.

— Хорошо-хорошо, падре, — пообещала я, как будто только

меня одной это касалось.

Потом назначили ответственных за уборку и дежурных.

Время в тот день летело стрелой. Только и успела я что вспомнить маму, папу и дедушку Чепе. Еще о бабушке Лупе и моих троих братьях и сестрах подумала. Одному моему братишке полтора года, сестренке семь лет, а самому старшему — десять. По правде сказать, об отце я вспомнила мельком. Он у нас пропал без вести, а это почти то же, что погиб. А я решила взять себе за правило не думать о погибших, потому что это очень грустно, а от грусти и печали человек совсем сникнуть может.

Моего отца зовут Элио Эрнандес. Он был опора и кормилец семьи. Теперь все заботы на мои плечи легли.

Немало мы горя хватили с тех пор, как исчез отец. Лучше об этом и не думать, а то становится просто невыносимо.

Плита на кухне была газовая, маленькая, из тех, на которых готовить непросто и опасно, потому что, когда спичку подносишь, она взорваться может. Чтобы еды на всех хватило, нам приходилось готовить завтрак с шести утра до десяти. Обед — с одиннадцати до трех.

Тарелки у нас были пластиковые для одноразового пользования. Но мы их не выбрасывали. Мыли и опять в дело пускали. Так что времени у «поварих» было в обрез.

В соборе мы пробыли восемь дней. Мыться никому, кроме поварих, было негде. У нас же на кухне была небольшая ванночка, где нам и удавалось немного освежиться с помощью пары кружек воды и хозяйственного мыла.

С самого первого дня было организовано дежурство. Заступали на дежурство по двое. Спали по очереди группами (было создано две группы — «А» и «Б»), в одежде и не разуваясь.

Первое испытание выдержали ночью, когда бодрствующая группа «А» подала сигнал группе «Б». Мы быстро повскакивали со своих мест и собрались в установленном месте. Оказалось, что дежурные заметили, как несколько полицейских бежали к главному входу. Но тревога была несерьезной. Полицейские лишь сорвали с фасада простыни с лозунгами и удалились.

После этого уснуть уже никто не мог. Ответственный призвал к бдительности тех, кто перед сном все же разулся, и тех сонь из группы «Б», которые по сигналу группы «А» не проснулись. Затем он сообщил, что сейчас три часа ночи. Я поднялась последней, когда обе группы были уже в сборе. Еще поругали тех, кто спал на скамейках напротив двери, ведь в случае стрельбы это опасно. После той ночи люди стали спать на полу или на скамейках в местах, защищенных стеной. В дневное время, чтобы не было скучно, кто-нибудь проводил беседу о правах народа или же все

мы разучивали песни.

Через два дня опять появился монсеньор Ромеро и, увидев, что мы в соборе устроились как у себя дома, обратился к нам со словами:

— Ну что ж, вижу я, никто из вас не помнит, в каком священном месте находится.

Мы в один голос ответили:

— Как можно, монсеньор?!

Тогда он сказал:

— Хорошо, посмотрим. Кто из вас молился?

Все, как один, подняли руку. Я чуть не рассмеялась прямо в лицо священнику. Конечно, никто из нас и не вспомнил, что он верующий и католик. А молиться тем более никто и не подумал. Не за этим мы пришли сюда. У нас проблемы поважнее.

Монсеньор сказал нам очень серьезно:

— Не надо меня обманывать. Руку вы тянете по привычке, а вовсе не потому, что молились.

Тогда наш руководитель ответил ему не менее серьезно:

— Монсеньор, может, вы и не поверите, но мы все здесь верующие и строго выполняем заповеди господни. Это точно. Но точно и то, что, если нас тронут, мы будем вынуждены защищаться.

Монсеньор решил, что лучше сменить тему разговора, и обратился к нам с такими словами:

— Как вас кормят? Работает ли плита? Хорошо ли вы спите? — А потом, перейдя совсем на другое, сказал: — По радио сообщили, что по вашим требованиям уже есть решение. А потому, если хотите идти, идите спокойно. Есть приказ каждому из вас гарантировать жизнь и никого, кто отсюда выйдет, не преследовать.

Наш руководитель ответил:

— Большое спасибо, монсеньор, за новости. Но мы отсюда никуда не выйдем до тех пор, пока не получим приказа из нашего центра. Вы нам гарантируете жизнь здесь, но не у нас дома, в деревне. Кроме того, в департаменте еще сидят национальные гвардейцы. Пока они не уберутся оттуда, мы никуда не пойдем.

Монсеньор предпочел удалиться и на прощание сказал, что придет завтра в девять, чтобы отслужить для нас мессу.

На четвертый день стал ощущаться недостаток продуктов. Теперь на каждого приходилось по лепешке или по галете. Когда собирались, шутили:

— Чтобы здесь с голоду не помереть, надо этих трех толстячков беречь!

Те отвечали:

— Ну и злодеи! Неужели вы нас поджарите и съедите?

Я, как помощница повара, вставляла:

— Да, компаньерос, лучше их поберечь.

Шутки, какими бы глупыми они ни были, веселили всех.

Руководитель сказал нам:

— Не волнуйтесь из-за того, что продукты кончились. Компаньерос хлопочут, чтобы нам их доставили по линии Красного Креста.

Ну а так как из Красного Креста никто не появился, на следующий день решено было идти покупать продукты. Потребовались люди, готовые рисковать, потому что как выйти, так и войти было весьма опасно. Тут же могли арестовать. Чтобы риска было поменьше и чтобы продукты привезти поскорее, конечно, лучше было взять такси.

Вызвались идти две девочки: одна лет пятнадцати, другая — шестнадцати. Они вышли через заднюю дверь в сторону монастыря. Монастырь находится за собором, в том же самом квартале. У двери в этот момент никого не оказалось. Было это в десять часов утра. К четырем они еще не вернулись, и мы, конечно, начали беспокоиться. Может, их уже арестовали давно? А может, они испугались и сбежали?

Тогда руководитель сказал:

— Нет, эти девушки не робкого десятка. Наверное, дело в том, что церковь сильно охраняют и им не войти.

Так оно и оказалось. Дежурные у двери вскоре увидели, как вокруг собора раза четыре проехало такси с этими девушками. Потом они куда-то исчезли. Собор действительно находился под сильной охраной. Полицейские внимательно наблюдали за каждым, кто подходил к дверям. Вот девочки и решили внимательно посмотреть, что вокруг делается. Они установили, что со стороны строящейся церкви охраны нет, и попросили каменщиков перекинуть сумки за ограду, где мы их могли подобрать.

Уже без сумок девочки направились к собору со стороны монастыря, и одному богу известно, каким образом уговорили полицейских на углу разрешить им пройти к монастырю. У дверей монастыря теперь тоже стоял полицейский. Девочки завели разговор с ним, а когда увидели, что дверь перед какими-то посетителями открылась, прошмыгнули мимо изумленного полицейского. Мы встретили их аплодисментами. Они рассказали, что с ними произошло во время похода за продуктами, и попросили добыть веревки, чтобы поднять продукты через окошко, которое выходило к стройке и к которому можно было добраться только через спальню

монсеньора. Окошечко это находилось на высоте метров пятнадцати. Достать продукты вызвались те, кто умеет на кокосовые пальмы влезать за орехами. Примерно через полчаса продукты оказались в нашем распоряжении.

В пять вечера мы устроили неплохой обед. Утром ведь нам только по полгалеты на нос досталось.

На следующий день наша организация и женщины с рынка сумели через Красный Крест переправить нам достаточное количество продуктов.

Все шло неплохо. Но люди очень страдали. Сидеть взаперти было нелегко, особенно крестьянам, которые привыкли работать под открытым небом. Единственно, кто не отчаивался, так это «привратники». От постоянных криков в мегафон они уже охрипли.

Высовываться в двери и окна нам было запрещено. Только четыре стены перед глазами. Наверное, потому так часто все и отпрашивались в туалет — хотя бы так размяться. Чтобы туда попасть, надо было подняться по лесенке, потом спуститься, пройти по темным коридорам в другой зал, где раньше тоже мессы служили. А сейчас там спали то ли не пожелавшие, то ли не успевшие вовремя покинуть собор семинаристы, родственники монсеньора или его друзья, молодые студенты и служащие. Что касается самого монсеньора, то нам всем показалось, что он рискует так же, как и мы, и что, в общем, он неплохо себя ведет, особенно если учесть, что старики больше дрожат за свою шкуру, чем молодые, к тому же он страдает от диабета. Об этом он сказал нам, поварихам. Ну а кроме того, он, наверное, чувствовал себя арестованным, потому и выходить не пожелал. А нас устраивало, что он, «хозяин» кафедрального собора, находился у себя.

Однажды монсеньор, обращаясь к одной из учительниц, сказал:

— Да наградит вас господь бог. У вас же нет необходимости сидеть здесь взаперти и делать добро ближнему. — И потом добавил: — Я второй раз попадаю в плен к крестьянам. Но у меня больше сил нет сидеть столько дней в помещении. — Вот тогда-то он и упомянул про свой диабет. Компаньера учительница сказала ему, чтобы он не чувствовал себя заложником, он вместе с теми, кто борется за правое дело. Монсеньор только улыбнулся и продолжал творить свою молитву, перебирая костяшки четок.

Случались и смешные истории. Падения, например, со ступенек, которые то круто вздымались, то резко опускались в темных коридорчиках. Растяпам худо приходилось. Всегда кто-нибудь из них шлепался.

Как-то несколько компаньерос остались без кофе из-за того, что тот, кому поручили его нести, пересчитал ступеньки носом, и кофе, естественно, разлился по полу. На самом деле там было не так уж темно. Дело в том, что цвет кирпича на ступеньках сливался с цветом кирпича, которым был выстлан коридор. Казалось, что место ровное, потому люди и спотыкались о ступеньки или падали с них.

Желудочных заболеваний было мало. Во-первых, ели все немного, а во-вторых, все было хорошо проварено.

В один из дней мы получили сумки с мороженым мясом, рыбой и цыплятами. Люди, которые принесли сумки, позже были арестованы… Как раз в этот день в монастырь позвонили. Это было примерно часов в восемь вечера, когда на кухне варился фасолевый суп. Трубку сняла кухарка монсеньора. Она услыхала: «Завтра они уйдут». И больше ни слова.

Эта сеньора сказала мне:

— Кто-то очень неприятным голосом передал, что завтра они уйдут. А как уйдут? По-хорошему? Будьте осторожнее, берегите себя.

Мы ей ответили:

— Спасибо большое. Пожалуйста, приглядите за фасолью, пока мы сбегаем к нашим и сообщим эту новость.

Чтобы попасть туда, где находились остальные, мы пользовались дверью, через которую могли ходить только мы, кухарки. Но в целях безопасности мы это делали не часто. Чтобы дежурные открыли эту дверь и впустили нас, надо было постучать два раза. Дело в том, что возле этой двери была щель, через которую можно было наблюдать за улицей. Но мы никогда этого не делали. Это было запрещено, да и небезопасно. Мы всегда проскакивали это место как можно быстрее, но на этот раз решили поглядеть сквозь щель. И увидели, что пеших полицейских стало намного меньше и патрульная машина только одна стоит.

В зале мы застали товарищей сидящими в полной тишине вокруг маленького приемника. Мы отыскали руководителя и сообщили то, о чем нам рассказала кухарка монсеньора. Он нас попросил не строить иллюзий и никому ничего не говорить. А потом добавил, что уже и сам обратил внимание на сокращение охраны и что они включили приемник, чтобы послушать вечерние новости. Вот тогда-то мы и услышали, что завтра в двенадцать часов Красный Крест заберет всех нас из собора.

Мы решили, что опасность уже позади, а потому, когда возвращались на кухню, отважились подняться на чердак. Через слуховое окно было видно, что где-то далеко что-то сильно горит,

будто целый квартал домов. Мне вдруг стало весело — не потому, что пожар увидела, а потому, что наконец завтра сумеем покинуть собор. Подумалось, что, может, дома, в наших селениях, все уже решено.

Именно так все и произошло. На другой день подъехали автобусы Красного Креста и вывезли нас. Теперь я нахожусь в горах. Моего отца так никто и не видел с тех пор, как его схватили гвардейцы. Бедной маме достается больше всех. Мои сестры и братишки еще маленькие: одному скоро будет два, сестренке — семь, а третьему уже десять. Он уже зарабатывает и помогает по дому. Я тоже.

Живем словно на вулкане, хотя каждый знает, что вечно так жить невозможно. Мы делаем все, чтобы так не было. Конечно, на некоторое время в департаменте и в нашем селении преследования прекратились. Но скоро все опять начнется сначала. Национальные гвардейцы вернутся снова. Однако мы с каждым днем становимся все сильнее и сильнее и сможем дать отпор. Как бы там ни было, несмотря на отчаяние наших матерей, сестер и братьев, дедушек и бабушек, то, что мы, крестьяне, сделали, оставило свой след.

Все кончилось хорошо. И я возвратилась в Илобаско.

ПОЛДЕНЬ

Воркует горлица на ветке макулиса[26]. Перышки у нее цвета корицы, а по краям крылышек кайма белая. Все протяжнее воркует она, словно плачет. Горлица — птица грустная, смирная и одинокая. Воркует, будто хочет сказать: солнце высоко стоит, а обед не кипит. Эту самую горлицу, наверное, слышит и Адольфина, шагает она по горячей пыли, уже к повороту подходит. А малые, наверное, за ней тянутся.

Вон с той стороны они появятся, на дороге, обсаженной тиуилоте и акациями, на которых горлицы сидят и про полдень напоминают. Вот оттуда они и придут и птиц голодных вспугнут. Птицы — они как люди, в полдень едят.

Тортильи делать времени не хватило. Напекла бы лепешек, и все тут. Когда они горячие да с солью, как хорошо. Я ей сказала, чтобы захватила по дороге тортилий. Может, потому ее и нет до сих пор. Ждет, пока тортильи напекут. Разленилась я совсем сегодня. «Скажи куме, чтобы дала три больших тортильи и несколько маленьких для ребят». Адольфина ответила: «Ладно, ладно».

А вот уже и гуардабарранка[27] проснулась, прыгает с ветки на ветку, клюет зрелые плоды и насвистывает громко-громко. Или сядет на влажный мох, напьется воды болотной, поглядит на себя в водяное зеркало и опять — «фьють-фьють». А горлица отвечает гуардабарранке. И другие птички подают свои голоса.

По этой дороге под пение птиц бредут мои Адольфина, Бенхамин, Эстер и Мончо.

— Наконец показалась девчонка…

— Быстро к двери! Я тебя отсюда прикрою…

— Тебя ищут! — успела я крикнуть.

А она, будто ничего не случилось, говорит поотставшим малышам:

— А ну поживее, поторапливайтесь!

Пихириче выскочила ей навстречу и радостно вовсю крутит остатком хвоста. «Вот и моя внучка», — говорю я. Нет, совсем ничего я не говорю. Это у меня в мыслях проносится, Зачем говорить, если вот она входит в дверь, на голове узел с тортильями, и кричит:

— Живей, живей! Давай поскорей, деточка, все бы тебе играть! Всю дорогу с Мончо ссорились. Никак идти не хочет. Уснул у крестной, пока тортильи пеклись.

Солдаты достали свои записные книжки. И началось, как обычно:

— Полное имя и фамилия? Сколько лет? Кто твой отец? На что живешь? Откуда пришла? Как попала в Чалате? Состоишь ли в крестьянской федерации? С какого времени? Зачем приехала к бабушке?

А Адольфина в ответ:

— Вы капрал Мартинес, не так ли?

А он:

— Что с этой дурехой?

Другой вмешивается:

— Разве я не говорил, мой командир, что народ здешний совсем не слушается, обнаглели люди.

Адольфина:

— Моя мама и мой отец мне про вас говорили. Вы приходили вместе с Вильямом в дом к моему деду, отцу моего отца.

А он:

— Ну, девчонка, хватит! Я тебя уже наслушался. Ты меня с кем-то путаешь. И довольно спрашивать! Здесь только мы вопросы задаем. Не хватало еще, чтобы ты книжечку достала и начала записывать…

Другой опять вмешивается:

— Не хочет народ по-хорошему. Чем лучше относишься к ним, тем больше тебе хотят напакостить. Прямо из себя выходят, когда мы спокойно свое дело делаем.

А он:

— Без твоих речей обойдусь! Я и сам могу врезать ей по затылку… Это правда, что ты с коммунистами якшаешься?

А я:

— Дон сержант, до сих пор мы уважали власти. Если они спрашивают, мы отвечаем на вопросы. Мы хоть и бедные, но вежливые. Я попрошу и вас быть такими же. Не грозились бы и не оскорбляли бы лучше. Вы должны понять девочку. Она спрашивает, потому что пережила много. Отец в тюрьме, матери власти чуть глаз не выбили, а теперь до деда добрались. Сами посудите, сколько на нашу долю досталось.

Другой:

— Мы женщин не трогаем.

И Адольфина:

— Да вам все равно! Мою маму вон как ногами били. Я знаю, что и вы, сеньор капрал, в этом замешаны. Это я хорошо знаю. Больше того, я знаю вашу маму, донью Патрисию. И не вздумайте сказать, что это не так. Я дочь Элио Эрнандеса, о котором вы не хотите сказать, где он.

А я взяла ее за руку, прижала к себе и сказала:

— Девочка, не будь грубой, уважай сеньоров и отвечай, когда

тебя спрашивают… Вы должны понять, дон сержант, что она еще маленькая и не может прийти в себя после пережитого. Мы же не каменные и иногда срываемся…

И другой:

— Хочешь не хочешь, а, видно, тут еще не перевелись слишком грамотные старые шлюхи.

И я:

— Вы должны сказать, зачем пришли. А вы уже тут столько времени и все молчите, вот потому мы и спрашиваем. Она же еще несамостоятельная, собой не распоряжается. Понимаете, дон сержант?

И он:

— Власти вы уважать перестали, вот что. Вам будто в голову что-то ударило. Давайте по-умному. Лучше будет. Скажите своей внучке, чтобы она покладистей была. Мы дело свое делаем, и у нас ни один волос с ее головы не упадет.

И я:

— Не хочу, чтобы при ней так говорили. Со мной — пожалуйста. Я старая и ко всему привыкла.

И Адольфина:

— Ну ладно, пусть скажут, что им от меня надо.

Мне показалось, что у них нет плохих намерений. Хотя людям этим доверять совсем нельзя.

ДЕСЯТЬ МИНУТ ПЕРВОГО

— Мы хотели поговорить с вами наедине.

Чудо какое: на «вы» обращаются! Ишь ты — воспитанные, особенно когда туману напускают.

— Дело в том, что мы нашли раненого, а так как вы до нас по этой дороге проходили, вот мы и подумали, что вы тоже его видели.

«Вот, оказывается, почему они молчали. Неужели у меня спросить не могли?» — подумала я.

— Я никого не видела, — ответила Адольфина.

— Вы прошли в этом месте в девять…

— В каком именно?

— В том, где этого человека нашли. Он назвал нам Адольфину. А вас ведь так зовут?

— Я не понимаю, о чем речь…

— Человек этот не хочет себя называть, и документов у него нет. Вот мы и решили найти Адольфину, про которую сказал раненый. Вы здесь одна-единственная Адольфина.

— А вы уверены, что он это имя назвал?

— Не очень уверены, иначе зачем бы нам вас спрашивать? Вот мы и хотим все выяснить.

— И что же вы хотите?

— Чтобы вы пошли опознать раненого. Если это ваш знакомый, помогите нам.

— А не лучше ли его в больницу отвезти, вы же сами сказали, что он ранен.

— Не надо нас учить. Мы пришли за вами. Оставьте эту ерунду, которую вы принесли, и следуйте за нами.

А я сказала:

— Нет, зачем, если этот раненый знает Адольфину, он должен знать и меня. Давайте я пойду с вами, а она посидит с детьми. А лучше пойти всем вместе.

А они:

— Вы, старая, сюда не лезьте. Времени у нас мало. Человек этот примерно в лиге отсюда. Как затолкать малых ребят в полицейскую машину? Эта машина не для того существует.

Я поняла, чего они хотят, и сказала, что Адольфина одна шагу из дома не сделает; они должны понять, что она еще девочка, я за нее отвечаю, она моя внучка, с ней ничего не должно случиться, пока она на моих руках. Берите меня. Я могу ходить столько же, сколько и вы. Я могу опознать этого человека, если он из наших мест. Здесь я всех знаю. А если он нездешний,

то это не наше дело. А может, вообще ошибка произошла. Вы же сами говорили. Вы понять меня должны. Видите, что я в черном. Только недавно у меня близкий человек погиб. Я вся комок нервов и не позволю девочке никуда идти. Лучше застрелите меня на месте, если вам от этого будет легче. Но девочка одна отсюда никуда не пойдет. Лучше убейте нас всех…

Я уже и не помню, что им говорила. Помню только, что Адольфина меня упрашивала:

— Подожди, бабушка, успокойся, мы пойдем все вместе.

— Почему, сеньоры представители власти, нам вместе не пойти? — с трудом повторяла я одно и то же. После Хустино я ни за что не могла позволить, чтобы ее увели гвардейцы, на лице которых ничего, кроме плохого, не было видно.

Они на какое-то время будто замерли на месте, с удивлением разглядывая меня. Наверное, я их очень удивила. Столько часов молчала — и вдруг заговорила.

Они и на самом деле уставились на меня. Наверное, думали: «Что с ней, с этой сумасшедшей? Такие уж они, эти старые».

А мне уже было все равно. Я даже о своих малышах в тот момент не думала, а тем более о том, что в меня пулю всадить могут. Малыши выли воем. Слезы у них в три ручья лились. Плакали они так, как плачут голодные, страдающие или больные дети.

— Моя внучка отсюда и шагу не сделает! — закричала я, да так, что даже Пихириче на меня залаяла. Адольфина обняла меня, все еще держа в руках горячие тортильи. Со слезами на глазах она уговаривала меня успокоиться. Хустино мне не простит, если я позволю ей уйти с этими типами. Когда я вспоминала о нем, у меня прибавлялось сил. — Лучше убейте меня, убейте нас всех!

Наконец они заговорили:

— Пора унять эту старуху.

— Ну и скандальная тетка!

— Отпусти девчонку, не то силой заберем ее и тебя не спросим. Мы с ней по-хорошему, а она издевается над нами!

Потом заговорила Адольфина:

— Я с вами не пойду, с места не двинусь. Не знаю, кого вы хотите, чтобы я опознала. Ведите нас лучше всех вместе, хоть и медленно, но дойдем. Если потребуется, эти ребятишки смогут идти, а самого малого возьму за спину. Справлюсь.

И она вытерла глаза передником, который повязала еще утром. Бедняжка говорила ровным голосом, так что они, если бы не видели, как она слезы смахивает, не поняли бы, что она плачет. А слезы в глазах ее стояли огромные, будто шары стеклянные.

— Наглеет народ с каждым разом все больше. На что только они надеются?

— Будто они здесь власти и уж приказать им нельзя!

— Как ослы упрямые. Станут — с места не сдвинешь.

— Только и понимают, когда врежешь. Если хотите, сейчас всыплем ей как положено, и конец базару.

— Подожди. Я здесь командую. Не лезь.

Тогда вдруг Адольфина решила еще раз со старшим по-своему поговорить:

— Я же тебя знаю! Лицо твое мне очень знакомо. Ты сын Тичи, той сеньоры, которая зеленью по воскресеньям на рынке торгует.

— С ума совсем здесь все спятили! Будто семейные дела обсуждают! — воскликнул он, а потом, обращаясь к Адольфине, заявил: — Я тебя не знаю. И никакой Тичи не знаю. Власть уважать надо. Пошли!

— Ты приходил в дом моей матери.

— Мой капрал, эта сумасшедшая над нами издевается! — разозлился солдат. — Значит, по-хорошему не хочет.

— Перестань, доченька, старое ворошить. Что прошло, то прошло. А не то они опять за свое возьмутся.

— Это не старое, бабушка, оно у меня вот здесь, в груди, сидит, — ответила она мне тихим голосом.

Между тем сержант достал из-за спины радио, вытащил то, что называется антенной, и, назвав какие-то номера, спросил, нельзя ли доставить раненого… Он говорил на каком-то странном языке, но все же было понятно, что раненого они хотят привезти к нам.

Малыши с Пихириче забились в углу, жевали тортильи с фасолью.

— А ну марш во двор играть! Слезайте с маиса, а то крошек туда насыплете.

И поплелись они вместе с собакой. А я смотрю на них, будто прощаюсь. В наше время только так — всегда надо попрощаться на всякий случай, вдруг больше не увидишься. Ведь не знаешь своего часа, когда глаза твои закроются. С Хустино так и было. Голову на кол насадили. Глаза остекленели, а на лице вроде улыбки, будто он прощался со своими сыновьями и доченьками, со мной или друзьями, для которых ничего не жалел.

Вот так всякий раз, когда ты, уже большой и толстый Бенхамин, ты, худенькая и легонькая как пушинка Эстер, ты, Мончо, любитель молочка, и ты, Адольфина, кровинушка родная Марии Пии и моя тоже, — когда вы уходите, я на всякий случай прощаюсь с вами и молюсь богу.

Вот такие нынче дела. Не знаешь, откуда беда придет.

Думая о боге, я всегда думаю и про ту сознательность, про которую Чепе говорит. Может, это одно и то же? Что бы со мной стало, если бы у меня не было сознания? Я бы не перенесла всего этого. Как могут вынести это несознательные люди? Те, у которых нет Чепе. Я им сочувствую. Страшное дело.

А солдаты все нажимали кнопки и продолжали переговариваться по радио.

Вот уже и смеркаться начало. Смотрю, как у горлиц грудка, словно мехи в кузнице, поднимается и опускается, смотрю на их перышки цвета корицы. Вот они повернули головки, чтобы лучше слышать воркование сидящих поодаль подруг. Им не нужно ни радио, ни антенны. Каждый вечер они прилетают поклевать зернышек маиса. В свадебную пору голубки прилетают доверчивые и садятся прямо на повозку. А потом, набрав, зерен, делают круг над домом, и доносится только шелест их крыльев.

Если хочешь, поешь, пока я схожу с властями. Возьми рис и пару-другую ложек фасоли и накорми ребят. Каждому дай по одной ложке. Ты соли привезла, правда, доченька? Тогда по щепотке каждому. Соль дешевая, но бросаться ею нельзя, это грех. Человека крестят с солью, чтобы смыть грех первородный. Я тебя благословляю именем отца и сына и святого духа. Кажется, только вчера мы крестили Адольфину. Как она выросла! Скоро замуж. Дети пойдут.

Однажды Чепе мне сказал: «Если мне придется кровь пролить, свою кровь, я не дрогну, раз это для блага всех». Вот он какой. Мне он говорил, что быть сознательным — это значит собой жертвовать ради тех, кого эксплуатируют. Я бы никогда не поняла, что эти слова означают, если бы Чепе мне не объяснил. Немало труда стоило мне понять, почему мы эксплуатируемые. Думала я, что природой так устроено. Я верила, что каждому своя судьба предназначена свыше. Если человек бедный — значит, на роду ему так написано. Что поделаешь, если господь бог не сотворил для нас жизнь лучше? Мы должны благодарить его уже за то, что мы живем и нам хватает соли, маиса и фасоли.

Так было, пока я не открыла слово «эксплуатируемый». Нас, крестьян, в этой стране эксплуатируют. Потому мы такие бедные. Если бы нам правильно платили, было бы совсем другое дело. Дети не росли бы неграмотные. Нам бы легче понять было наши крестьянские проблемы, говорил он мне.

Он всегда обо всех думает. И не только думает, но и делает. За это его люди любят. Они хорошо знают, что он всегда готов ради них свою жизнь отдать. Таким он в нашей организации сделался. Даже выпивать перестал, чтобы всего себя делу отдать.

Для него нет ни суббот, ни воскресений. Поначалу я не понимала, почему он нас оставлял. Не в том смысле, что уходил, а в том, что мало на нас обращал внимания. Только и было у него на уме что задания да задания. Он объяснял нам, почему так нужно. Это и есть сознательность, говорил он мне. Вот и выходило, что это штука сложная, одним словом не объяснишь. Сознательность — это все, что мы делаем на благо других, забывая про свои личные интересы.

Вот потому я и говорю: Чепе — моя совесть.

ЧАС ДНЯ

Пока они занимались со своим радио и не обращали на нас внимания, мы решили пообедать.

Но в это время воздух, словно стрела, рассек ястреб. Услыхав своим острым слухом наседкино кудахтанье, он закружился над двором напротив нашего. И вдруг камнем упал вниз, прямо на цыпленка. Курица попыталась закрыть свой выводок, но ястреб, схватив цыпленка, взмыл в небо. Наседка подпрыгнула было, а потом бросилась к оставшимся цыплятам и крыльями накрыла их. А довольный добычей бандит-ястреб был уже высоко.

Воспоминания из головы не выходят.

Вот я и говорю, дон Себас: придет беда — отворяй ворота. То не было дождя, а когда чуть покапало, будто кот наплакал, мы обрадовались, посеяли маис, да все пропало».

«Может, в этом году лучше будет. Уже много дней летят асакуаны[28]».

«Правда, дон Себас? Люблю смотреть, как они летят в вышине. Но нынче я их даже не видела».

«Их столько летело, что наверняка хороший дождичек будет».

«Наверное, на север летят».

«А кто их знает, куда они летят?»

«Вот бы год нынче хороший выдался!»

«Дождик, дождик, пуще…» Мне нравилось петь эту песенку, когда на горизонте появлялась туча и приходилось спешить, чтобы успеть дела доделать. Еще далеко! И бежишь на развилку к дону Себасу купить бурого сахара для кофе. Только успеешь вернуться, а туча уже совсем над головой. С нашего холма видно, как от горизонта ливень стеной надвигается. И я пела: «Дождик, дождик, пуще…» Так на душе весело становилось!

«Мама, открой секрет, как ты кофе готовишь. Я друзей научу. Стоит твой кофе попробовать, сразу разницу чувствуешь».

«Это ты говоришь, потому что кофе бабушкин. Он самый вкусный».

«Правда, мама…»

«Когда женишься, Хустино, и из дома уйдешь, вот тогда и поймешь, что самый вкусный кофе тот, который тебе жена приготовит».

Так жил мой Хустино. Он любил людей. Мало быть добрым, важно, чтобы эту доброту другие чувствовали. Как он любил делать добро и как он ценил, когда ему добро делали!

«Да вот ведь дело какое, двадцать один год по земле хожу, а жениться не успел…»

«А может, ты уже обхаживаешь какую-нибудь девочку?.. Дома-то тебя частенько не бывает. Дело, сын, житейское».

«В федерации забот по горло, так что на глупости времени не остается».

«Это, сынок, жизнь, а не глупости».

Мне всегда казалось, что он на Хосе похож. Глаза, рот — такие же, и точно так же вытирает пот со лба, а потом медленно опускает руку.

Вот поэтому я тобой и любовалась, как молодым Хосе, когда он только начал в наш дом заходить.

Но ты, Хустино, одевался лучше Хосе. У Хосе ничего, кроме рубашки домотканого полотна, не было, а тебе такая материя никогда не была по душе, с тех пор как стал понимать себя. В селение ты ходил и красовался всегда в покупных рубашках. Парни сейчас другие пошли, все у них лучше, но и жизнь у мужчин стала опаснее.

С тех пор как мы перестали молчать и начали права свои требовать, жизнь для мужчин в этих краях сделалась невыносимой. Мы родились бедняками, и господа хотят, чтобы мы такими всегда и оставались. А если мы не согласны, они готовы всех нас уничтожить. Это можно понять по тому, как они с нами обращаются, как легко разделываются с людьми. Мы живем в нищете, голодаем, и все равно они хотят уничтожить нас. Они хотели бы, чтоб нас вообще не было. Кто же тогда им будет собирать хлопок, кофе, кто будет расчищать поля под посевы, кто будет засевать такие огромные землевладения? Может, они сами? Может, власти снимут эти пушки, которые носят, чтобы народ запугивать, и сменят их на мачете и бычью упряжку? Может, они перестанут властью быть, у которой только и забот что туда-сюда ездить и все выслеживать? Может, такое будет, когда они покончат с бедняками?

«Не будет этого», — говорил мне Хустино, а Хосе подтверждал: «Но мы должны организоваться. В этом наша сила. Мы их больше не боимся. А если останемся одни, то все равно упрямо пойдем вперед. Нас не испугают ни их сила, ни их зверства, ни убийства. Испугаться — значит погибнуть, значит признать себя побежденным, хотя правда и на твоей стороне…»

— Не знаю, почему Хустино не выходит у меня из головы.

— Надо забыть его.

— Не тебе так говорить. Уже не одну ночь я слышу, как ты плачешь потихоньку, а потом идешь во двор будто по нужде и долго-долго не возвращаешься. Память о нем лишает тебя покоя.

— Я не могу его забыть. Но не люблю, когда ты мне об этом

напоминаешь, сил не хватает слушать, когда говорят про сыновей, которых больше никогда не увидишь. А они нам нужны.

В тот день Хосе проснулся спокойный и сказал мне:

— Пусть ребята соберут все эти вылущенные початки маиса с пола и сложат в старый мешок. Кума просила на растопку.

Ушел раненько, на рассвете, сказав:

— Может, до захода солнца приду. Ночевать в горах, хоть и с товарищами, все же хуже.

Я попросила:

— Пока опасно, лучше не приходи. Знаешь, как с Элио вышло. Его не отдают и ничего о нем не говорят. Мы-то хоть смогли тело Хустино увидеть и знаем, что его уже нет в живых.

Когда человек без вести пропадает, еще хуже. Тут хоть знаешь, что нет в живых. А когда человек исчезает и никто не знает, где он и что с ним, хуже вдвойне. Все родные и близкие с ума сходят от отчаяния и неизвестности. А отчаяние — это все равно что медленная смерть.

Опасно было очень. Потому Хосе и ушел ранехонько; на дворе еще темно было, на дорогах ни души.

— Знаешь, ястреб сегодня на соседский двор прилетал, — сказала я, провожая его.

А он мне:

— Береги наших, ястреб-курятник привычку имеет на старое место еще раз прилетать.

Это уж точно, я и сама знаю. И, продолжая разговор, сказала:

— Он будто выбирал. Сцапал самого жирного цыпленка. Бедняга наседка чуть за ним не взлетела, а потом, спрятав остальных под крылья, вовсю раскудахталась.

А он мне ответил:

— Все живое свое дитя жалеет, даже птицы и звери.

Говорят, что деревьям больно, когда ветку срубают. И про Адольфину он мне тогда сказал:

— Хорошо, что девочка побудет у нас еще несколько дней. Тебе поможет. Да и лучше ей здесь, пока в Илобаско не утихнет. По слухам, власти бог весть что там творят.

Я ему заметила:

— Бедная Мария Пия! До сих пор ничего ей не ответили.

Он согласился со мной:

— Хуже всего, когда о человеке ничего не говорят. Так никогда и не узнаешь, где он.

Удивляюсь, какая молодчина наша Адольфина! Не знаю, может, нынешняя молодежь вся такая. Мать ее передала, что Адольфина с неделю у нас побудет.

Я и говорю Хосе:

— Адольфина во многом мне помогает. Я прямо отдыхаю, когда она здесь.

Она малышей, своих дядьев, нянчит. Смешно, а что я сделаю, если последний, Мончо, у меня лет в сорок родился. Повезло этому сосунку, баловень всей семьи.

ПОЛОВИНА ВТОРОГО

Каждый раз, когда Хосе про это рассказывает, я умираю от смеха. За грехи бог его наказал. А он и не отпирается. Даже совсем наоборот. Когда у него настроение хорошее, он и мне, и внукам, и малым детям все повторяет и повторяет: «Ну, так вот как у меня о этой теткой вышло». И опять то же самое. Остановить его невозможно.

«Значит, отправился я за чернобыльником, потому что у Марии Пии, которой в то время девять лет было, живот заболел. Зашел к бабушке моей и попросил лошадь, которую Каньяфистолой звали.

— А зачем тебе, парень? — спросила она.

— Девочка заболела, к речке надо съездить за чернобыльником.

— Не успеешь дотемна, — сказали дед с бабкой, — ну да бери. Вот тут тебе что под себя подостлать, а вот уздечка.

Часов пять вечера было уже, темнело. В четыре работу все заканчивают — и домой. А тем более небезопасно было тогда, после расправ тридцать второго года. Отправился я, чудак, на речку. За кофейные деревья в туман опускалось солнце. Холод до костей пробирал. На безлюдной дорожке у реки любого куста пугаешься. А тут вижу — девица на камне. И чем ближе подъезжаю, тем лучше различаю, что не просто девица, а красавица. Волосы длинные, платье на ней цветастое, но довольно грязное. «Интересно, кто ее оставил одну?» — подумалось мне. А когда я подъехал и спросил, чем могу помочь, то успел заметить, что груди у нее подрагивают. И ясно мне стало, что без лифчика она. При каждом ударе сердца на платье у нее появлялась волнистая складочка вроде тех, которые на дюнах с мелким песочком или в лужах под лунным светом увидеть можно. Ну как тут не разволноваться вконец?! Бедра у нее словно кувшин с холодной водой. На щеках ямочки, хоть шарики в них закатывай. Взгляд мягкий, бархатистый, а глаза горят, как у змеи. Уставился я на нее, рассматриваю глаза, бедра. Ямочки у нее со щек не сходят — все улыбается она и улыбается.

Сами понимаете, не повстречай я ее, разве мог бы такое придумать?

Ну, значит, говорю я ей:

— Почему на камне сидите? Он, должно быть, горячий, можно и обжечься.

А она мне:

— А вот и нет, этот камень прохладный, сидеть на нем

хорошо. Плохо только, что одна я здесь.

Тогда я ей и говорю:

— Если я по вашему желанию могу что-нибудь полезное для вас сделать, стало быть, вы не будете в одиночестве.

Признаюсь откровенно, я весь пятнами пошел. Куда и осторожность делась, когда она пожаловалась, что одна сидит?! Да и как мне было голову не потерять, молодой был, ретивый, как жеребенок.

— Я, любовь моя, так говорю для твоего же блага. — Только вспомню, так волосы дыбом и встают.

Начинаю улещать незнакомку и совсем внимания не обращаю на то, что сумерки сгущаются, темнота окутывает притихшую кофейную плантацию.

Спрашиваю:

— Что же вы делаете одна-одинешенька в этих местах?

А девушка отвечает мне, что не одна она здесь. Огляделся я вокруг, никого поблизости не оказалось. А она говорит:

— Вы же со мной.

Сердце у меня еще чаще забилось.

— Значит, мы здесь совсем одни?

— Ну да, — отвечает она.

Тут я решил взять быка за рога. Говорю ей:

— Если со мной на речку за чернобыльником поедете, потом куда захотите доставлю. — Но голос у меня дрожал от волнения, внутри будто все оборвалось. Сердце было готово из груди выскочить только от одного вида ее талии. — Ну так садитесь, — говорю.

Помог я ей подняться, усадил впереди себя и, крепко прижав, чтобы не свалилась, говорю:

— Не беспокойтесь, я вас крепко держать буду, чтобы не упали на скаку. — А никто скакать и не собирался. Это я так просто сказал, схитрил, чтобы попользоваться случаем.

— Я поеду с вами, а потом кое-что скажу, — прошептала она.

— Не беспокойтесь, довезу, куда только душа ваша пожелает. Все сделаю, что ни прикажете.

Даже про болезнь Марии Пии забыл. А самое плохое, что начал врать я ей, чтобы она ревновать не стала. Зеленый еще был.

— Чернобыльник для соседки моей. У нее живот вдруг схватило.

Может, потому что молодой был, вот хвост и распушил. Мне показалось, что на всем белом свете я единственный создан для этой женщины. А еще хуже было то, что она мне все о цветах, вдоль дороги растущих, да о всякой рыбной мелюзге в реке начала рассказывать.

Я и спрашиваю тогда ее:

— А пепески вам нравятся?

— Нет, не нравятся, — отвечает она.

— Тогда почему же вы говорите, что вы оломинок любите?

— Потому что это не одно и то же, — отвечает она.

— Нет, одно и то же, — говорю я. — Только пепески — это сухие оломинки, их едят жареными, а оломинки называются пепесками, когда они живые.

— В том-то и дело, — поясняет она, — что мне нравятся свежие рыбки, живехонькие.

Я тут прямо подпрыгнул. Ну а по дурости сразу-то непонятно, и, значит, говорю я ей дальше:

— Ну и шутница вы! — А сам все крепче и крепче ее к себе прижимаю. И все это с умыслом, а не так просто. Думаю: «Ну вот сейчас-то мне и перепадет».

Когда Хосе впервые рассказывал мне эту историю, я даже поначалу ревновала, но только поначалу.

На самом деле все было не так. Вернулся он до костей продрогший. Мы подумали, что не иначе как с дьяволом повстречался. Весь в болотной тине, мокрый, замерзший. Молчал, как глухонемой, и только прижимал к груди чернобыльник.

Как мы ни старались, не могли от него добиться ни слова.

«Тебя что, змея укусила? С дьяволом свиделся?»

Ни звука. И чернобыльник не отдает. Тут уж не до смеха нам стало. Испугались мы не на шутку. Но что было с ним дальше?

«Я уже вообразил картину, как она лежит на теплых камнях, а мне остается только раздеть ее… Все это я рисовал себе в голове, пока обнимал ее, прижимал и как бы случайно пускал в ход руку, в такт лошадиному шагу. Я ей сказал, что таких красивых волос в наших краях ни у кого нет. А она говорит, чтобы я не завирался слишком, потому что она, мол, очень уродлива. Но чертовка была красива, по крайней мере мне так показалось, когда я ее на коня подсаживал. Спрашиваю я у нее:

— Есть ли хозяин у такой красоты?

А она мне:

— Как знать, как знать!

Я уже совсем с ума сходил. Мне казалось, что она моя. И говорю я ей:

— Полюбил тебя сразу, как только твои ямочки да блестящие, словно светлячки, глаза увидел.

А она отвечает мне:

— Вы их еще не видели вблизи.

— А какие у тебя глаза вблизи? — спрашиваю.

— Лучше, если вы их рассмотрите, пока к реке не

подъехали, — говорит она.

— Вы такая игривая, — говорю я.

Тогда она будто с претензией:

— Вы меня так прижали, что ни дохнуть, ни охнуть, ни повернуться лицом, чтобы глаза показать. Не спешите, уберите-ка руку.

А у меня от нетерпения руки не повинуются, и что с ними делать, не знаю. Они змеями извиваются, готовы впиться в нее ногтями.

— Вы с ума свести можете.

— А вы, такой грубиян, тискаете меня.

Тут мне стало очень стыдно, и я чуть-чуть разжал руки. И как же я удивился, когда она с упреком вскрикнула:

— Посвободнее, да не совсем!

Вот вы и вообразите: для чего ей это было нужно?

Я притворился, что не спешу, и говорю ей:

— Там пониже, у реки, будет попрохладнее…

А на самом деле у меня по спине холодные мурашки бегают.

— То холод костлявый. — Так мне она говорит.

— Вы назвали меня грубияном. А сами вы — хитрая плутовка.

Правду я сказал. Издевается над человеком, за святошу меня принимает.

— А разве вы не замечаете, что, чем ближе к реке, тем я теплее становлюсь?

Когда она про реку сказала, мне совсем уж невтерпеж сделалось, в жар бросило.

А она то прижмется, то отринет. Я даже обе руки сцепил, стараюсь ее не отпускать от себя, чувствую ее упругое тело. Врать не буду, груди у нее как две голубки с твердыми, словно клювы, сосками.

Солнце совсем скрылось за высокими деревьями. Лошадь будто, догадалась, что со мной происходит, сама о трудом находила путь в густой траве.

Вдруг лошадь стала спотыкаться, остановилась и даже попятилась. Что случилось с животиной? От ее тревожного ржания проснулись совы и филины, послышались взмахи их крыльев.

— Не иначе ядовитую змею тамагас увидела, — заметил я.

А лошадь стоит как вкопанная. Ударил я ее пятками в бока, а она ни шагу вперед, встает на дыбы, и все.

— Давай, несчастная, вперед! Не видишь, уже подъезжаем к реке!

А сам и думаю: «Нет худа без добра. Может, нам удобнее

здесь слезть с седла, спешиться». Я ей и говорю:

— Тут мы чернобыльника нарвем, а потом я вас отвезу куда захотите. — С женщинами мы все как телята. — Ну что, слезаем?

А она игриво:

— Да нет же, нет! Может, вы со мной что сделать хотите?

— Бросьте шутить! Не видите, лошадь дальше не идет. Ничего плохого с вами не будет.

Тогда она прижалась ко мне и говорит:

— Я хочу, чтобы со мной было что-нибудь хорошее.

И когда она мне это сказала, колени у меня задрожали еще сильнее.

А она опять:

— Скажу вам правду: я ищу темноту у реки, там, в самом низу. А здесь я боюсь.

— Чего боитесь?

— Света боюсь.

— Значит, вы, должно быть, очень капризная. — И, чтобы завлечь ее дальше, говорю: — Идите сюда, к скале поближе. Под ней чернобыльник должен расти. — А сам думаю: «Внизу темнее, и там она мне не откажет». Но она ни с места. — Ну, пошли, не будь дурочкой, пошли к камню.

А она стоит с опущенной головой и лицом, закрытым волосами. Взял я ее за руку и попытался потащить, будто ребенка.

— Не надо меня тащить, сама с удовольствием пойду, — сказала она.

А потом, когда я опять запустил руку туда, где у нее две голубки спрятались, она говорит совсем другим, незнакомым мне голосом:

— Я — дочь темноты! На камне света много, а внизу уже совсем темно. Вот пойдем туда, сами увидите.

Но я не Хуан-простофиля, меня не проведешь. Взял ее обеими руками за голубки и хотел было уже к делу приступить, да вдруг вижу: глаза ее сквозь волосы блестят, будто кошачьи. Или это мне кажется, думаю, или глаза у нее такие красивые?

— Почему у тебя глаза так блестят? — спрашиваю.

— Это еще что! Видел бы ты их в темноте! — отвечает она.

Но, если уж черт тебя оседлал, разве остановишься? Такое дело парень упустить не может, иначе про него плохо говорить будут.

— Ну так пойдем туда, где потемнее, чтоб я мог на них полюбоваться, — говорю ей, совсем обалдев.

Она спокойненько направилась к камню и говорит:

— Это что, а вот погляди на мои ноготки.

И вижу я длиннющие ногти. Никогда таких не видывал

раньше. То ли они в один момент выросли, то ли я от волнения их не замечал. Не помню, брал ли я ее за руки или нет. Ведь мужчина, если встретит на пустынной дороге девицу, скорее старается свое получить, а особенно когда она игривая. Конечно, если парень что надо. Я-то особенно этим не отличался, но ведь конь о четырех ногах и тот спотыкается.

Она встряхнула головой, отбросила волосы с лица. И вижу — бледная она, словно покойница, и никаких ямочек. Чувствую я, что она вся похолодела. Тут я и оттолкнул ее. Напоследок она мне сказала:

— Это еще что! Погляди на мои зубы!

И я увидел огромные клыки. Потом услыхал оглушительный хохот и… наложил в штаны. А она скинула платье и кричит мне:

— Вот твои голубки, вот твои голубки!

Не знаю, как я оттуда ушел, как нашел лошадь. А из-за деревьев все еще доносился ее голос:

— Вот тебе голубки, вот тебе голубки!

Домой я приехал весь в горячке. И не помню, как добрался. Бабушка мне сказала:

— Ты на покойника похож.

А я не мог произнести ни слова. Язык словно прилип, А она свое:

— Да ты в штаны наложил. Что это с тобой?

Дней пять, а то и больше провалялся. Люди говорили, что все время прижимал к груди чернобыльник. В недобрый час его сорвал. С тех пор только на Лупе и смотрят мои глаза. На других — ни-ни. И если какая женщина мне улыбается, я сразу же в ней колдунью вижу. Давно это было, всего-то почти и не помню».

«Потому-то ты, — говорила я Хосе, — больше десяти дней на маисовом отваре да на твороге сидел, будто грудной ребенок. Ничего другого в рот взять не мог, все обратно шло. Кто-то нам подсказал кормить тебя как ребенка. Люди приходили поглазеть и просили рассказать. Но только через месяц ты смог рассказать про случившееся».

Мне-то ты открыл все почти сразу. Доверил по секрету, хотя нелегко тебе было говорить про свои шашни с колдуньей.

«Если тебе не расскажу, греха с души не сниму, — сказал ты мне. — Только так и полегчает».

Так оно и вышло. Рассказал мне, и лучше тебе стало. Я тогда сказала тебе, что прощаю. Это было единственное приключение в твоей жизни, и ты про него много лет потом рассказывал, всякий раз добавляя новые подробности. Последние разы мы просто лопались от смеха.

А сейчас Хосе считает, что все это ему просто приснилось.

ДВА ЧАСА ПОПОЛУДНИ

Над оградой поднялась пыль.

— Человека везут на джипе, — сказал капрал, которою, по словам Адольфины, зовут Мартинесом.

Машина остановилась напротив дома. Из него вылезли четверо национальных гвардейцев, вытащили человека и поволокли его по земле к дому, словно раненого зверя. Человек был будто ряженый, разглядеть что-нибудь было невозможно. Лицо, рубашка, брюки залиты кровью.

— Давай его сюда, может, опознают.

Еще издали я поняла, что это ты, твое лицо было все в крови. Это твой один глаз видит знакомую картину, а второй выбит и висит.

У Адольфины спросили:

— Узнаешь?..

— Разве узнаешь, если он весь в крови? Лица совсем не видно. Откуда я знаю, кто это? Не пойму, почему вы считаете, что я его знаю?!

Так им ответила, вернее, выкрикнула Адольфина, обращаясь все время к тому, которого она называла капралом Мартинесом.

А мне казалось, что я тебя и узнаю, и все еще боюсь узнать. Нет, это не ты. Только бы не ты! Ну а брюки? Твои! Не по себе мне стало. Нет, не ты. Откуда находит это, будто я не узнаю тебя? Кто меня заставляет отказаться от тебя? Может, это надежда на то, что я и правда тебя не узнаю? Может, это совсем не те брюки? Может, эта рубашка просто на твою похожа, хотя из-за крови цвета ее и не определишь. Разве у тебя была когда-нибудь рубашка кровавого цвета? И почему у Адольфины, а не у меня спрашивают, кто это? Почему у этих людей, у которых тоже есть матери, отцы, дети, братья, такие жестокие сердца? Почему им позволено пытать человека, издеваться над человеком? Кто их растил и кто им кровь заменил? У них в жилах течет кровь не нашего народа, христиан, бедняков. Какая бешеная собака выкормила этих псов и вместо человеческой крови влила в их жилы подкрашенную воду?

Я едва расслышала голос Адольфины:

— Бабушка, что с тобой?

И тут же другой голос:

— Может, вы его знаете?

Я едва на ногах держусь, сердце останавливается, холодным потом обливаюсь.

— Знаешь ли ты этого человека?

Я застыла вся, когда увидела, что ты будто обрубок, изглоданный собаками. Одежда в лоскутьях, проклятые живодеры по куску от твоего тела отрывали, кровью твоей упивались.

Но я все же сказала «нет», и сказала без дрожи в голосе, без колебаний, чтобы не оставалось сомнения. В эту минуту ты приоткрыл свой здоровый глаз, который тебе оставили. Может, ты и закрывал его, чтобы не говорить, чтобы тебя не признали. На меня ты смотрел тем же самым карим глазом, которым больше тридцати лет видел меня.

Это был ты, Хосе. Таких глаз я ни у кого другого не встречала. Это был ты, я в этом уверена. Господь озарил мой разум, и я вспомнила, как ты мне говорил: «Если когда-нибудь почувствуешь опасность для себя и нашей семьи, без раздумий откажись от меня».

И ты заставил меня тогда поклясться, что я сделаю так, а я не верила, что такое может случиться.

«Мы всю жизнь под угрозой живем. Вспомни Хустино, Элио и других. Мы не можем приносить в жертву людей без надобности. Если увидишь, что выхода нет, отказывайся от меня, и это может спасти и тебя, и меня», — так он мне тогда говорил.

Вот я и увидела, что другого выхода нет. Потому ты и открыл глаз, когда я от тебя отказалась, я ведь сделала самое трудное. Мне показалось, что ты своим мягким взглядом карего глаза послал мне привет и сказал: «Спасибо, Лупе», хотя глаз твой вовсе и не открылся, потому что был залит кровью, как и все лицо. А второй твой глаз погас навсегда. Он висел на щеке, у носа. Непонятно, как ты мог быть еще в сознании. Два солдата держали тебя за одежду сзади, словно пугало.

Я не подвела тебя, Хосе. Я поняла, что, приоткрыв глаз, ты прощаешься, благодаришь меня и гордишься мной, видя, что я удержалась на ногах, положив руку на плечо внучке. И я вспомнила. Вспомнила, как ты говорил мне: «Когда я умру, не закрывай мне глаза, потому что я хочу видеть, как человек делает первые шаги в лучшем мире. Положи мне только руки на сердце, чтобы я думал, что вы со мной, припали к моей груди».

А потом ты вдруг рассмеялся и сказал, что не веришь, будто умрешь спокойно, в постели.

Я понимаю, сам ты не можешь уже стоять, это солдаты не дают тебе рухнуть на землю. Ты, конечно, на хотел появляться здесь. Однако ты нашел силы проститься со мной, взглядом сказав мне: «Веди себя хорошо, держись, будь со мной».

Ты поклялся отдать свою кровь за правое дело. Вот сейчас и исполнились твои слова. Я тоже выполню свою клятву. Обещаю тебе, что выполню.

— Ничего, девочка, — говорю я Адольфине.

— Мне показалось, что тебе плохо, — сказала она.

— Доведись такое любому христианину, доченька… — ответила я ей.

Капрал Мартинес:

— Знаете его или нет?

Я:

— Нет, не знаю. Откуда мне знать?

— Мы его привезли для того, чтобы все увидели, так кончают бандиты, которые записались в свою сволочную крестьянскую федерацию. Всем такое уготовано, — вещал чей-то глухой, словно из пещеры или с того света, голос.

Капрал Мартинес:

— Мы знаем, что ваша внучка замешана в этих делах, ее уже засекли кое-где.

— Не знаю, в чем замешана моя внучка. Знаю только, что у девочки другие понятия. Мы, старые люди, действительно уже полумертвые, даем вам убивать себя медленной смертью. Но мы поняли это слишком поздно. А моя внучка — человек живой, и вы ее не заставите умирать медленной смертью. Я знаю, вам не нравится, что она живет ради нас, дышит ради нас. Может, ей еще и удастся нас спасти.

Не представляю уж, откуда у меня и слова такие взялись. Чтобы говорить, мне пришлось закрыть глаза. Закрыть глаза и не видеть тебя, Хосе. И вспомнить все, о чем ты не раз мне говорил.

Капрал Мартинес:

— Мы хотим, чтобы вы это хорошо запомнили. Все вот так кончат. Все те, которым богатые не нравятся. Враги демократии отравили ваши души ядом ненависти к богатым.

Адольфина:

— Если вам больше делать нечего, если уж отвели душу свою, можете идти и съесть сеньора, который у вас на руках висит.

Солдат:

— Мой капрал, не позволяйте, чтобы к вам относились без почтения. Если хотите, я возьму на себя эту потаскушку.

Капрал Мартинес:

— Не лезь в то, что тебя не касается! Я сам знаю, что делать!

Ты, капрал Мартинес, прав, ты знаешь, что делать И делаешь это, чтобы помучить нас, чтобы на Адольфине выместить то, что не смог сделать с Элио. Иначе зачем было ему пропадать? Чтобы не слышать, что люди говорят про пытки, лучше замести следы. Когда не слышишь, о чем люди толкуют, страх за твои преступления проходит. Я тебя не знаю, капрал Мартинес. Но Хосе мне про всех вас рассказывал. Ты не выстрелишь в меня.

Если ты смелый, то прикажи солдату, чтобы он нас прикончил из винтовки, которая у него за спиной висит. Ну, прикажи ему, если ты смелый!

И снова ты, Хосе, у меня перед глазами стоишь. Вижу, как ты бежишь за быками, которые понеслись по ухабистой дороге. Вижу, как шлепаешь в своих резиновых сапогах, пытаясь догнать быков. А ведь ты сам их подхлестнул, чтобы скорее выбоину проехать. Повозка вначале на тебя сверху навалилась. Ты ее выправил, они и понеслись, а ты за ними вслед с кнутом в руке. А мы кричим тебе с повозки. Это когда у нас еще повозка была. Когда мы еще так не бедствовали. У нас и пара быков была, и корова. Но потом трудное время настало, и нам пришлось продать их, а на вырученные деньги купить клочок земли.

Ты говорил тогда: «Самое лучшее — землю обрабатывать, хотя бы и вручную. А быки и повозка — это слишком».

Я хорошо помню его твои слова. Но повозку у нас никто купить не захотел. Вот она и стоит здесь заброшенная. Пусть стоит, хоть посидеть на ней можно. После продажи быков мы смогли прикупить немного землицы и посадить банановые деревья. И под маис у нас земли стало больше.

«Ладно, ты знаешь, что делаешь», — сказала я, когда нам и корову пришлось продать, хотя она нам и молочко для детей давала.

«Увидишь, не так плохо будет».

И нам было неплохо. Хватало поесть, имелась и циновка, чтобы положить покойника, если кто умрет. Несколько курочек, которые яйца несли, да и продать кое-какую из них было можно. На краю огорода мы ананасы посадили — для продажи дону Себасу. Соседи у нас хорошие. Нас любили все, никому мы ничего плохого не делали. Мы люди честные, до гробовой доски честные. Вся округа про это знает. И работящие. В пота лица на жизнь зарабатывали. Все об этом знают. Силы у нас были, чтобы тянуть. И вот живем мы и никому, даже сейчас этому капралу Мартинесу, зла не желаем.

Единственное, чего у нас не было, так это прав. А когда мы начали это понимать, в нашем селении для наведения порядка появились всемогущие власти с автоматами. Время от времени они приезжают и смотрят, как мы себя ведем, кого надо забрать, кого надо избить, чтобы уразумел, что к чему.

Мачете и пулей они хотят заставить нас смириться с нашей бедностью. Сами-то они знают только одну бедность — бедность духа. И думают, что автоматами добьются своего. А когда не выходит, в зверствах изощряются.

Хорошо, что Адольфина его не узнала. Что бы могло быть?

Может, тут на месте нас бы и прикончили.

Хосе был крестьянин настоящий, как и все. Выпивал иногда по воскресеньям да ходил играть в кости. Я ему говорила: брось ты играть, это опасно. Были и у него плохие привычки. Но все переменилось с тех пор, как он вступил в федерацию и его там полюбили.

Я ему говорила: «Молод ты еще, чтобы играть. Придут гвардейцы и заберут вас всех». А он, как бы защищаясь, в шутку отвечал, что играть в кости — дело плохое. Но если здесь другим заняться нечем, значит, ничего не поделаешь.

Вот тут и появились священники и молодые парни.

Они-то и организовали христианскую федерацию и союз трудящихся крестьян. Через эти организации мы требовали хороших кредитов. Дела наши пошли лучше. Добились кое-чего. Мужчины стали серьезнее. Какая-то цель у них появилась. Даже пьяницы перевелись. Не говоря уж про игроков в кости.

Началось все с праздников в часовне. Мы складывались понемножку, покупали шоколад, муку и сладости пекли. Какое веселье было кругом! Так было в самом начале.

Потом на праздники уже времени не стало. Всем захотелось ходить в федерацию, чтобы учиться, свою сознательность поднимать. Только изредка устраивали праздники, но больше для сбора денег в общественный фонд или для помощи нуждающимся: то ли оставшемуся без работы, то ли потерявшей кормильца компаньере. «Так мы лучшей жизни добьемся», — говорили в федерации.

Почему лучшей, если нас бьют, как не били раньше? А потому, что теперь мы знаем, куда идти. И они знают, что нам известно, куда идти. Оттого власти так и зверствуют. Но мы слов на ветер не бросаем. Мы пойдем именно туда.

С нами Хосе Гуардадо.

ПОЛОВИНА ТРЕТЬЕГО

Не знаю, как я заметила, что ты глядишь на меня единственным глазом, который тебе оставили? Может, это ты сигнал хотел мне подать и открыл глаз всего на секунду? Каких трудов тебе это стоило! Или ты так попрощаться решил?

А бедняжка Адольфина не могла его узнать и не признала. Ну и что ж? Для всех лучше: и для Чепе, и для ребят, и для Адольфины, и для меня.

— Ну ладно, если уверены, что не знаете, мы повезем его по департаменту. Наверняка кто-нибудь опознает. Здешний он. Как дважды два — четыре.

На сук тамаринда сел красивый, с взъерошенным гребешком и длинным хвостом, фазанчик. Огляделся немного и запрыгал по веткам в поисках сухих ягод.

Я люблю птиц, но Хосе так никогда и не поймал для меня ни одной. «Бедненькие. Зачем их в клетку запирать? Умрут от тоски», — говорил он. Птицы неволи не переносят. Даже певчую синсонте, уж, кажется, самая ласковая и ручная птичка, и ту надо на воле держать. Подрезают ей немного крылышки, и она со двора не улетает. Прыгает себе между деревьями и гамаками. Если посадишь ее в клетку, петь не будет. Кому понравится взаперти сидеть, хотя бы и с большими удобствами? А тем более если привык к воздуху, реке, деревьям.

— Повезем. Может, в лавку…

— Будем его в каждый дом завозить.

— Они должны его опознать, чтобы вину свою искупить. Не везет нам с искупителями.

— И как только господь непокорных терпит?

— После такого, наверное, поумнеют.

— Заводи джип.

И они уехали. В когтях он у них, словно цыпленок у ястребов. Он во второй раз приоткрыл глаз. Зачем? Не надо сил тратить, не надо прощаться, Чепе. Мы скоро-скоро увидимся. В один из ближайших дней.

Остался только запах Чепе, тот самый запах, который он каждый день приносил с работы. Чистый, здоровый запах пота настоящего труженика. В нашей жизни он вроде духов или одеколона. Привыкает человек, и когда тело от пота влажное, оно еще красивее. Кожа сама впитывает пот.

На небе какой-то след появился, вроде как от летящих в вышине самолетов. Дым или пар, который они выбрасывают позади себя, в чистом, только что вымытом небе за полдня

рассеивается, а пока он стоит, подобный ветви гигантской пальмы.

Надо готовиться к худшему.

Теперь все на мне. Не знаю, хватит ли меня поднять троих малых. Это самое страшное. Даже когда Хосе работал, нам едва на маис хватало. А фасоль, которую мы для себя сажали, на весь год все равно не растянешь. Рано или поздно прикупать приходилось. Сумею ли я на фасоль заработать? Вот что меня беспокоит.

И почему так устроено, что человек о пище для себя, для своих детей только и думает? Если бы мы могли воздухом быть сыты! А может, это и есть самая главная печаль наша?

Надо к худшему готовиться. Слышится сильный гул, будто сама злосчастная смерть, лязгая челюстями, мчится на коне по каменистой дороге. Она смеется над нами, знает, что нам не остановить ее бешеных коней. Она ищет нас и видит нас всегда нищими. И всегда у нас одни беды да заботы: то ребенок заболел, то фасоль не уродилась, то сына ранили или убили. Всегда мы в проигрыше в этой жизни.

Вот и сейчас мы — самые бедные. Словно обреченные. И откуда только у нас силы берутся?

Ради наших детей и детей наших детей мы не должны уставать. Когда-нибудь земля будет наша, и тогда мы начнем силы набирать. Возьмем за все прошлое. Тяжело будет, Чепе. Не думай, что будут одни радости. Вот поэтому мы и не должны надеяться на милость. Как только мы начнем побеждать, они-то не дадут нам воды. Они нам этого не простят и будут безжалостны. Мы раздразнили ягуара, а ягуары не знают пощады.

Сейчас нам только и осталось времени, чтобы к бедам приготовиться. Большего мы сделать не можем. Потом увидим. Сейчас нам важно только одно: не забывать, что нам не простят. В конце концов, нас схватили за горло, но мы не умрем.

Вот об этом обо всем я и думала, пока не прилетели чачалаки[29]. Фазанчик улетел, а чачалаки прилетели.

Помню, когда Адольфина была маленькая, она долго не говорила. Уже два года ей было, а она едва произносила «папа», «мама», «котя», «лепа» вместо «лепешка», «толь» вместо «соль». И больше ничего. Нас это очень беспокоило. Мария Пия считала, что это наверняка потому, что у них попугайчик был и, может, Адольфина наелась крошек от его еды. Тогда знахарь посоветовал нам накормить ее супом из чачалаки. Я сама к нему ходила, и он сказал: вот съест она чачалачий суп и обязательно заговорит. Так оно на самом деле и вышло. Чачалак мы называем болтушками-хохотушками. А еще сладкоежками, потому что они по утрам на

ананасах пасутся и без умолку кричат. Никому их не остановить, этих балаболок, никому не перекричать. С раннего утра горланят как оглашенные. А то, бывает, заберутся под навес. «Доченька, швырни в них камень, а то разбудят малыша, и ничего я тогда сделать не успею». Сколько камней в них ни бросай, все равно орут.

Пять раз через день Адольфина поела чачалачьего супа и заговорила. Надо верить, и верить всегда. Вот и наступит чудо.

А чачалаки на ананасах кричат и кричат без конца. Но мне не мешают. Без них было бы тяжелее. Одна я. Конечно, еще есть дети. Но они малые. Им лучше, когда они тихонько между собой играют. Плачут, только когда заболеют. Хороших детей мне бог дал. Не могу пожаловаться.

По чистому небу устало, потея, катится день.

Прощай, Хосе.

ТРИ ЧАСА ДНЯ

Хосе с ребятишками всегда был очень ласков, нежен. Когда он приходил из асьенды, первое, что делал, это про детей спрашивал: не плакали ли, хорошо ли я их покормила. Мне даже жалко его было. Такой усталый, а еще находил время поиграть немного с ними или погулять. Я не могу пожаловаться, в этом смысле он хороший отец, но ведь мужчины так много работают, что на детей, как бы они их ни любили, времени не хватает. А ему-то тем более. Сколько у него забот! Особенно по кооперативу. Я любуюсь им, потому что другие мужчины совсем не такие. Их головы забиты тем, как заработать, как прожить. А нам, женщинам, остается детей растить. От мужчин и требовать ничего нельзя. Если так смотреть, то мы, деревенские женщины, все равно что рабыни, но это не вина наших мужчин. В конце концов, тем, что мы за детьми ходим, мы помогаем богатеть нашим хозяевам. Мы создаем нашим мужчинам условия, чтобы они спокойно работали от зари до вари, а хозяева бы их эксплуатировали.

Если так смотреть, то у нас настоящее рабство. Без него плантации не будут очищены, кофе вовремя не убран, хлопок зальют дожди или попортят птицы.

«Есть сознательность, — говорил Хосе, — а еще есть душа. Не обязательно знать, где она обитает. Это душа народа, который живет на этой земле».

«Я вижу, ты один надрываешься на работе».

«Твоя работа хуже. Легко ли весь день, как раба, пробыть с ребятишками».

«Может, перец посадим? Я бы им и занялась».

Поскольку маиса нам не хватало, я посадила перец. Он шел на продажу дону Себасу, потому что проезжающие по асфальту люди всегда хорошо его покупали. Перец наш знаменитый. Цвету много дает и долго не портится.

Чего только в голову не приходит! Даже подумать страшно. Что будет с Хосе без глаза? Одного глаза у него уже нет. Ну, ладно, когда мы рождаемся, мы уже наполовину покойники. Но самая важная — первая половина жизни… Все зависит от того, на что мы потратим эту половину. За меня, Хосе, не беспокойся. Я твои слова не забуду.

Он мне говорил:

«Они должны в школу ходить».

«Ну да, потому что в батраках так тяжело».

«По крайней мере грамотных не так легко будет обмануть».

«Вот я тебе об этом и говорю, а сама думаю, что надо купить удобрений под перец, чтобы урожай собрать получше, тогда можно рассчитывать не только на те крохи, которые тебе платят в асьенде».

«И с семи лет не будем ребят посылать на работу. Лучше пусть в школу ходят, даже если мне и придется их водить. Школа-то совсем не близко».

«Вот и я говорю, что в дожди они ходить не смогут. Даже опасно, когда все заливает и по дорогам потоки текут, будто реки».

«А с перцем я тебе помогу».

Вот так и перебивались мы много лет. А когда создали кооператив, дела немного переменились. Но что удивительно, люди уже не захотели только перцем питаться. Так что я не надорвусь, если понемногу буду растить перчик на продажу дону Себасу.

Если с Хосе что случится, лихо нам придется. Мы будем плакать по нему и постараемся быть достойными его. Пусть не думает, что мы трусливы и забыли все, про что он нам говорил.

«Если со мной что случится, ты знаешь…»

«Ох, подержись лучше за деревяшку. Ты и думать не смей о плохом. Все, что делаешь ты, хорошо…»

«Кто знает, Лупе…»

«Ладно, ладно. Не такая уж я и слабая. За себя постоять сумею…»

«Вот так-то. Смерти нечего бояться. Особенно нам, которые в последнее время так близко ее увидели, столько горя пережили, что и сами удивляемся, откуда силы берутся».

Но как бы ты силен ни был, смерть родного человека всегда трудно перенести.

Тебя мне будет не хватать…

«Все равно, — говорил он мне, — если меня не будет, не падайте духом. Если меня сожрут звери в горах, не плачьте обо мне, потому что покойнику в любом случае уже не больно. И не важно, как кто с жизнью прощается».

Вот видите, он всегда меня подбадривал. Хосе — не наивный человек. Он знает, что делает. Мы самые бедные, значит, мы должны больше всех бороться. Это позволяет человеку вперед идти, вырабатывать, как он говорил, сознание.

Я ему отвечала:

«Вот видишь, Чепе, ты уже меня убеждаешь, что покойник ничего не чувствует…»

«Ясное дело, ничего не чувствует. Это все равно что уснуть. А если перед смертью тебе придется выстрадать жесточайшую

агонию, то все равно эту боль ты в могилу с собой не возьмешь. Эта боль остается убийцам, которые мучают людей».

«Ну и нашел про что говорить! О чем бы ты ни толковал, я хотела бы умереть спокойно, будто уснуть, как люди раньше умирали».

«Ты же знаешь, что власти творят. Что они сделали с родными и друзьями! Вот поэтому и надо помнить, что с каждым такое может случиться».

«Да я ничего не говорю…»

«Конечно, всем хочется жить лучше, чувствовать себя спокойнее, не иметь лишних забот. Но это несправедливо. Если не подсолить пищу, все пресным покажется. Так жить не имеет смысла…»

«Я тоже так думаю, хотя и боюсь очень. Но уж если придется кому умирать, так ничего не сделаешь… Вот только не знаем мы, как умирать придется. Как мы родимся, знаем, а как умрем — нет…»

Но не думайте, что мы с Чепе только и говорила что про грустное да печальное. Он мне и истории всякие рассказывал. У него это хорошо получается, совсем как у моей мамы. С шутками да прибаутками, прямо смеяться хотелось.

Больше всего он любил про колдунью вспоминать. Видели бы вы иной раз вечером, как он рассказывает! Все слушают, а кто-то дрожит от страха. Сядет Чепе, бывало, на повозку, закурит самодельную сигару и начинает рассказывать. Особенно он это любил делать в лунные ночи, когда к нам кто-нибудь из друзей заходил. И я тут же с ребятами. Слушать-то я уже не слушаю, а только приглядываю за малышами, чтобы те не очень пугались, обнимаю их, успокаиваю: «Не бойтесь. Такого не бывает. Это все сказки».

А Хосе такой счастливый оттого, что его слушают. Мне больше всего нравилось, когда он в свои побасенки соленького добавлял, как в этой истории с колдуньей. Дело в том, что в нашем селении многие рассказывали, что колдунью видели. Все клянутся чем угодно. Но только у Чепе про нее так красиво получалось. И даже совсем не страшно. Я-то думаю, что все это выдумки.

Ну лучше не думать об этом. На ум все больше неприятности лезут.

Надо за деревяшку подержаться. «И ты тоже подержись», — говорю я Адольфине, Она берется за нее, хотя и не знает зачем.

ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Несколько дней назад власти заходили к нам, но я не придала этому значения. Они спросили:

— Живет ли здесь Хосе Гуардадо?

Я рассказала об этом Чепе, но не передала ему все, что они говорили, чтобы его не беспокоить. Я им ответила:

— Да, здесь живет, чего еще нужно?

А они мне:

— Тебе какое дело? Не о тебе, а о нем спрашивают. Или ты глухая, не слышишь?

— Ну тогда будьте здоровы. Что он, чужой мне, что ли? Уж и спросить нельзя!

Они обозвали меня старой дурой, добавили: «И как только земля таких держит?»

— На побережье он. Раньше чем через пару недель не вернется. Давно уехал.

— Ну хорошо. Скажи ему, что разыскиваем его, и пускай не лезет куда не надо. Мы кое-что о нем знаем.

На том все и кончилось. А когда Хосе вернулся, я ему рассказала об этом, а он ответил:

— Преступлений я не совершал. Хотят — пусть приходят. Нам от этого ни холодно ни жарко.

А у меня все равно на душе неспокойно было. Так в казалось, что вдруг они снова на пороге появятся и начнут каверзные вопросы задавать. Так уж мы напуганы.

И помню еще, как я им сказала, что пусть меня простят, но у меня дел много, мне вымыться надо, а при них я не могу этого сделать.

А они сказали, что подождут. Тогда я вспылила:

— Где же ждать, когда мне вымыться надо! У нас же тут ванн не водится.

Они засмеялись и сказали:

— Ну что за вредная старуха! Кому охота глядеть на ее мощи?

Наконец им надоело, и они ушли. А просидели больше часа. Вот на этом самом месте, как сегодня.

— Мы еще вернемся, — пообещали они напоследок.

И хватает у них смелости над честным народом измываться! Что они с тобой сделают? Где, в каком месте? Кто тебя опознает, когда будут спрашивать людей?

Кто-то, может, скажет: «Чепе. Это Чепе Гуардадо».

И тогда опять тебя сюда привезут, чуть живого. И перед нами

поставят. Что с Адольфиной и с ребятишками будет? Что с Чепе сделают, когда поймут, что я им соврала?

Ничего не случится, говорит мне сердце. Никто из здешних не скажет: «Это Чепе Гуардадо». Никто…

И тогда случится самое страшное. Мы найдем его уснувшим, да так, что он уже не будет чувствовать, как его кусают звери и клюют птицы. Когда человек умирает, он ничего не чувствует.

Вот лежит он на поваленной сосне, будто отдыхает, спит. Даже муравьи его не трогают. Я спокойно осмотрю его, потому что уже готова увидеть его навсегда уснувшим.

Его вечный сон — мой кошмар. А плакать не буду, потому что он останется моей надеждой. Я услышу его голос оттуда. Бог — это сознание. А сознание — это мы, бедняки, те, которые сейчас всеми забыты.

Потом его унесут в горы.

Друзья будут искать его по стаям черных стервятников, которые медленно кружат над ним, поглядывая с высоты зоркими глазами, будто желая захватить в клювы.

Но они не найдут его.

Он будет лежать на сосновом стволе. С гор спустится прохлада, словно стайка коз из гондурасских сосняков.

Потом люди скажут: «Чепе лежит там». И я, завернувшись от холода в покрывало, стуча зубами, с застывшей в жилах кровью, приду после всех. В тех местах очень холодно, а его ведь высоко в горы унесут, к гондурасским сосновым рощам.

Но найдут его тело уже изъеденным червями. Оботрут его куском рубахи, омоют его родниковой горной водой, окропят настоем мяты, оденут в чистое — в воскресную белую сорочку и брюки холщовые в полоску, в которых он в часовню ходил, чтобы выступить перед товарищами.

Кто-то скажет:

«Наголодался бедняга за эти три дня, весь исхудал».

«А роса. А холод. И укрыться было нечем».

«Покой у него на лице, будто отдохнуть прилег на сосновый ствол».

И понесут его на руках. Я позади пойду, придерживая платье, чтобы за колючки не задевать. Силенок-то уже у меня маловато. По дороге на нас собаки будут лаять. По всему селению пройдем. Купим ящик, некрашеный ящик. И опять пойдем по селению.

Люди скажут: «Вон Чепе несут».

А я все буду дрожать от холода. Но дрожать будет только мое тело, а не душа.

Не пойму: не то я сама с собой разговариваю, не то с Адольфиной, а может, с тенью. Нет, это говорит мое сердце, а оно

еще никогда меня не обманывать.

ПЯТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА

Адольфина говорит мне, что хоть и тяжелый денек был, но и он все же кончается.

Я смотрю, как тонет солнце в купах деревьев гуаруми, и тоска сжимает мне сердце.

— Что будет с сеньором?

— С каким сеньором?

— Которого увезли. С выбитым глазом. Боюсь, с ним что-то случится.

— Не волнуйся, бабушка. Он знает, что нужно делать.

И я вижу, как у Адольфины глаза наполняются слезами.

— Ну будет, будет. Не думай про это. Выпьем кофейку. Ребятишки наигрались, наверное, есть хотят.

— Я уже выпила, бабушка. И тебе чашечку оставила. Ребят тоже, когда власти ушли, покормила.

Я ей и говорю тогда:

— Не плачь, девочка. Что с тобой?

— Ничего. Вспомнила Марию Ромелию, как мы с ней на автобусе в Чалате ехали. Что бы со мной было, если бы ее тогда убили? Видишь, бабушка, где довелось познакомиться. А когда я сюда раньше приезжала, я ее и не видела даже. Как она смело и решительно вела себя! А ведь еще совсем девчонка! Какой через несколько лет будет?

— Ну, девочка, а плакать-то зачем? Что было, то прошло. Не забудь, что ты сама еще почти ребенок. Да и Марии Ромелии еще подрасти надо. Раз уж ты так говорить начинаешь, значит, тучи над землей сгущаются. Ты говоришь как женщина.

— Бабушка, мне папа очень помог. Когда я совсем еще маленькая была, он рассказывал, почему столько несправедливости на свете. Он хотел, чтобы я сознательной, как говорит дедушка Чепе, была. А кругом, бабушка, что творится! Есть много таких, как Мария Ромелия, но мы их не знаем.

— Ну ладно, милая, хватит, пойдем домой, туман начинает опускаться, еще простудишься. Чего-то малыши в патио притихли. Веди их скорее в дом, пока москиты не искусали.

А она вытерла глаза передником и, когда мы направились к дому, говорит:

— Бабушка, я все думаю, что с моим папой будет. Отдадут нам его или лучше забыть о нем? Он мне так помог в жизни разобраться. Я боюсь увидеть своих без отца. Ты же знаешь, что моя мама совсем не такая. Мои младшие братишки и сестренка вконец ее вымотали. Ей тяжело жить. Все стирает да гладит

чужое.

— У вас есть я и дедушка Чепе. Вы же знаете, как он все понимает. Он ведь первым человеком в общине стал. Ты даже и не представляешь, как его уважают.

— Послушай, бабушка, бабушка, послушай! — вдруг кричит она мне. — Я только что увидела тело капрала Мартинеса!

— Где? — спрашиваю я.

А она отвечает:

— В голове. Перед глазами будто картину нарисовали: глаза и рот у него открыты. Ему стараются смежить веки, а они все открываются. Сестры и мать его вокруг стоят. И поскольку рот закрыть не сумели, сунули туда лимон, чтобы мухи не залетали и чтобы черви внутри не завелись.

Тогда я говорю:

— Ох, девочка, это же кошмар!

А она отвечает мне:

— Это мое сердце такое подсказало, а оно еще никогда меня не обманывало.

Дрожь охватывает меня, пока зажигаю светильник, и я долго не могу успокоиться.

Перевод А. С. Минина.

notes

Примечания

1

Разновидность мексиканской сосны. — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

2

Птица семейства воробьиных.

3

Тропическое деревце, зерна плодов которого используются в фармацевтике, употребляются и в качестве приправы к пище.

4

Пирожок из маисовой массы, завернутый в банановый лист.

5

По народным поверьям, чудовище со сверкающими глазами, длинной, густой, черной шерстью, преследующее по ночам людей.

6

Главный город одноименного департамента на севере Сальвадора, ныне района активных действий партизан Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.

7

Народная баллада.

8

«Господь с вами!» *(лат.)* — возглас священника, ведущего католическую мессу.

9

Ласкательное обращение от имени Хосе.

10

Алкогольный напиток из сока сахарного тростника.

11

Лига — старинная мера длины, равная примерно 5 км.

12

Грызун размером с кролика, обитающий в пещерах Центральной Америки, мясо его съедобно.

13

В январе 1932 г. в Сальвадоре вспыхнуло народное восстание под руководством коммунистов. Реакционная диктатура генерала Эрнандеса Мартинеса, захватившего власть, жестоко расправилась с повстанцами: около 30 тыс. крестьян, рабочих и студентов было убито, погибли почти все руководители компартии, в том числе был расстрелян национальный герой Сальвадора Агустин Фарабундо Марти.

14

Фруктовое тропическое дерево.

15

Департамент на севере Сальвадора.

16

Небольшая, но весьма агрессивная птица Центральной Америки.

17

Тонкий глиняный диск, на котором пекут маисовые лепешки.

18

Белый дым, согласно традиции, возвещает избрание нового папы римского конклавом кардиналов в Ватикане.

19

Тропическое дерево, из твердой скорлупы плодов которого крестьяне делают чашки, миски, ложки.

20

Презрительное название американцев.

21

Дешевый алкогольный напиток.

22

Игра слов: дон — по-испански почтительная форма обращения, принятая среди крестьян, и вместе с тем — дар, подарок.

23

Презрительное прозвище полицейских в Сальвадоре.

24

В Сальвадоре произрастают бальзамовые деревья, смола которых, являясь ценным сырьем для фармацевтической и парфюмерной промышленности, экспортируется под названием «Сальвадорский бальзам».

25

Небольшие грызуны, мясо которых съедобно.

26

Декоративное тропическое дерево.

27

Певчая птица Центральной Америки.

28

Вид коршуна. Прилет этой птицы сальвадорские индейцы связывают с наступлением периода дождей (улетает в апреле, возвращается в октябре).

29

Птица, мясо которой съедобно.